

Александр

Мильштейн Параллельная акция

Александр
МИЛЬШТЕЙН

Параллельная
АКЦИЯ



Александр
МИЛЬШТЕЙН

Александр

МИЛЬШТЕЙН

ПАРРАЛ

ДЕЛОВАЯ АКЦИЯ



**МОСКВА
ОГИ 2014**

УДК 82-34-053-2

ББК 84(2Рос=Рус)6

М79

Мильштейн А.

М79 Параллельная акция / Александр Мильштейн. — М.: ОГИ, 2014. — 328 с.

ISBN 978-5-94282-512-6

Все названия организаций, все имена упоминаемых в «Параллельной акции» людей и сами эти люди с этого момента не имеют к реальным лицам и организациям никакого отношения. Совпадения случайны. Мир есть представление и воля к власти. А вся власть уже отдана воображению.

УДК 82-34-053-2

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-94282-512-6

© А. Мильштейн, 2014

© ОГИ, 2014

ЧАСТЬ 1

РЕГИСТРАТУРА

Это был такой томограф, который ничего не излучал, или, во всяком случае, не оказывал влияния на окружающих, и меня в тот раз не попросили покинуть зал.

Врач сказал, что даже лучше будет, если я постою рядом, тихонько придерживая отца за плечо. Проконтролирую, чтобы он случайно не сделал резких движений.

Так я впервые услышал музыку, которую продуцирует Белый Тор.

Вот именно музыку, потому что если это не музыка, то и то, что я слышал раньше, было не музыкой, и, соответственно, то, что я видел, было не... Что?

Я уже не помню, конечно, всё, что промелькнуло у меня в голове за двадцать минут, и я не слишком стремлюсь облекать всё это теперь в слова, точнее, не верю, что это может получиться... Но в общих чертах понятно же, что мысли мои вращались не только вокруг музыкального сопровождения, но и вокруг того, *что* сопровождалось.

Скажем, я думал, что по жизни... Ну да, что я иду «с песней по жизни», а вот если бы теперь вдруг оказалось, что это была вовсе не песня, то не могло ли тогда оказаться, что и жизнь была вовсе не жизнью...

Ну я не знаю, почему я там так подумал — стоя рядом с отцом, голова которого находилась в Белом Торе, в этом ведь нет, если так посмотреть, какой-то строгой логики...

Но я ведь и не пытался в тот момент мыслить логически. Поэтому при всей абсурдности предложений, которые я сейчас написал, кажется, они в какой-то мере отражают то, что я в тот момент почувствовал как бы в дополнение к страху за отца. Я помню, что Белый Тор периодически затихал, но потом сразу же раздражался новой техносеренадой, или точнее, наверно, надо сказать — рапсодией, и не надо при этом думать, что он только отбивал ритм, нет-нет, — невероятно сильно вибрируя, он что-то пел на непонятном мне языке, насвистывал, и на

слух весь этот «магнитный резонанс» или что бы там ни было удивительно напоминал ремикс, который накануне звучал на парти у знакомых художников.

Я не чувствую, сказал ли я сейчас достаточно об этом «рождении трагедии из духа техно». Может быть, я с самого начала уже пошёл по кругу... «В этом есть что-то извращённое, — подумал я тогда, — ходить по вечерам туда, где музыка будет теперь всё время напоминать тебе, что мир — это призрак мозга...»

Да, но в самом деле хватит уже этой софистики, тем более что в тот вечер я не пошёл на очередное парти по другой причине. Отца несколько дней возили между отделением stroke-unit* и кардиологией; мне казалось, что одни врачи пытаются его сбавить другим, и это было довольно неприятное ощущение, мягко говоря.

Это напомнило мне, как в детстве, когда мы переехали на новую квартиру, в наш микрорайон случайно забрёл лось, и милиционеры, чтобы с ним не возиться, какими-то палками перегнали его за черту, где кончалась их зона ответственности, а оттуда другие милиционеры погнались обратно — где его снова повернули вспять, и так это продолжалось, пока они не загоняли бедное животное насмерть.

Наверно, это был старый лось... Хотя менты, конечно, могли загонять и молодого.

И мой отец был совсем не так стар, и я был далёк от того, чтобы сравнивать его с лосем, врачей с милиционерами, вообще предыдущий абзац здесь, по правде говоря, был ни к селу ни к городу... Ну да, в больнице что-то такое мелькнуло у меня в голове, но то, что я сейчас это записал один к одному, доказывает отсутствие фильтра, что не есть хорошо, ведь далеко не всё, что мелькает в голове, должно появляться на экране... И всё же я пока не буду стирать, а там уж видно будет, куда ведёт песня наша...

* Инсультное отделение (англ.).

Итак: Белый Тор, белый шум, белое безмолвие... Когда я впоследствии благодарил врачей stroke-unit за то, что они спасли моего отца, они молча улыбались, а один сказал, что на самом деле от них мало что зависело, что это был как раз тот случай, когда спасение утопающего было делом рук его самого.

Но я не уверен, что это так и было, я думаю, в них говорила отчасти и профессиональная скромность...

В общем-то я мало что понимаю в медицине, но не сомневаюсь, что они посылали отца туда-сюда (на специальной машине, на носилках, с санитарями — и со мной в придачу) столько раз вот именно потому, что пытались сделать всё от них зависящее.

В конце концов, они ведь не виноваты, что в клинике «Справа от Изара» эти два отделения разнесены на такое расстояние друг от друга.

В stroke-unit молодые ребята, испуганно глядя на экран осциллографа, говорили, что всё дело в страшной аритмии, что справиться с этим им попросту не под силу.

Отца везли в кардиологическое отделение, и там пытались с помощью электрошока перебить аритмию, но это не получалось, и тогда тамошние врачи говорили, что его нужно везти обратно в stroke-unit, что только там ему сейчас могут чем-то помочь... И так это повторялось много раз — как бы заиклившаяся внутри себя — в инсультном инсайте, в водовороте-миксере — в Белом Торе... новая реальность: отец без сознания, электрошок, санитары, носилки, скорая, везущая нас по кругу, по кругу, по кругу... Оглядываясь туда из сегодняшнего дня, я понимаю, что врачи в обоих отделениях просто делали что могли, но тогда у меня было такое чувство, что врачи не знают, что делать, и пытаются сложить с себя ответственность.

И по вечерам в те дни мне было, естественно, не до веселья.

И хотя вряд ли можно назвать таким уже прямо весельем то, что обычно происходит в тех местах, куда я хо-

жу по ночам, ни в какие клубы и ни на какие парти к художникам я в те дни вообще не ходил, естественно. Это понятно. Но и тогда, когда отец не только выжил, но и во многом опроверг мрачные и в общем-то однозначные предсказания врачей — их прогнозы по поводу его постинсультной жизни, то есть её наличия как такового... я понял, что мне хочется теперь слушать совсем другую музыку.

Я, скажем, перестал ходить в «Регистратуру» (это название ночного клуба в Мюнхене), да и в другие места, где «электричество смотрит мне в лицо»... И пробует мой голос, да.

Однако сегодня там же, в «Регистратуре», выступает некто DJ Фиш из Москвы, и мне вдруг стало любопытно, и я засомневался, потому что, с одной стороны, Фиш, насколько я слышал, существо электронное, с другой стороны... Всё-таки Москва, как много в этом звуке, ну да, ну да... я то есть чуть было не поступился своими новыми принципами... Да и какие там принципы, просто старые нервы, ну конечно... И тут кто-то позвонил и предложил пойти в «Райтхалле», сиречь «Манеж», где «не кто иной, как Владимир Каминер, сегодня читает свой роман “Русское диско”, а потом его же там и устраивает, демонстрируя народу единство слова и дела!» — вот так мне дословно это сказали, по телефону.

Казалось бы: неожиданно — как раз то, что мне сейчас нужно, то есть вообще «то, что доктор прописал» — ведь, судя по тому, что я о нём слышал, Каминер крутит человеческую музыку... Или даже слишком человеческую, но что значит слишком... ну, то есть я хотел сказать, что не какой-то там posthuman — это 100%.

Но это и нужно — гарантированно никакого мини-мал-техно, хауса, трип-хопа и прочей inferнальной свистопляски, только «три прихлопа — два притопа».

Я не иронизирую, нет, я на самом деле представляю себе Каминера как такой человек-оркестр... Ну как «Не-

куращий оркестр» Кустурицы, или Бреговича, или что-то в таком роде... но только я сейчас вдруг чётко осознал, что к Каминеру мне идти не стоит. Почему? А вот это я как раз и пытаюсь сейчас понять.

В общем, в результате я не пошёл ни к Каминеру, ни к Фишу, а открыл лэптоп и стал писать «письма мелким почерком».

Я вполне отдаю себе отчёт в том, что если бы у моего отца не случился удар, после которого его разочарование мной не то чтоб прошло... Нет, никуда оно не делось, конечно, но просто у него теперь нет сил его так регулярно и красочно выражать словами, как раньше... И если бы при этом он узнал о достижениях Владимира Каминера, отец непременно сделал бы неутешительное и просто даже сокрушительное для меня *сравнение*.

Которое потом повторял бы каждый раз, когда... Что? Да ничего, то есть когда ничего со мной не происходило хорошего. То есть почти всегда... Да-да, Каминер занял бы место «Саши из Киева» — моего дальнего родственника, которого я никогда не видел, но которого в детстве мне постоянно ставили в пример. Только тогда это были достижения в физике, физкультуре и спорте, а теперь меня бы справедливо сравнивали с представителем той же сферы самодеятельности, которую я избрал себе в жизни, так сказать, «назло кондуктору». Напомню на всякий случай, что это означало «взять билет и бежать за трамваем», ну была такая прибаутка... Хотя я никогда не брал билет, уже не говоря о том чтобы бежать, что за трамваем, что за комсомолом... Я не то чтобы этим горжусь, я просто констатирую факт. Чем мне гордиться? Владимир Каминер — писатель, DJ, колумнист и владелец радиостанции.

Я просто не знаю, есть ли более многогранный культурный герой в данный исторический момент. При этом баснословный успех сразу на всех направлениях.

Он входит в шорт-листинг самых раскупаемых немецких «мастеров слова» (а всё, что ты можешь, это зубо-

скалить и после каждого слова сгибать пальцы в крючки кавычек), кроме того, в Берлине, чтобы попасть на его «Москальское диско», надо, говорят, простоять час в очереди. Или два часа... Всё, я знаю, почему я не пошёл на его вечер. Каминер — мой двойник из параллельного мира. Поэтому мы и не можем с ним встретиться. Просто по определению. Он — реализовал себя, поверив в реальность своего сна, а я, напротив, давно уже поверил и смирился с сонной природой своей вымороченной реальности... «Сон, — бормочу я, — ну да, а что ж ещё?..» Мне не нравится, что я сейчас заговорил о параллельности, потому что словосочетание, которое я только что водрузил сверху на эти новые свои письма, имеет вполне определённое происхождение... В то же время слово «параллельность» прозвучало в связи с Каминером и по причине узко литературной... Во-первых, мы с ним состоим в одной агентуре... Но по-русски, вероятно, надо говорить «агентство», да, к примеру, было ведь «Агентство печати “Новости”», хотя это что-то было другое... но лучше так говорить, наверно...

Хотя «агентура» (то есть калька с немецкой Literarische Agentur) тоже хорошо звучит, ну, в общем, ясно: посредник между писателем и издателем.

В России этот передаточный механизм ещё не так чётко налажен, и писатели по старинке вроде бы сами заботятся о судьбе своих книг, а здесь, значит, есть посредники — множество агентов и даже агентств... И вот этот посредник у нас с Каминером оказался один и тот же — такая вот точка пересечения, да, в одном узле весьма сложного механизма... И это только то, что касается литературы, но есть ещё и другая, уже даже и не лобачевская... «заморочка», то есть вторая общая точка у двух параллельных прямых...

Ну погоди ты со своей дискотекой... Я вот сейчас вдруг понял: это с Каминером меня перепутал критик Печёный, который в книжном ревью «Незалёживающейся га-

зеты» со свойственной ему в таких случаях иронией писал о «новом кумире немецкой публики», кто и «пишет сразу на немецком, чтобы не возиться с переводом».

Я тогда же подумал, что он меня с кем-то спутал, просто сразу не сообразил, с кем именно... А потом, когда курирующая меня сотрудница агентства с гордостью сказала, что путь Владимира Каминера к сердцу немецкого читателя пролегал через их — «лучшую в Германии» — «литературную агентуру», во мне шевельнулась было догадка...

Но я был так сосредоточен на первой в своей жизни деловой беседе, связанной с литературой, что забыл тогда додумать до конца эту мысль, и теперь вот только вспомнил, записывая весь этот, по сути говоря, «юмор на лестнице».

Каминер пишет сразу на немецком, факт, так что это с ним меня перепутал критик Л. Печёный.

Ну и всё, теперь лучше оставить закулисное пространство книжного рынка, я попал туда случайно и, не вдаваясь в подробности, мало что там понял.

А когда что-то не понимаешь, то лучше ничего и не говорить, иначе и тебя могут неправильно понять, не так ли.

Вот только... хорошо бы самому понять, — куда всё это движется, а? Я имею в виду вот этот текст: белый тор — белый шум — белая зависть... Я надеюсь, вы не приняли её за чёрную?

Нет, это же чисто мазохистское сравнение на самом деле... И я ещё немного продолжу, раз уж зашла речь: Владимир Каминер реализовал себя ещё и как DJ, а я...

А что я? За всю свою жизнь я не сделал ни одной дискотеки. И это при том, что у меня есть (в отличие от Каминера, я уверен) совершенно уникальный диплом диджея, полученный не где-нибудь, а в СССР.

То есть пользы из этого второго своего диплома я извлёк ещё меньше, чем из мехматовского, хотя, казалось бы, куда уж меньше? Но всё-таки: я что-то там склады-

вал и умножал впоследствии... А вот с «пропагандой современной эстрадной музыки» совсем уже по нулям... То есть даже не в смысле эстрады — эта формулировка была данью времени, понятно, что никакой эстрады я не слушал, я слушал прогрессивный рок... Но совсем ничего не пропагандировал.

Диплом диск-жокея (забудем письменную советскую формулировку, на самом деле это был именно диплом диджея, и все только так его тогда и называли) мне выдали в том же университете, что и математический, и выглядел он не менее солидно: красная корочка, как у моего красного диплома... но размером он был всё же поменьше, с комсомольский билет примерно, только что без фотографии.

Вот как это было: в начале второго курса прошёл слух, что в университете открылся ФОП — «факультет общественных профессий» — и там в числе прочих (каких, я теперь, к сожалению, не вспомню), как бы параллельных к твоей основной, можно выбрать и профессию «пропагандист эстрадной музыки». Современной. И этим ещё не исчерпывалась фантастичность новости: вдобавок ко всему слушатель ФОПа освобождался от написания рефератов по истории партии, политэкономии и т. д. — на два курса, в течение которых студент становился слушателем параллельного факультета.

А человек, который должен был читать нам лекции по современной музыке, был даже на небольшом расстоянии неотличим от Карла Маркса.

Но звали его при этом иначе: Сергей Александрович Коротков.

Я не знал тогда, что есть у него и друг-Энгельс (причём их, так сказать, «брадогривы» и правда соотносились друг с другом и формой и величиной, как у М. и Э.) — Жора Дирдица, который работал переводчиком в НИИ, где я, получив второй (хронологически) свой диплом (математика), впоследствии работал в качестве молодого специалиста.

Правда, иногда, в периоды, когда бороды, что ли, отрастали, вместе Коротков и Диордица больше походили уже скорее не на классиков марксизма, а на ZZ-Тор.

При этом я никогда их вместе не видел, но... помня, как Жора со смехом рассказывал мне в курилке об их с Коротковым медленном моционе вдоль Кара-Дага — о том, какое впечатление они вместе производили на случайных встречаемых, бредущих там же вдоль моря... Я легко могу себе это представить и теперь.

Они, как я узнал уже от Диордицы в НИИ, а не в университете от Короткова, в те годы переводили втихаря, в четыре руки, Кастанеду и некоторых других популярных тогда антропологов... Жора приносил мне машинописные «пятые копии» их переводов, но только всё это было позже, как я сказал, на работе, в университете же, на ФОПе то есть, на своих лекциях Сергей Александрович ничего такого нам не говорил, всё-таки была ведь тогда статья за «нетрадиционные виды религии»...

Он стал в послесоветское время очень популярной медийной фигурой, выпускался даже напиток (джин-тоник), названный в его честь, он стал этаким патриархом харьковской джазовой и роковой сцены.

Но всё это — уже во время перестройки и постперестройки, а тогда на дворе был 1982 год, и ни о какой *такой* перестройке, я думаю, не помышляли даже самые главные её прорабы, и вот кому это могло придти в голову — чтобы студенты вместо конспектирования Маркса и Энгельса слушали Jethro Tull и King Crimson?

Не иначе как врагам народа.

И всё было без балды: я действительно был освобождён на два года от написания рефератов, что по истории КПСС, что по политэкономии, только за то, что слушал, условно говоря, «рок-н-ролл» (Коротков приносил на каждую лекцию множество маленьких бобин, у него было всё, то есть вся новая музыка, да и древняя... вообще —

вся музыка народов мира, на этих самых бобинах) на факультете общественных профессий, да.

Я вот ещё вспомнил подробнее: формально у освобождения было такое объяснение: мы там у Короткова в конце курса тоже писали реферат — и вот он и служил как бы заменителем реферата по истории компартии...

Поразительно, да? Мне и самому не верится, когда я вспоминаю сейчас (*и на это на всё, на флэшбэк этот, очень неплохо накладывается песня «Drive», кстати, звучащая сейчас где-то у моих соседей, то есть вот это «Hey, kids, rock-n-roll, nobody tells you where to go, baby» — можно было бы взять в качестве эпиграфа к «Параллельной акции», заменив «tells» на какое-то прошлое время, «паст индефинит тенс», например*), но я ведь ровным счётом ничего не выдумываю — как и в тогдашнем своём реферате, все сведения для которого я почерпнул из передач «Голоса Америки» и «Би-Би-Си».

Коротков, комментировавший каждый реферат так, что половина аудитории каталась по полу от смеха, на моём решил, что ли, отдохнуть... Сергей Александрович только сказал, что из моего реферата узнал для себя много нового о группе «Nazareth», — о которой, как ему казалось, он знал абсолютно всё...

Из чего можно было сделать вывод, что автор многое сочинил (что было, повторяю, не так), но это Коротковым, конечно же, не осуждалось.

Его приводили в трепет фразы в других рефератах, написанные языком газеты «Правда»: «Наркотики украли у солиста группы “CoinsDance” юность...» — прочитал Сергей Александрович в следующей тетрадке и на минуту погрузился в раздумье.

«Наркотики могут лишить человека чего угодно, — сказал он после паузы, — но только не юности. Юность — это сон... это что-то такое, чего никто вас не может лишить, поверьте».

Я помню, что больше всего Короткову понравился реферат, посвящённый альбому «Duke» группы «Genesis».

Это был целый многостраничный рассказ, сочинённый студентом, который слушал «Genesis», не понимая слов, и получилось что-то вроде чистого эксперимента по интерпретации... Вспомнилось ещё сейчас, что своё выпускное сочинение этот студент красиво назвал: *«Образы и видения от прослушанного песнопения»*.

Видно было, что Короткова просто даже поразила такая чёткая корреляция между текстами «Duke» и тем, что музыка навевала, то есть он переводил нам целые фрагменты — и читал параллельно сочинение этого студента... И я помню ещё, что Коротков расшифровал нам попутно метафору, скрытую в названии альбома: Duke — это герцог, который мог стать королём, но не стал, и от этого его всю оставшуюся жизнь плющит точно так же, как человека, который мог стать богом, но... не стал.

Как Мильштейн, который мог стать Каминером, но — увы...

Интересно, что «Duke» — это был последний симфо-роковый альбом Genesis'a, после него появился «AbaKAb», который стал шоком для поклонников (по крайней мере для меня), потому что вместо симфонии появилась такой минимализм-кубизм, да... а потом уже пошли «Invisible Touch» и т. д., где снова можно было узнать черты прошлого Genesis'a, как бы уже в другой реинкарнации... И я сейчас вот вдруг вспомнил, что Патрику Бэтману*, например, с точностью до наоборот нравится всё, что «Genesis» сделал после «Duke», а всё, что до «Duke» включительно, *не* нравится. Патрик пишет свой реферат на эту тему, где упрекает предыдущий стиль Genesis'a в чрезмерной перегруженности философическими смыслами... Ну и музыку, соответственно, ведь всё это связано: ноты, нотации, коннотации... В общем, новые песни придумала жизнь, и центри-фуги и вообще перегрузки... стали никому не нужны, да. Хотя нельзя сказать, чтобы Корот-

* Герой романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат».

ков нас сильно грузил на занятиях, всё-таки это было глубоко советское время, существовали определённые ограничения — всё-таки... Ну да, теперь это звучит странно, потому что, казалось бы, куда уж дальше, если вместо реферата по истории КПСС можно было писать реферат по рок-н-роллу, ну тогда уж вроде бы хоть всех святых выноси — казалось бы... В том-то и дело, что это было странное такое пространство-время, лабиринтно-слоёное, кто жил, тот помнит эту «гетерогенную зону», эту слойку, или, если хотите, «наполеон»... Вот после того, как отпали все ограничения, Коротков, может быть, слегка разошёлся... В том смысле, что его предисловия к концертам иногда могли показаться чрезмерно растянутыми... И однажды перед выступлением известного харьковского трубача Шлюсселя Коротков как-то особенно долго не хотел уходить со сцены, он стал объяснять слушателям, что во время импровизации джазовый музыкант *«вступает в сексуальные отношения со всей Вселенной»*, и вот тут вдруг трубач не выдержал и закричал из-за кулис: «Если этот козёл сейчас же не заткнётся, я прямо здесь вступлю в отношения с ним!»

СВЕТ ШАХТЁРА

Вот, а через три дня я решил вернуться и пройти по тексту... Я так пока и не понял, что это такое я тут... пишу, началось всё нечаянно, можно сказать, с «письма в бутылке», которое я послал нескольким знакомым. Да, у меня не было и нет «живого журнала», и если я хочу написать что-то, что и не проза, и не совсем уж прямо что-то, скажем так, личное... то я просто сохраняю письмо (а обычно не сохраняю — опция такая выбрана в ящике: «не сохранять отправленные»), да и шлю себе... А потом и помимо первого ещё примерно десяти адресатам... Ну да, как в старые добрые бумажные времена, по секрету все-

му свету, письма по кругу и всё такое... Собственно, началом послужило не то письмо, которое я поместил теперь во главу угла или, во всяком случае, сделал первой главой. В изначальном и-мейле, развязавшем мне как-то по-новому язык... содержались непосредственные впечатления от одной инсталляции Фишли и Вайса. И несколько человек, получившие это письмо, стали меня убеждать, что это «готовый рассказ» (наверно, они бы не стали разбрасываться такими словами, как «рассказ», а употребили бы какое-нибудь другое слово, «статья» там, «эссе», «очерк», «репортаж», мало ли есть слов... но это были мои старые знакомые, которые знали, что, кроме рассказов, я ничего не пишу... Или, по крайней мере, не писал до поры до времени), и кто-то захотел его напечатать в своём журнале, а кто-то не совсем в своём, но там один литературный вип (VIP), некто Бодрынин, объявил меня «врагом западной цивилизации».

Увидеть в моём тексте «антизападничество» мог только человек с очень тонким, профессиональным, я бы сказал, «идеологическим нюхом», я-то думал, что такие давным-давно перевелись... Но оказалось, что они перевелись, как стрелки, и даже не часов, а рельс... Но я не буду развивать эту пошлую мысль, кстати, знающие Бодрынина лично мне позже говорили, что он и не скрывает того, что раньше был партийным функционером... А я, стало быть, — антизападник, да, в том смысле, что — против западни!

Но только зачем так пафосно... А если эта западня превращается в mouse-trap story, например...

Предложение публикации в другом... органе печати, да, меня, скажем так, тоже удивило. Или, точнее, я сам себя удивил: я всегда всех предупреждал, что мои письма, хоть бы и десять раз они были «по кругу», не предназначены для публикации... А тут вдруг я согласился. Надо понять почему.

Слава Ивана Козловского не даёт мне покоя?

Неужели Иван Козловский поёт громче меня?*

Ну я честно не читал Каминера, только заглянул один раз в Hugendubel'e** в его «Мою немецкую книгу джунглей», прочёл одну главку, и никакого отвращения она у меня, сколько помнится, не вызвала.

Конкретно я ничего не запомнил, но это уже моя проблема, nicht wahr?***

Однако забавно же будет, если я сейчас бессознательно настроился на его частоту.

То есть даже не его радиостанции, а на его собственную, авторскую частоту.

Но ведь стиль его я вряд ли здесь повторю... Во-первых, никакого такого стиля... Стоп-стоп... Нет, главным образом потому, что, по всей вероятности, задуманное как «письма человека без свойств», вот это моё «начало чего-то», кажется, превращается в некое единое *письмо без свойств*, где всё дело только в фактуре, а так как она у нас с Каминером заведомо разная (мы ни разу не встречались и вряд ли встретимся), то и беспокоиться мне не о чем... Человек без свойств или свойства без человека... Записки графомана или дискография писателя... Там поглядим, а пока что стоит всё же прочитать, что успел нацарапать, — чтобы не повторяться, по крайней мере, как та поцарапанная пластинка, заевшая, ну да, то есть убрать поскорей из текста следы склеротических явлений... А читателю, пока суть да дело, предложить то самое «письмецо в конверте», с которого на самом деле и началась вся эта, с позволения сказать, акция.

Вообще-то я сейчас раскрывал лэптоп с другими намерениями (я собирался писать следующую главу романа

* Этим вопросом заканчивается один из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.

** Сеть книжных магазинов в Мюнхене.

*** Не правда ли? (Нем.)

«Серпантин»), но вдруг увидел надпись MUSTERRAUM*, не на экране, а у себя на правой руке, не очень чёткую, всё-таки я с тех пор уже два раза принимал душ. Бледные, но ещё зримые синие буквы. Это штамп, который мне поставили позапрошлой ночью вместо входного билета. Руки настоящих Nachtschwärmer**, особенно после выходных, покрыты палимпсестами из печатей различных клубов. «München leuchtete», «Мюнхен светился» — так ведь начинается рассказ Томаса Манна «Gladus Dei», и так же теперь называется медаль (только в настоящем времени — «Мюнхен светится»), которой награждают тех, у кого достаточное количество печатей на руке, а может, и за другие какие-то заслуги перед городом. MUSTERRAUM — это куб высотой двадцать метров, то ли на самом деле деревянный, то ли просто обитый деревоплитой, он вырос на газоне возле пинакотеки модерна и предназначен для демонстрации произведений видеоарта.

Я уже раньше там бывал, ничего плохого в этом не видел, больше похоже на дискотеку, где никто, впрочем, не танцует, а, попивая напитки, переводят взгляд с одной стенки на другую, работают, как правило, сразу три видеопроектора, за столом сидит видеохудожник с ноутбуком, с очень серьёзным лицом, на экране мелькают картинки, последний раз, точнее, предпоследний, это были кадры фильмов разных эпох, смонтированные в единый поток, танцевали Джинджер и Фред, летал Страшила из «Волшебника Изумрудного города», потом выходил Барышников и так далее. Всё это на двух противоположных стенах, а на третьей было изображение подруги профессора Академии искусств Клауса фон Бруха, который склеил множество плёнок

* Muster — образец, рисунок, узор, тип. Raum — пространство, помещение (нем.).

** «Любителей ночной жизни» (нем.).

в этот целлулоидный лист Мёбиуса, а подруга его делала рукой один и тот же жест, похожий на движения рук танцоров в *Pulp Fiction*, за спиной у неё при этом шли нескончаемые шеренги полуголых мужчин, и даже не просто шли, а маршировали, попадая точно в такт музыки, которая так же, как и картинки на двух других стенах, была аккуратно склеена из разных частей, так что песни переходили друг в друга незаметно, и получалось, что все песни — песнь... все танцы — танец... все огни — огонь... Помимо таких вот «культурных ассоциаций» (как говорит мой знакомый фотограф, когда слышит нечто подобное) в голове моей мелькнула, помнится, как бы «тень мехмата», то есть подумав о том, как всё это гладко сделано, то есть и функция непрерывная, и производная её — если считать её производной мои ассоциации, например... подумав об этом, то есть, я вдруг с чего-то — да ни к чему, собственно... по крайней мере в тот раз, подумал мимоходом о том, что есть, мол, у каждой функции не только производная, но ещё и первообразная функция, ну то есть интеграл, другими словами, да, но старое слово — «первообразная» тут больше показалось мне, подходящим. Дальше мой «матанализ образов после прослушанного песнопения» в тот вечер не получил развития — я вспомнил только, что ещё раньше «первообразную» называли «примитивной функцией», а потом вообще задумался о чём-то совсем уже другом, разве что ещё вспомнив напоследок... ну да, музыка навеяла, конечно, совсем уже старый и не очень смешной день-мехматовский каламбур (который к тому же некому было рассказать, потому что никто в тот вечер рядом со мной не понимал по-русски): «Математик видит объявление “Концерт камерной музыки”, загорается интересом, покупает билет, заходит в зал, через час выходит жутко недовольный, сердитый: “Рассмотрели только случай $K = 3$, тьфу...”»

Позавчера в деревянном кубике выступали швейцарские художники Фишли и Вайс. Сначала я думал, что у них какие-то неполадки с аппаратурой, что-то невыносимо громко заскрежетало и сразу заглохло, и так пару раз... но мне и в голову не могло прийти, что этот звук вовсе не сбой в программе, не дефект в оборудовании, а как раз то, что нам и предстоит слышать всё время. Оглушительный скрежет снова включился на полную катушку и теперь уже не умолкал, одновременно на трёх экранах появилось изображение трубы, вглубь которой падала камера — это было абсолютно монотонное видео и такой же звук... Разве что в какой-то момент стенки трубы, возможно, слегка меняли свой оттенок, не меняя очертаний, от этого порой казалось, что труба вообще органического происхождения, какие-то жилочки вроде мелькали, если это была чья-то кишка, то, наверно, прямая и как-то гладко переходящая в канализационную трубу — в которую по-прежнему падала камера или зонд, не меняя ни скорости, ни направления, мелькали серые круглые стены, иногда пятна какой-то краски, может быть, ржавчина, впереди периодически мерещился просвет, ну да, свет в конце тоннеля, но каждый раз это оборачивалось миражом, ничего там не было, кроме той же самой трубы, один только раз мелькнула крыса, а может, и показалось, очень быстро, и снова впереди — кроме стенок той же самой трубы, ничего не было. И всё это было бы не так страшно (в смысле, скучно, $K=1$, ну да...), в конце концов, никто не заставлял туда смотреть, можно было смотреть, скажем, на Беату... но скрежет, то и дело переходящий в грохот, не давал возможности разговаривать — и, что называется, продирая до кишок, и через десять минут мне всё это уже успело осточертеть, я стал уговаривать всех своих знакомых покинуть куб, перейти куда-нибудь, где можно спокойно посидеть и поговорить по-человечески. Мне не сразу удалось их убедить.

В течение часа примерно ни с изображением, ни со звуком не происходило никаких изменений, разве что... теперь мне казалось, что изображение как-то тоже дребезжит — от этого скрежета, как и мои поджилки-кишки... а может быть, так было изначально — с изображением то есть, оно дрожало, камера ведь падала всё время, ну да... «Странный эффект: мне вдруг захотелось стать лётчицей!» — прокричала Беата мне на ухо. «Ты же можешь летать с отцом на его планере, — ответил я, — бесшумно!» — я при этом поднял вверх указательный палец... «Нет-нет, мне хочется летать на истребителе!» — сказала она. Я снова посмотрел на лица зрителей этого... трёхканального видео — я не видел на них особого восхищения, да, но смотрели они при этом на все экраны, не отрываясь, заворожённо, как какое-нибудь... «Молчание ягнят», да. Накануне, в пятницу то есть, суд над роттенбургским каннибалом вынес своё решение: восемь лет. А по оценкам многих журналистов, экспертов, каннибал может выйти на свободу через 4,5 года примерно... ну да, учитывая его наверняка примерное поведение... Четыреста человек изъявили желание быть съеденными, когда он поместил своё объявление в интернете. Он выбрал одного... Выйдя на свободу, сможет продолжить... Конечно, над ним будет надзор, круглосуточная видеокамера как минимум... Но кто знает, не упадёт ли она в эту первообразную... то есть бездонную воронку, что мы сейчас видим на экранах... Судьи проявили к нему явную симпатию, приняв сторону не прокурора, а адвоката. О чём после этого говорить, что вообще писать... Ну разве вот ещё что: в тот же день я слышал по дороге, по радио, в наушничках... что хотят принять новый закон: ввести за работу «по-чёрному» — а это, там особо отметили, наиболее распространено в виде черновых работ, как то: работа в качестве «пуцфрау», уборка... так вот, за всё это — теперь, если закон проведут, будет уголовная ответственность. Предлагают сделать нака-

знание работодателю больше, чем работнику: сроком до шести лет... И вот теперь не надо больше никакого математического анализа, арифметика: если «по-чёрному» нанять девочку убрать квартиру, можно получить шесть. А если её съест, то восемь, но выйти через четыре, да... Фишли, или это сейчас Вайс, в очках, лицо слегка освещено экраном ноутбука, он что-то набирает на клавиатуре, выглядит это так, как будто он пишет роман, но всё проецируется сразу же на стенку, и это — труба, бесконечная труба, хоть бы крыса ещё раз мелькнула, что ли, для разнообразия... О втором их любимом персонаже, медведе, тут и мечтать не приходится, к сожалению... Я уже почти склонил своих друзей к бегству. А. К. согласен, Силя тоже. Матиаа я не пытаюсь агитировать, он стоит со своим галеристом Ц., и вид у них очень серьёзный, почти такой же то есть, как у Фишли и Вайса. «Я хочу узнать, что будет в конце трубы», — говорит мне Беата, но через десять минут она тоже готова выйти из куба. Мы уже на улице, где снег и потрясающая тишина... Рядом снежное — ну или настолько белое, что кажется вылепленным из того же снега, что холмики на крышах авто — здание свежей пинакотеки модерна, его только недавно открыли, а на первом этаже там уже две огромные временные выставки — фотографии, купленные «Сименсом»... Вокруг дома моих родителей как-то исподволь, из-под земли вырос стеклянный город, десятки огромных зданий — каждое длиною в квартал, и все они между собой соединены трубочками, и всё очень там прозрачно — везде просто утопически много зелени, целые висячие сады в арках, пальмы, лианы, гигантское банановое дерево посреди зимы, это — штаб-квартира «Сименса»... И добровольная жертва каннибала тоже работала на «Сименсе» программистом... Но пора уже выкинуть из головы все эти производные от ажитации, примитивные функции, инерционные ассоциации, всю эту рутинную фотоволыну, в которую потихоньку

превращается мир... Правы швейцарские художники, наверно, устроившие нам тут эту наждачную встряску с «наглядкой» — приехали, понимаешь, устроили путешествие к центру Земли... на следующий день, вчера, уже под вечер, правда, я что-то вспомнил и захотел всё-таки узнать, что же там в конце трубы, свет, нефть, первообразная... Я позвонил Матиасу, его телефоны не отвечали. И так до сих пор. Я звонил и Йенсу, но у него там тоже — только длинные гудки.

Должен сказать, что я прочитал всё, что выше MUSTERRAUM (потому что набранный курсивом текст тем временем уже вышел в журнале «НАШ», став тамошней «гонзо-панорамой»), и мне всё это вместе не слишком понравилось, но в особенности анекдот о Короткове в конце, что-то такое из серии «музыканты шутят», мне и рассказал его, кстати, один знакомый лабух...

Ну ладно ещё перед этим, вся эта чёрно-белая зависть к Каминеру, это нормально для литераторов, пусть будет, да... Но скверный анекдот в конце — это уже совершенно чёрная неблагодарность: Коротков ведь сыграл не последнюю роль в твоём образовании, эти его незабвенные, фантастические — без дураков — лекции, которые начались с африканских шумовых оркестров и кончились... Не помнишь чем?

Помню, почему же, я уже об этом написал: курс лекций продолжался два года и закончился разбором наших сочинений — эрзацев рефератов по истории ВКП(б), ну да, во время которого Коротков проявил ещё и необыкновенное редакторское остроумие.

Потом нам выдали «дипломы советских диджеев», красивые, похожие на комсомольские билеты, и, увидев у меня в руках этот дубликат бесценного груза, Валера Гершенгорин сказал, что им обязательно надо воспользоваться.

Надо сделать дискотеку и заработать копеечку, сколько же можно жить в полной нищете...

А в 1982-м, в принципе, уже были такие возможности, они то есть только-только забрезжили тогда...

Но непременно условием проведения дискотеки было наличие в ней помимо танцевальной ещё и *тематической* части... Программу которой должна была одобрять или не одобрять, вот именно... «литовать» то есть, специальная комиссия из обкома.

Да-да, я точно помню, что не из рай-, а именно об-. Я только уже не помню, почему местом проведения нашей с Гершенгориным дискотеки должен был стать расположенный в глубине Москалёвки ДК «Свет шахтёра». Москалёвка — это один из самых неприятных районов Харькова, я там учился в школе и вполне могу себе представить эту дискотеку, если бы она, паче чаяния... Ну да, кажется, через каких-то знакомых мы узнали, что там нет до сих пор никакой дискотеки, в клубе, а в свете последних веяний-постановлений, пленумов, что ли, дискотеки должны были как бы иметь место быть... То есть рассуждали, видимо, там наверху примерно так: свято место пусто не бывает — инициатива должна быть отобрана у буржуазной пропаганды, эрго, у нас должны быть свои советские дискотеки.

Предметом тематической части могло стать творчество *только* советских исполнителей.

К танцевальной программе допускались и зарубежные (по-моему, примерно фифти-фифти там должно было быть, да, как-то так), а вот в тематической было строго: только советские исполнители тчк. А какие тогда были отечественные группы, и что мы слышали в Харькове? БГ долго ехал и доехал до нас только в 1984 году, концерт в подвале общежития, кажется, иныза... Кстати, лекции Короткова тоже происходили в подвале студенческого общежития, но другого, и, боже мой, как же там хорошо было, там царил такой приятный полумрак, цвет которому, необычный оттенок, придавала стена с росписью — она была расписана престранной живописью, как в каком-то

дурдоме, девушка на гребне волны взметалась из пучины к небу... Нет, не на гребне волны, я вспомнил, а на шее морского чудовища, вот теперь точно... Это у нас за спинами, значит... А перед нами — где-то в полумраке и впереди — могучий абрис нашего кормчего: Коротков сидел за столом перед нами — огромная, совершенно чёрная тогда ещё борода, чёрная кожанка, и этот голос... он вещал после каждой композиции что-то всегда интересное... Помню, что уже и лет через десять, а потом и двадцать после окончания универа, когда я встречал его — чаще всего на станции метро «Университет», мы никогда, ни разу не разговаривали — со времён ФОПа, но он благосклонно так кивал мне головой с седой бородой, и на душе после этого было как-то так особенно хорошо и спокойно.

Но я отвлёкся: говорить, стало быть, в тематической части о каком-нибудь ВИА «Лейся, песня» я как-то не решился, нет... И я тогда сел и написал за один час текст об Окуджаве и Высоцком, вот первое в голову пришло, левой рукой, так сказать, я ведь уверен был, что... ну что это же просто отписка, ну кто её будет всерьёз читать, ну глянут там наверху, пробурчат своё «оно, конечно, ничего, потому шо шо ж...», и всё.

То есть в моём тексте, конечно же, изначально не было ничего крамольного — я же не враг был... самому себе, да? Но комиссия тем не менее нашу тематическую часть не утвердила.

Да-да, мы пострадали из-за многочисленных «фрейдистских» опечаток, которые наделала машинистка... Скажем, вместо фразы «Высоцкий — тема отдельного большого разговора» (этим я просто хотел сразу намекнуть посетителю, что культпросвет продлится недолго и скоро в клубе будут танці) эта кулёма напечатала «отдельного большоГо разговора». Ну и так далее — опечаток из серии «нарочно не придумаешь» было не меньше дюжины, а текст, отпечатанный на машинке под копирку

в шести экземплярах, был теперь в руках у каждого члена комиссии, и они не только слушали меня, но и сами *вчитывались*, и при этом вокруг них всё больше сгущалась зловещая тишина, пока в какой-то момент председатель комиссии громко не сказал:

«Что это всё означает? Вы вообще-то член партии? Вы хотите им оставаться?»

Последние слова были обращены не к нам (на нас они больше вообще не смотрели), а к директору ДК.

На которого вообще-то страшно было смотреть в тот момент...

Придя в себя, я стал объяснять, что это опечатки, я даже начал их сходу исправлять: не «больной», а «большой», и т. д., и т. п. В общем, комиссия не стала раздувать скандал — я же говорю, что я вырос в очень мягкое время, слоёное, этакий был штрудель, и дяденьки просто постановили, что мы должны переделать «тематическую часть» и заново представить её на рассмотрение. Но вот этого мы с Гершенгориним не стали делать. Точнее — я не стал. Просто из-за лени, плюс ещё, может быть, моё неверие в коммерческий успех этого предприятия... Ну, Гершенгорин не сразу оставил меня в покое, он говорил, что это грех — не воспользоваться таким ценным сертификатом. Столько-де людей хотят делать дискотеки, но у них нет «ксивы» (которая на самом деле была тогда необходимым условием, прямо как права на вождение, да, такие вот были «права дискжокея»), а мы, точнее, я — счастливый обладатель, и не воспользоваться этим просто грех и т. д., но в конце концов он тоже остыл, сессию надо было сдавать и всё такое, улеглось, короче... Следующая вспышка его коммерческой активности произошла уже, помнится, только на Кавказе, куда мы поехали отдыхать компанией... Я помню, как Гершенгорин нас просто поразил, купив целый ящик мыла. «Это же импортное, такого в Харькове нет, я на каждом куске заработаю рубль». Уже дома, распаковав ящик, Гера понял, что что-то не так.

Он понюхал один кусок, другой... Мыло пахло говном, да, это было индийское мыло — «Махарани», — и, когда мы вернулись в Харьков, оно уже продавалось и там, причём повсюду, и никто его не покупал, несмотря на рекламу, передававшуюся в то время по «сарафану». По слухам то есть, которые распространились среди населения, мыло было полезным. Но его всё равно мало кто покупал, разве что энтузиасты уринотерапии в качестве дополнения к ней. Я это вспомнил только затем, чтобы не переоценивать деловую интуицию Гершенгорина, во всяком случае, в то время (впоследствии-то он, что называется, «поднялся») и не кусать себе локти, что не сделал с ним дискотеку в «Свете шахтёра» и что тогда бы всё типа «могло бы сложиться иначе, и жизнь бы удалась...» Гершенгорин ведь потом годами — *годами*, да, я не оговорился, дарил это мыло друзьям и знакомым, пока всё не раздарил... А потому что не просто так, а только на дни рождения... Да-да, он понимал, конечно, что на подарок кусок мыла как-то не тянет, но в качестве довеска... вполне. Ну а тогда и основной подарок можно купить дешевле, — всё это он мне на полном серьёзе объяснил, когда я через два года заметил у него дома наполовину ещё полный ящик.

НЕЛЬЗЯ ТАК ПО-СВОЙСКИ ОБРАЩАТЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ СВОЙСТВ

Гулял вечером с сыном по городу, мы просто так блуждали, беседуя, и забрели в так называемый «кунст-ареал», где все три пинакотеки, я указал рукой на тёмный куб MUSTERRAUM и сказал, что несколько дней назад писал о нём.

Сын поинтересовался, что я написал, я сказал, что всякую ерунду, ну, что стоит такой кубик возле пинакотеки, двадцать на двадцать метров...

Сын сказал, что кубик явно меньше.

Я сказал, что это неважно, но упрямый ребёнок измерил сторону куба шагами, вернулся ко мне и торжествующе сказал: «Десять».

«Ты забыл, что ты вырос, — сказал я, — шаги больше стали, тут как минимум пятнадцать».

Но на всякий случай надо всё же сказать: то, что я пишу, надо делить... примерно надвое.

Надо ещё подумать, кстати, что делать с фамилиями, в случае Гершенгорина, к примеру, мне так не хочется ничего менять, потому что это такая красивая фамилия... И я ведь ничего такого плохого не написал, правда?

Но я не написал и ничего хорошего, а оно было... Первый курортный роман, скажем, который у нас с Герой и двумя москвичками произошёл одновременно, и если бы мы потом таки туда поехали... Нет, не в Жмеринку, а к ним, — в Москву, то, может быть, я бы и не дожил до сорока лет таким провинциалом...

А может, просто бы не дожил, кто это знает, но вот о чём надо было писать, а не о деньгах, которые пахнут мылом, которое... И всё-таки пока что я буду двигаться дальше, а там посмотрим, вернувшись, я ведь могу всё стереть и написать по-новой.

Как кассетный магнитофон «Акай», кстати, который был у того же Гершенгорина.

Магнитофон этот, прежде чем писать, производил как бы такие тесты-опыты: записывал немножко, проигрывал эту запись сам себе, стирал и опять производил запись, но уже с другими параметрами, и снова себе её проигрывал, — пока она его полностью не удовлетворяла, тогда только он начинал записывать всю композицию.

У него для этого был специальный механизм, какие-то дополнительные две головки — для тестирования, да-да... По-моему, это вообще был венец развития звукозаписывающей техники. Я с тех пор не видал ничего подобного.

Акай, okay... перечитав написанное, я ничего не стал стирать, решил только уточнить, что такое «параллель-

ная акция», с этой целью я открыл первый том «Человека без свойств». Помнилось мне, что где-то там есть строгое определение, математическое... Музиль ведь был математиком... Но вот нет, оказалось, что из его текста нельзя определённо узнать, что это такое. Кажется, всё начинается с цитаты из Фихте, которую приводит графу Лейнсдорфу его секретарь и которую его сиятельство НЕ принимает в качестве определения. То есть патриотизм он не хочет делать краеугольным камнем движения. Оно пока что просто «должно напомнить всему миру о существовании духовных ценностей».

Что касается Музиля... он вообще всё время где-то присутствует на периферии сознания, по крайней мере с тех пор, как я стал жить невдалеке от Какании.

Как только я научился читать на немецком и открыл газету *Süddeutsche Zeitung*, я увидел там нечто такое, что не могло не напомнить мне об Ульрихе.

То есть сначала я вспомнил Клариссу с её акцией «Свободу Моосбругеру!».

Но, кстати, узнал о существовании Моосбругера Ульрих в свою очередь опять-таки из утренней газеты.

Моосбругер (Хаарман) — убийца-маньяк, который ожидает своего приговора. На его счету десятки женщин. Ульриха начинает интересоваться этот человек, он следит за его судьбой, сначала по газетам, потом они с Клариссой посещают Моосбругера в тюрьме.

Отец Ульриха занимается вопросом ограниченной вменяемости, то есть интерес Ульриха (человека без свойств) к Моосбругеру, с одной стороны, вполне праздный, с другой стороны, наследственный, ибо «даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами».

Ну и вот же, в том номере «SZ» я прочёл статью, в которой было как минимум три персонажа Музиля, так что я просто не мог не вспомнить его роман.

Там были Моосбругер, Кларисса и даже отец, занимающийся вопросами ограниченной вменяемости, толь-

ко теперь это был отец не Ульриха, а Клариссы, и жил он в Израиле (и был, по словам автора статьи, одним из самых известных израильских психиатров), как и сама Кларисса, пока в неё не влюбилась немка, приехавшая в Израиль по туристической путёвке.

Влюблённые переехали жить в Германию, и Кларисса закончила там мединститут и, выбрав под конец всё-таки специальность психиатра, стала проходить практику в клинике, пациентами которой были преступники, признанные неограниченно невменяемыми. Там она и познакомилась с Моосбругером-Хаарманом, убившим к тому моменту ещё несколько десятков, а может, и сотен женщин. И на этот раз, то есть в этой реинкарнации, Кларисса таки выпустила Моосбругера на волю... Была ли это любовь, следствию было не совсем ясно, многое об этом говорило, хотя Кларисса до тех пор была лесбиянкой и хранила верность своей немке... Она, во всяком случае, отрицала наличие между ней и Моосбругером каких бы то ни было сексуальных отношений и объясняла свои действия исключительно гуманистическими соображениями.

Её конкретной специализацией в психиатрии была так называемая теория мультиперсональности, и она считала, что успешно претворила эту теорию, реактивировав в Моосбругере другую личность, — которая была абсолютно безопасна для окружающих.

А ту личность, что кромсала женщин, Кларисса полностью стёрла, и сидеть, стало быть, Моосбругеру в таком месте совершенно теперь было уже ни к чему.

Я помню, что всё это вызывало очень большие сомнения у судей.

То есть судили теперь уже Клариссу — за злоупотребление служебным положением.

Отпущенного же на все четыре стороны Моосбругера так и не нашли.

Судьи, во-первых, были уверены, что у Клариссы с Моосбругером всё-таки был роман, а во-вторых, что вся эта

теория мультиперсональностей полностью лженаучна и вообще не что иное, как «изобретение американских беллетристов» (прочитав конец статьи, я не мог не воскликнуть: «А может, всё-таки австрийских?»).

ИСТОКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АКЦИИ

Очки у него не совсем круглые, скорее они похожи на два стеклянных сердечка, но и это не совсем точное их описание... А если я не могу точнее описать форму очков, то что уже говорить о том, что за ними скрывается... Хотя оно не очень-то и скрывается — очки совсем не тёмные, и какое там ещё «оно»... В общем, обойдёмся без фотороботов, да? И назовём его: Манфред.

Мы с Манфредом были на курсах белыми воронами, хотя мы оба честно пытались начать новую жизнь в этом brave мире... Но с каждым месяцем занятий становилось всё очевиднее, что эти планы были утопическими и мы со своими мозгами останемся где-то там — в прошлом.

В перерывах между лекциями мы бродили по ветреной весенней Терезиенвизе* и говорили о литературе.

Его отец был специалистом по Фихте.

Манфред помогал отцу в работе со старинными манускриптами.

Потом отец Манфреда ни с того ни с сего попытался покончить с собой, у него не получилось, но после этого Манфред полностью забросил курс, а я отсидел там по полной программе.

С Манфредом мы теперь общались в неурочное время. Вскоре после того, как он бросил учёбу, он пригласил меня к себе в дом на импровизированное парти, посвящён-

* «Луг Терезы» — место, где две недели в году проходит Октоберфест, большую часть остального времени года — огромный пустырь.

ное прилёту к Земле крупной кометы... Кажется, её звали Галлея, и она видна была в открытом окне.

Перед этим я читал в газете, что какая-то очередная секта, проповедовавшая конец света, — вся, то есть до единого её члена — а это было примерно двадцать человек, покончила с собой.

Писали, что они прознали из каких-то своих источников, что за кометой, прикрываясь её хвостом, к Земле полетел корабль инопланетян, готовых взять к себе на борт «тех, кто к этому готов».

После этого известия все члены секты, как по команде, приняли яд... Впрочем, почему как? По команде все и приняли, наверно, «готовность номер один», и — *always look on the bright side of death*... То есть надо верить в лучшее: улетели на корабле, да... Я прочёл всё это накануне в «SZ» и, попав на «комета-парти» к своему первому местному геноссе — Манфреду, я, оглядывая окружающих меня немцев, подумал: а не произошёл ли там... Там-там — за окном... такой обмен: те двадцать улетели, а другие двадцать с борта корабля — остались на Земле... Наверно, в тот момент я вспомнил название статьи моего старого приятеля Валеры, переводчика англо-американской фантастики... Статья Валеры называлась «Они — это мы», и речь в ней шла вовсе не об англосаксах, а вот именно о пришельцах.

Надо сказать, что в этот момент Валера уже стал заядлым или, лучше сказать, «прожжённым» контактёром, да, я даже не знаю, можно ли его ещё было называть переводчиком, потому что он тогда уже забросил переводы и писал сам, и не «сайнс-», а «нон-фикшн»: статьи, эссе... которые были ещё более фантастическими, чем то, что он раньше переводил.

Основной его специальностью до всего этого, когда-то давно то есть, была прикладная математика, а зарубежную фантастику он переводил в свободное время... А потом в это же время... Хотя я сейчас вспоминаю, что Валера

был ещё более многогранным героем, он был продвинутым культуристом, да, очень продвинутым, он вёл занятия по культуризму, и в числе посетителей его занятий были даже и некоторые местные *авторитеты*...

Ну то есть у Валеры были довольно разносторонние *связи*... И круг его знакомств, очевидно, продолжал расширяться, — пока туда не попали и пришельцы, да-да, и они туда же... и Валера тогда сел и написал статью под названием «Они — это мы», и не её одну, — он стал посылать эти статьи в разные органы печати, ну, короче, он давно уже стал *настоящим контактёром*.

И не раз звал меня пойти с ним на стоянку летающих тарелок, которая тогда была где-то в районе Байдарских ворот (а это в Крыму, на яйле Ай-Петри).

Как-то я зашёл к нему и увидел его с перевязанной рукой, и Валера объяснил, что во сне левитировал, очнулся на клумбе возле дома, и всё это сквозь стекло, вылетело тело сновидения и совпало... ну и так далее.

Когда я встретил его через много лет в одном доме и в течение часа или двух он в разговоре ни разу не упомянул *тарелки*, я подумал, что всё проходит, и вот это тоже — прошло, да.

Но, когда мы вышли в другую комнату, Валера зашептал мне, что сон, который я между прочим пересказал за столом, нужно трактовать совершенно однозначно, потому что накануне был большой... Не помню, как он это называл, визит или прилёт, съезд... но сон, по его словам, был точно *их* попыткой — установить со мной контакт.

Но я отвлёкся от комета-парти из-за этого сравнения, которое действительно мелькнуло у меня тогда в голове из-за названия Валериной статьи: «Они — это мы».

На диване сидела девушка, похожая на одну из героинь «Жидкого неба», и рассказывала о том, как в тот же день, по дороге на это самое парти, она увидела аварию.

Человек попал под машину, и она рассказывала очень подробно, — в таких деталях, что казалось, самое поразительное

тельное для неё во всём этом было то, что люди оказались такими хрупкими, хотя с виду и не скажешь.

На минуту я вообще перестал её слышать, — я вспомнил, что в самой первой главе «Человека без свойств» (*«откуда, надо заметить, ничего не вытекает»*) происходит подобный инцидент: пешеход попадает под машину, и дама, имени которой мы пока ещё не знаем (а я тоже не знал тогда, что девушку, которая увидела аварию, звали М.), точно так же *«почувствовала что-то неприятное под ложечкой, что она вправе была принять за сострадание; это было нерешительное, сковывающее чувство. Господин после некоторого молчания сказал ей: “У этих тяжёлых грузовиков, которыми здесь пользуются, слишком длинный тормозной путь”*».

Чуть позже я узнал, что М. делает инсталляции из поролона, куски которого она так обрабатывает паяльной лампой и красной краской, что они выглядят как открытые раны.

Какие-то стигматы вещей, да, в этом было что-то жутковатое, в этих её поролоновых инсталляциях, и увидев их, я вспомнил тот первый вечер, её рассказ о несчастном случае, слёзы, которые стояли при этом у неё в глазах.

Поролоновые раны поэтому казались совершенно неожиданными... но, наверно, не надо было их воспринимать как изнанку души М., может быть, в гораздо большей степени это была попытка переработать слишком сильные впечатления.

Не только для меня, но для всей компании эта инсталляция М. была полной неожиданностью.

Теперь М., кажется, делает какие-то комнаты, параллельные пространства, вот именно, где всё так, как в нашем, но... что-то всё-таки не так, да.

Но чтобы писать о М. и других, по идее надо уехать если не на другую планету, то в другую страну... Нет, не потому, что я боюсь, что, прочитав эти записки, они устроят мне тёмную, просто нужна дистанция, даже и между ав-

тором и его «их-эрцелером»... не говоря уже о его персонажах... лицом к лицу лица и всё такое прочее... И я ведь по-прежнему не знаю, что это — мемуары или нуар, зачем-то здесь мелькал Патрик, потом Моосбругер... В общем, какая-то фикшн, или всё-таки нон-фикшн... Я ещё совсем то есть не определился... А что касается узнаваемости, так это дело десятое... К тому же недавно супруги Черешневские, прочитав мою книгу, пригласили меня к себе в дом и там сказали следующее: «За последнее время в наш дом попали две книги. Одна твоя, другая N. После того как мы прочли книгу N., у нас пропало всякое желание с ней общаться. Почему? Да потому что мы узнали в её персонажах своих знакомых и даже близких друзей, и то, что N. о них написала, и то, как она это сделала, вызвало у нас глубокое возмущение. А после того, как мы прочли твою книгу, — мы тоже там узнали массу общих знакомых — нам после этого захотелось с тобой общаться!»

Услышав это, я подумал: «Вот чёрт, N. пишет лучше меня... Мне не хватает *злободневности*...»

В то же время я вспомнил, что мне-то как раз очень понравилось, как N. меня изобразила в одном рассказе...

Правда, в конце рассказа она меня замочила, но это уже, наверно, законы нуара, тут уж ничего не поделаешь... В общем, я по-прежнему не знаю, надо ли менять все имена и фамилии. Наверно, буду решать в каждом отдельном случае. Вот Митя Шток, например, сам поменял свою фамилию, взяв её у бывшей немецкой жены.

Возвращаясь на Feuer-Ball*: комета всё ещё видна в окне (небольшая — несколько сантиметров — светлая расщелина в чёрном небе), я долго смотрю на неё, но наконец отвожу глаза, оборачиваюсь и вижу Штока, распластавшегося на великолепном ореховом паркете посередине комнаты в позе спринтера, его никто не замечает, если

* Комета (нем., без дефиса) и «огненный бал».

надо, через него спокойно переступают с бокалом в руке, как через шкуру какого-нибудь зверя, если хозяин дома просит, чтобы сохранилась подольше. Манфред объясняет мне, что это известный русский актёр Шток, который снялся во многих фильмах и, кроме того, пишет картины и делает инсталляции.

В какой-то момент Шток поднимается с пола, снимает с себя рубашку и начинает крутить ею над головой.

Казалось, он совершенно невменяем, но Манфред заверил меня, что это не совсем так.

Фон Шток заскочил на стул и стал декламировать стихотворение Анны Ахматовой на немецком.

На лице у него были свежие шрамы, Манфред шёпотом объяснял мне, что он не так давно ездил в Москву. По его (Штока) словам, ему там не съездили по физиономии, а просто он упал во время богослужения в какой-то церкви, да так, что разбил себе часть лица... «Скажи дураку молиться...» — машинально начал было я, но Манфред сказал, что Шток, может быть, и не молился, а благодарил. «Я в этом не очень разбираюсь, — сказал я, — разве это не одно и то же?»

«Нет, — сказал Манфред, — Шток благодарил церковь. Она дала ему деньги на билет в Москву, понимаешь? Ну, то есть Мюнхенская миссия Русской православной церкви. Что касается шрамов... Мы всё-таки думаем, что его там избили, зная Митин характер. Он застрял в Москве надолго, улетел на неделю, а вернулся через год. На обратный билет мы ему передавали деньги, и не раз, он их тратил и опять пропадал, но потом опять кому-то звонил, и в конце концов мы снарядили экспедицию.

М. поехала в Москву, вон та девушка у окна, и привезла наконец Митю обратно. Без него никак нельзя, Митя — это душа нашей компании».

Он подошёл ко мне и сказал: «Говорят, ты из России». Я уточнил, что из Украины, и спросил в свою очередь, в каких фильмах он играл.

Он стал называть фильмы один за другим, я ни один из них не видел, и он махнул рукой и сказал, что теперь главное для него живопись хотя от предложений в кино он в принципе не отказывается. Ему вот предлагают сыграть главную роль в «русско-немецком роуд-муви».

С тех пор прошло уже пять или шесть лет... или семь, или восемь, и ни в каком кино с той поры Шток, насколько мне известно, не снялся, а периодически всей компании становилось страшно за него, он надолго пропадал, его искали в Мюнхене и в Москве, кто-то видел его в компаниях явных клошаров, его сажали в тюрьму за то, что он кусал полицейских, потом он лечился от алкоголизма, после чего становился на время другим человеком, у него появлялись какие-то идеи... Я помню одну из его идей — он рассказал мне её в баре ресторана «Акасака»... При этом в стакане у него была вода из-под крана, а идея состояла в том, чтобы сделать Царь-колокол из дерева — в натуральную величину. Я пожал плечами — ну и что?

«Ты не понимаешь, — сказал Шток, — ты не понимаешь... Царь-колокол из дерева, это же просто чума, это будет пиздец, ты не понимаешь...»

Но он не осуществил этот проект — через неделю снова стал пить, и в следующий раз, когда я встретил его в «Акасаке», он, полуголый, что твой Игги... Поп, да, скакал у стойки, размахивая рукой у себя над головой, как будто и в самом деле звонил в колокол — не только бесшумный (из дерева), но и невидимый. Потом он стал бить стаканы, и Коджи выгнал его из бара.

А начинали они вместе, Коджи, бывший актёр театра кабуки, и наш артист параллельного кино уговорили владельца ресторана «Акасака» открыть этот красный уголок, где целый год собиралась компания Манфреда, почти забыв на это время все другие места.

Вряд ли Шток ещё помнит о деревянном колоколе, и я бы тоже о нём наверняка бы забыл, если бы го-

да три назад он под завязку своего очередного короткого трезвенного периода не удивил меня. Время было уже довольно позднее, и следующей кнопкой на пульте, которую я собирался нажать, была красная, выключавшая телевизор.

До этого я машинально переключал каналы, я уже засыпал... И вдруг я увидел на экране Штока в белом халате и колпаке. Когда он к тому же закричал на русском: «Тревога! Ядерная опасность! Тревога! Всем срочно перейти в убежища!», я совсем перехотел спать.

Ну, дальше там стало понятно, что это была передача, посвящённая годовщине Чернобыля, и Штока взяли на роль чего-то среднего между актёром и статистом, — из чего можно было сделать вывод о том, что он всё ещё числится в какой-нибудь агентуре или агентстве и что ему иногда звонят оттуда — например, когда нужно что-то громко прокричать по-русски.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ

К моему вящему изумлению, у дверей подземелья я увидел Дэвида Бирна собственной персоной и в синем блейзере, напомнившем мне ливрею... с золотистыми сверкающими пуговицами!

Он стоял у входа и улыбкой приветствовал нас.

Ну то есть не только нашу компанию, а всех вообще посетителей его выставки.

В первом сводчатом зале была серия его работ, которую он назвал «Свадьба».

Перед фотографиями предметов там стояли сами предметы (помню, я ещё подумал: как тут хорошо подходит немецкое слово *Gegen-stand* то есть как бы «стоящий напротив»), различные тумбочки, табуретки в юбочках, настольные лампы, и всё это дважды — плоско на фото и перед фото в 3D, то есть «в натуре».

Когда мы чуть позже говорили с Бирном, он вспомнил, что идея пришла ему в голову во время посещения африканской церкви, где все так пели и плясали... и такой там был праздник жизни... что в голове у Бирна вдруг что-то щёлкнуло... и осталось, значит, только потом всё это расставить по местам, осветить и пощёлкать затвором.

Я раздвинул чёрный парчовый занавес и попал в соседний зал, где висела вторая серия фотографий, она называлась «Сакральная коллекция».

Это были большие и очень качественные снимки маленьких предметов.

Птичье пёрышко, перочинный ножичек... Только фотографии, прототипов теперь уже не было.

Мне показалось, что набор вещиц напоминает «Ключи к сновидению» Магритта, а может, и не показалось... Раздвинув ещё один чёрный занавес, я перешёл в третий зал. Там были подсвеченные неоновыми лампами большие фотографии, стилизованные под рекламные стенды на автобусных остановках.

На всех были атрибуты наркотического конзума, как то: кальяны, серебряные трубочки, золотые шприцы...

И слоганы типа: *«Только тот, кто поверит в свой сон, достигнет другого берега!»*

Я осмотрел все плакаты, раздвинул очередной занавес и очутился в первом зале — где была «Свадьба». Вроде бы всё ясно: в первом зале Бирн приглашал нас на свадьбу микро- и макрокосмоса, во втором зале была как бы спальня, коитус... Да нет, полное слияние. Там уже не было разделения, предметы были из того же материала, что и сны.

Я хотел спросить у него, зачем тогда нужен третий зал, но... не хотелось задавать дурацких вопросов.

Наверно, на всякий случай.

Запасной выход... он же вход... может быть, на самом деле это не третий зал, а первый, такая карусель, да.

Ничего нового, но... было приятно видеть самого Бирна, поедающего чили из как бы съедобной тарелочки, водку он в отличие от нас не пил, после меня с ним о чём-то долго беседовал Бернд, и они оба много смеялись.

Незадолго до этого, кстати, мы были на парти, куда сторонних не пускали, какое-то там было «geschlossene Gesellschaft», то есть «закрытое общество», но Бернду пришла в голову одна идея... Он попросил незнакомую девушку, только что вышедшую из зала, показать ему руку. Она показала руку, он взял её и поднёс к глазам, внимательно рассмотрел и сказал: «Ja».

После чего предложил нам свои услуги. Бесплатные, разумеется.

Бернд нарисовал каждому из нас точно такой же штамп, как у той девушки.

Когда мы пошли ко входу, краем глаза я успел заметить, что к Бернду выстроилась очередь из незнакомых людей, которые тоже хотели попасть таким образом на парти.

Бернд — душа-человек, он никому не отказывал, стоял и всем подряд, без исключения, рисовал печати.

Кончилось это тем, что мы все прошли, а Бернда не пустили. В качестве наказания, что ли, или он просто устал, рука бойца, да, и себе, последнему, он нарисовал печать как-то некачественно.

Мне стало жаль Бернда, но, когда я увидел это дохлое парти изнутри, я понял, что ещё неизвестно, кто кого должен жалеть...

К тому же через полчаса Бернд всё-таки оказался в зале и внёс туда хоть какое-то оживление...

Бернд когда-то сделал фотографию, которая теперь находится на обложке моей первой книги — на обратной стороне «Школы кибернетики»... И я тогда же подумал, что это странно, — когда смотрел на печать, которую он нарисовал у меня на руке рядом с ещё не полностью стёршейся надписью «MUSTERRAUM»... Я подумал, что Бернд

волшебник: если бы не его фотография, то и книжка бы, наверно, не вышла (серия «Оригинал» ведь оборвалась через одну после моей книги, то есть вышла ещё «Тёмное прошлое человека будущего» Чижова, и после этого всё накрылось) — точно так же, как, если бы не его рисунок на моей руке, меня бы не пустили на парти.

Но за фотографию я, конечно, особенно благодарен, и не только за то, что книга вышла в свет, но и в дальнейшем: когда я увидел обложку, на которой вместе с моим названием «Школа кибернетики» красуется название романа Харуки Мураками, я вздрогнул, читатель.

На обложке можно было различить ещё и названия романов Пола Остера, Петера Хандке, Кристиана Крахта... Кого-то ещё, кажется, Джозефа Конрада, но эти названия были не так чётко пропечатаны, и они-то как раз никому не мешали, сливаясь с некими печатными платами в этакий ненавязчивый *палимпсест*...

Но большие чёткие белые буквы «Dance, Dance, Dance» на синем и оранжевом фоне — это уже было слишком, то есть само по себе...

А если ещё учесть, что я когда-то написал рассказ, или, точнее, эпизод в одном рассказе, вложенный сюжет, ну да, о подложенных — в процессе его печати — в чужой роман строчках...

То есть о человеке, который работает в издательстве. Занимается вёрсткой книг. И есть у него при этом тайная страсть: он и сам пишет, но его никто не печатает.

И вот где-то после наступления middle-age crisis верстальщик решается на отчаянный шаг: он вставляет строфы своих стихотворений между строчками чужих романов.

Фокус проходит: благодаря разгильдяйству выпускающего редактора книги, тайно зафаршированные стихами нашего героя, выходят в свет.

Я помню, почему я убрал из своего стародавнего рассказа «Ай» этот сюжет.

Пока моя первая (точнее, нулевая, но подробнее об этом как-нибудь позже) книга лежала в издательстве «Ф», вышел роман Милорада Павича, в котором героиня занимается почти тем же самым.

Отличия есть, но они минимальны... То есть она была переводчица, а не макетировщица, но тоже писала стихи и поступала с ними так же, как мой верстальщик, — вставляла их между строчек переводимых ею авторов. И «зафаршированные» книги выходили в свет, а потом уже она звонила знакомым и диктовала цифры «шифровки», то есть на каких страницах и между каких строчек читать её стихи... Или нет, это я уже цитирую свой рассказ, по-моему, у Павича она что-то подчёркивала в готовых книгах красными чернилами, после чего посылала книги по почте друзьям и знакомым... Но я сейчас не уверен, что вычеркнул этот побочный сюжет из своего рассказа только из-за боязни обвинения в плагиате.

По-моему, у Павича я прочёл это уже после изменений, предпринятых скорее из стремления к максимальному минимализму... которое мне в ту пору было присуще, — это теперь я что-то разболтался... А тогда я ведь убирал из рассказов всё лишнее, как мне казалось, из «Ай» я убрал ещё несколько вложенных сюжетов, которые до сих пор ни у кого не находил...

Я убрал волнистого попугайчика, например, который выклёвывал из книг буквы.

За что я его убрал? Ну вот, я его возвращаю, только не в «Ай», но какая разница...

Если его выпускали из клетки полетать по комнате, он садился на раскрытую книгу (в том доме всегда лежат несколько раскрытых книг) и выклёвывал оттуда две-три буквочки.

При этом разговаривать его, как ни бились, так и не смогли научить, и зачем ему тогда нужны были буквы, было не совсем ясно...

Да, я этого нигде не читал, что, однако, не означает... что никто это не написал помимо меня...

Дело в том, что, узнав о моих литературных увлечениях, Т. в первую же нашу встречу рассказала мне о пернатом буквоеде.

Потом, примерно через месяц, Т. как-то между прочим, безучастным голоском спросила, не использовал ли я где-нибудь в своём тексте попугайчика. Я признался, что использовал, и Т. удовлетворённо кивнула. А поскольку она встречалась в своей жизни не с одним таким «сочинителем»...

You never know, вот именно.

Возвращаясь в Мюнхен: глядя на «говорящие головы»... То есть на энергичного маленького Бирна в его си-ней «ливрее», беседовавшего с Берндом так, как будто они были старые друзья... Или чуть позже, когда мы шли всей компанией через деревянный мостик через Изар... я попытался понять, хочу ли я записать те мысли, кото-рые пришли мне в голову на вернисаже Дэвида Бирна... «Нет, — понял я тогда же, — не стоит интерпретировать образы и видения... После прослушанного песнопения... Ни о чём не нужно говорить...»

Зачем же я записал сейчас все эти банальности? Бирн, кстати, впоследствии написал книгу — «Записки велоси-педиста» — которую полистав, я понял, что он тот ещё изобретатель велосипедов — в прозе... Но он ведь ещё и Бирн, да? Я же не пою и не фотографирую, так что этот развяз-ный тон, который я взял, ничем вообще не оправдан... Почему я вообще решил вдруг так писать, как бы сказать, антилитературно, как будто у меня есть что-то ещё кроме букв... Какая-то тёмная материя, очевидно, попала мне на перо, как бы невидимые чернила, то, что между строчка-ми книг, да я сам не пойму... Отсюда эта очерковость, ве-роятно: dark matter as a matter of fact...

Не знаю, а с другой стороны, никогда не поздно сте-реть даже и невидимые чернила... тем более что я, ка-

жется, уже отказался от рецепта сюрреалистов... Не в смысле использования снов, а от их «автоматического письма», то есть эти мои письма уже не совсем сымпровизированы... Конечно, я не пропальваю их так тщательно, как мои крымские песни о главном, но тем не менее кое-что я убрал кое-где, а что-то где-то вставил, набил вату, чтобы были, как в этом блейзере Бирна, плечики... теперь ещё осталось только включить «говорящие головы»...

А убрал главным образом вот эти отступления, призванные заверить читателя, что написанное не обладает художественной ценностью. Зачем говорить очевидное, да ещё повторять это много раз?

Такой штамп я ставил в министерстве культуры... Ну, не на эти записки, конечно, а на картины художников, чтобы их можно было вывезти за границу.

Что касается этих записок, написанных левой рукой и как-то там ещё... Ах, да, по-французски... неважно, всё равно ведь в итоге Штирлиц их порвёт... Или скомкает и скажет: «Нет, не стоит это везти через три границы».

Однако пока это не решено ещё окончательно, надо бы на всякий случай изменить имена и фамилии упоминаемых лиц везде, где это только возможно.

Впрочем, это можно сделать и позже способом глобальной замены, а пока писать имена собственные, иначе легко запутаться.

Конечно, не всех удастся переименовать... Например, Бернда Заутера нет, если я упомянул о фотографии на обложке... За которую я после всей чехарды («Русский ответ Мураками!» — так меня *позиционировала* «ОЛМА-пресс») должен быть особенно ему благодарен, и дело ведь не только в Мураками... Когда ещё до выхода книги вышла статья Л. Печёного в «Незалеживающейся газете», где он приписал мне заслуги В. Каминера, в интернет-версии газеты её, статью Л. П. то есть, сопровождала фотография кого-то, кто явно был не мной.

Впрочем, мой американский друг, увидевший статью в интернете, на мой вопрос, кто бы это с его точки зрения мог быть на фотографии, написал мне в ответ, что это, конечно же, я, — «а кто ж ещё, — писал Саймон, — что ты о себе, интересно, думаешь, что ты — Аполлон, да?»

Я написал Саймону, что он спятил.

Он ответил, что показывал фотографию жене и нашему общему другу М.

Все в один голос сказали, что это — я.

Это был уже какой-то полный бред, кучерявый человек на фотографии был совершенно не похож на того, которого я видел в зеркале... В принципе, и Т. это подтверждала, но я к тому моменту уже мало ей верил, особенно в таких вопросах, как... где я, а где не я.

Ну то есть в том моём портрете, который Т. периодически рисовала в воздухе передо мной, я себя давно уже не узнавал, понимаете... Я тогда был в Харькове и жил с Т. на квартире, где не было интернета, но я специально пошёл в интернет-кафе вместе с хорошо знавшими меня харьковчанами — членами редколлегии журнала «Союз писателей» и, затаив дыхание, открыл сайт «НГ».

Нет, это был не я, все это подтвердили, у меня гора спала с плеч, я написал Саймону, что он не прав, у меня есть свидетели.

Через несколько дней писатель Краснящих занёс мне бумажную «Незалёживающуюся газету», которую он покупал в каком-то одном особом киоске, так-то по городу её не было, и всё стало ясно, всё стало на место: в интернете к статье случайно приклеилась фотография Алессандро Барикко из соседнего материала.

«Поосторожнее надо быть с перемещёнными лицами, господа, — машинально подумал я тогда, — всё ж таки поосторожнее...»

Тем более что: «Ты просто клубок международной пыли, — сказала мне тогда же Т., когда мы вышли из интернет-кафе, — и больше ничего».

Или она сказала «космической»? «Космополитической»?

Ещё раз: не потому, что я понял вдруг, что заговорил прозой, как мольеровский персонаж... нет, просто я вспомнил слова Манфреда о нашем общем знакомом Г., который тоже пишет записки левой рукой, но только не на французском, а на немецком... Ну да, Манфред поведал мне, что наш общий знакомый стал писать что-то вроде дневников, которые он собирает когда-нибудь опубликовать... «Когда состарюсь, издам книжонку», — подумал я, а вслух спросил: «И как?»

«Я его настолько хорошо знаю, что мне трудно об этом судить, — сказал Манфред, — но знаешь, мне это напомнило... Когда Андреа с ним познакомилась, она спросила меня, кто он, что он? Я сказал: “Г. — классный парень... Вот только... Да нет, это неважно”.

Но она пристала, и я её предупредил: “Он будет всё время наступать тебе на ногу, Андреа. И после этого каждый раз извиняться. Так ты уж его прости...” Впоследствии она говорила, что это ужасно и каждый раз она меня вспоминает... Приходилось её утешать иногда, массировать ступни, которые он оттоптал... Что? Нет-нет, мы не будем сейчас возобновлять тарантиновскую дискуссию о массаже ног... Так вот, когда Андреа в конце концов его бросила, Г. стал писать. Дневники, или, может, он считает, что пишет роман... Но знаешь, на что это точно похоже, — вдруг воскликнул Манфред, — это как если бы он теперь всё время сам себе наступал на ногу и каждый раз после этого сам перед собой извинялся!»

Тут ещё мне вспомнилось, как Бернд показывал русское слово «хальтура»... Кто-то, может быть, и я, произнёс его в баре «Holy Home», в разговоре со Штоком, и почему-то подругу Бернда именно его звучание заинтересовало: «Вас ист хальтура?» — спросила она... Бернд знал это слово, то ли я, то ли, опять же, Шток, когда-то успел ему объяснить, причём не изначальный церковный смысл, а самый что ни на есть мирской-житейский. Но что это

я трачу столько слов — вот как это объяснил своей подружке Бернд: он поцеловал её. И сказал: «Это не халтура».

После чего положил свою ладонь на её щёчку и поцеловал... как бы её щёчку, но на самом деле свою руку — тыльную часть ладони, — после чего сказал: «А вот это халтура».

Все рассмеялись и запомнили русское слово, я думаю, навсегда, а я, как всегда, пытался в тот момент ещё что-то вспомнить... В какой сказке король целовал лошадь через платочек? Я так и не вспомнил, нет... Хотя потом ещё раз попытался — когда увидел по телевизору, как Zag целует лошадь — не халтура.

Переключив тогда канал с русского ТВ на ARTE, я услышал, что девушке корейского происхождения грозит тюремный срок во Франции и денежный штраф за то, что она поцеловала картину своего любимого Сая Томбли — от избытка чувств, оставила на белом фоне красный отпечаток губ.

Впрочем, совпадения — это самая бессмысленная для прозы материя, даже ещё более бессмысленная, чем явления из серии «нарочно не придумаешь» — которые тоже плохо смотрятся, когда всё есть фикшн, но совпадения — это крайний случай... Фишка ведь в том, что когда *всё* монтируется (а что есть проза, как не монтаж?), совпадения просто не могут выглядеть совпадениями, так что вот это уж точно стоило бы вычеркнуть, тем более что меня занесло уже совсем не в ту степь...

Когда я в тот же вечер рассказал К. о том, что Путин поцеловал лошадь, она встревожилась. Она вспомнила, что с этого началось безумие Ницше, а безумный правитель России... для её немецкой души это было как-то чересчур, что ли... Но тут же она припомнила, что у Ницше всё было совсем иначе: он стал обнимать и, может быть, даже целовать лошадь, и плакать, когда ту сильно стегнули кнутом, это была жалость, то есть уже точно совсем другое чувство, чем то, что заставило Путина

поцеловать лошадь... А потом и рыбку какую-то, воблу, что ли, после чего его многие так и начали называть, но сначала была лошадь... Я бы не стал это здесь вспоминать, если бы тогда же — когда К., услышав про поцелуй, вспомнила про первый приступ Ницше, — я в свою очередь не вспомнил то место в «Человеке без свойств», где Ульрих выходит из дому и вдруг испытывает некоторое чувство, которое невозможно назвать, но которое едва не заставляет его обнять и поцеловать дерево, растущее перед домом.

Какую-то секунду он, кажется, колеблется, но потом всё-таки справляется с собой и, по-моему, возвращается в дом. Цитирую по памяти, потому что с тех пор, как я попытался уточнить там, что такое «параллельная акция», я не заглядывал в «Человека без свойств», чего-то, видимо, опасаясь.

Хотя вроде бы какое уж тут эпигонство — в огороде бузина, а в Киеве... Которую — кстати, бузину, обнимал, а может, и целовал Ансельм... Кундера писал, что боялся умереть во время упражнений с гантелями, потому что так умер Музиль, его кумир, и это было бы «такое неистовое, фанатичное эпигонство», которое обеспечило бы ему «смешное бессмертие».

Не факт, кстати, что Музиль именно так и умер, по-моему, его нашли в ванной, а значит, вряд ли с гантелями, но Кундера так думал, во всяком случае, писал в своём романе...

Да, так что там мы имеем, король, королевич, Бирн, Бернд, бренд, халтура, хорошо бы всё это теперь как-то совместить...

Зачем тебе всё это совмещать? Чтобы совсем уже тогда... Что?

Ты это, ты ничего не бойся... Потому что упреков в халтуре всё равно не удастся избежать, правда, читатель?

Ну хорошо, известно, что король Людвиг Второй Баварский пытался в буквальном смысле построить переходы

из сна в явь, а из яви в сон — в этом и состояло назначение сумасшедших замков... Если это и не вполне очевидно, то, по крайней мере, хорошо просматривается, например, в Нойшванштайне — в том месте, где Людвиг приказал сделать искусственную пещеру, связывающую замок с горой — лжепещера плавно переходит в натуральный грот...

Вот, скажем так, что «Свадьба» (выставка фотографий Бирна) — это было что-то похожее, а Дэвид Бирн, таким образом, был здесь и в самом деле кем-то вроде швейцара, в этом подземелье, поэтому так и вырядился... Так что улыбнёмся ему и, раздвинув очередной чёрный занавес, перенесёмся через океан в вагон нью-йоркской подземки — где висит плакат с рекламой Summer school of visual arts.

Помню, что там было изображение носорожьей морды, вспарывающей карту Нью-Йорка...

Да-да, в разрывах проглядывал носорожий рог... Как раз там, где была эта школа — туда вели красные стрелочки, пунктир...

Это я увидел, когда встал и подошёл поближе к плакату. Я переписал к себе в блокнот телефон летней школы, прочитав, что там можно бесплатно выучиться и на оператора, и на фотографа, и на кого-то ещё, я не помню, может быть, даже режиссёра.

Если бы я остался на лето в Нью-Йорке, может быть, так всё это и случилось бы, но в силу разных обстоятельств я летом был совсем не в Нью-Йорке и школу визуальных искусств не окончил, и тянутся с тех пор пере-до мной эти партизанские тропы...

I like New York in June, and what about you?

Неделю я не прикасался к этим запискам, я, по правде говоря, отвык от их разнузданного тона — «раззудись плечо», да, и мне трудно теперь уже ответить на вопрос, которым они заканчиваются (да ещё нараспев).

По их внутренней логике вопрос исходит от моего двойника, оставшегося в Нью-Йорке и на июнь, и на август...

А может быть, живущего там и поныне.

Перспективы у него были довольно неплохие, и я не имею в виду летнюю школу-богадельню, я имею в виду другое: один из лучших фотографов мира предложил ему стать его (фотографа) коммерческим агентом.

Но хватит об этом, история не знает конъюнктива, в смысле сослагательного наклонения, так же, как фото-объектив... конъюнктивита, вот.

То есть «ФЭД точнее Фета», и всё в таком духе...

Нет, я не собираюсь сдавать свои позиции оголтелого лого...

центриста, да, или по...иста, если угодно... Но... по...

эта... слишком далеко заводит,

останемся поэтом

-у... в прозе.

Да и нет там никакого твоего двойника — в Нью-Йорке, во всяком случае, ему до нас, а нам до него нет никакого дела, адью.

И все эти бифуркации выглядят в высшей степени сомнительно: направо пойдёшь — главу потеряешь, налево сам знаешь что... Ну, то есть тут тоже всё вроде ясно: налево есть налево.

То есть вполне может быть, что всё, что было впоследствии, — это и была та самая Летняя школа визуальных искусств, и жалеть тебе, стало быть, абсолютно не о чем.

Вот разве что не стал коммерческим агентом... Кстати, почему было не попробовать? Пусть прожект, ну и что, это ведь уже выглядело чуть интереснее, чем продажа мыла или там дискотека в «Свете шахтёра»...

Правда, фотограф ещё не был живым классиком, и кто мог знать...

Нет-нет, ты забыл: некоторые его фотографии уже тогда были собственностью «Метрополитена» и «МоМа», и ты об этом прекрасно знал.

Впоследствии он забыл не только своё предложение — которое тебя тогда не заманило (ты начал ему говорить,

что никогда в жизни ничего не продавал — как будто он предлагал тебе торговать мылом «махарани»... а не собственными работами, да, и ты начал зачем-то у него спрашивать, как ему вообще в голову пришла такая мысль... а он пожал плечами и сказал: «Не знаю... Я почему-то подумал, что у вас должно получиться»), но и вообще всю эту нашу встречу в Нью-Йорке... Поэтому в Берлине мы знакомились заново.

Тут кажется уместным рассуждение о том, что фотография убивает память, но, во-первых, наше первое знакомство было на самом деле шапочным... Я видел фотографа в Нью-Йорке всего два раза — первый раз на чьей-то квартире на Верхнем Ист-сайте, где он показывал свою серию «Я — это не я».

Помню, что меня привёл туда художник М., и помню, что накануне мы были в музее Уитни, и я там видел множество подобных серий, как бы стоп-кадров одного и того же метафильма, назовём его условно задним умом: «Самосозерцание».

Кто-то там рассматривал себя с помощью маленького фонарика, собирал кожу на груди, на животе, светил на лицо снизу и т. д.

То есть на всех этажах музея были серии фотографий голых мужчин, и преимущественно чёрных. И это возмутило нашего друга Л., не то чтобы он был расистом или там фанатическим гомофобом, просто это такое засилие-однообразие показалось ему «перевернутым совком», а вот антисоветчиком Л. был ядрёным, это да...

Так вот, «Уитни»: только на первом этаже там была в тот момент инсталляция Мэтью Барни, по-моему, хронологически первая, несколько мониторов, в каждом из которых копошились какие-то копытные, сатиры, что ли... И это как-то выбивалось из общего ряда — который так возмутил тогда Л.

Ну, не стоит, конечно, всерьёз воспринимать мои песнопения после увиденных видений, понятно, что каждая

серия снимков в «Уитни» чем-то да отличалась от соседней... Уже не говоря о том, что серия «Я — это не я», которую мы смотрели на следующий день на одной частной квартире на Манхэттене, — это всё-таки было что-то другое...

Фотограф расстилал их на полу, как фотообои, снимки были довольно большими.

М. говорил на английском голосом спортивного комментатора... и я помню, как после его слов «...здесь это работает как приём, безобразное старое мужское тело...» взвилась хозяйка квартиры: «Как безобразное? Как это старое? Что ты несёшь? Прекрасное мужское тело!»

Сейчас, когда я смотрю на эти снимки, мне на самом деле нравится, как фотограф превращается на них в эдакого «Аполлона Безобразова».

И все эти игры с дильдо, кинжалом и клизмой... вообще не кажутся мне затасканными — как показалось тогда, потому что накануне я был в «Уитни», а до этого... вообще нигде не был.

Фотографии фотографа начали до меня «доходить» то есть уже по возвращении в Харьков, и в ещё большей степени много лет спустя, когда я увидел его альбомы в Мюнхене.

Но дело не только в том, что я видел или не видел раньше... Если бы я впервые увидел «Я — это не я» в Харькове, где на презентации фотограф лежал на земле перед ступеньками выставочного зала, и все, кто шёл на выставку, должны были через него переступить... Тогда, я думаю, у меня всё это сложилось бы в некоторый Gestalt, jawohl.

Но там, в Нью-Йорке, я видел на огромных чёрно-белых снимках просто дурачащегося перед собственной камерой немолодого человека, похожего на Сальватора Дали с подрезанными усами...

И вспоминалась при этом — ну да, всегда же что-то вспоминается, и в тот раз это была известная притча Арама Хачатуряна — о том, как Дали скакал перед ним голый на швабре, размахивая саблей, под соответствующую музыку.

Ну, только тут была не швабра, а клизма, в руках фотографа лебедино выгнувшая шейку, а фотограф, надо полагать, танцевал что-то из балета Чайковского...

На другой фотографии он напрягал бицепс и трицепс и одновременно давил искусственным членом себе на глаз, а на третьей... Стоп, стоп. Один раз я уже об этом писал, потом давал почитать фотографу, и это вызвало у него, мягко говоря, не очень положительные эмоции.

Он позвонил мне и попросил, чтобы я нигде это не публиковал. Я заерепенился, мне в общем-то не жалко было всё это стереть — тем более на тот момент там было две страницы, но как бы из принципа... Тогда фотограф сказал: «Я же не снимал тебя в Коктебеле, потому что ты попросил тебя не снимать... Вот и ты не пиши обо мне, потому что я прошу...» — «Как это не снимал, — удивился я, — а что же у меня теперь висит на стенах, как не твои фотографии?» — «Я снимал... Но не так снимал, как мог бы...» На это я уже не стал отвечать симметрично, подумав, что я пишу всегда как могу, я просто сказал, что всё, проехали, я не буду писать о фотографе (меня об этом попросил днепропетровский журнал «НАШ»).

И всё это так тогда и осталось черновиком, и до сих пор я к этому не возвращался, пока вдруг сейчас в каком-то... извинённом состоянии сознания... снова не попал в чью-то квартиру на Ист-сайде.

Дело вот в чём: я недавно узнал, что в Пинакотеке висит серия работ фотографа под названием «Графоман в Крыму», и, признаюсь, грешным делом, подумал, что фотограф решил мне отомстить!

Это не совсем паранойя, читатель, мы ведь за это время успели побывать с фотографом в Крыму, где он непрерывно что-то снимал, и я знал, что он из всего этого сделал какую-то новую серию, что она выставлялась в Лондоне не то в «Барбикяне», не то в «Тэйте»...

Несмотря на то, что в первый же день нашего совместного отпуска я действительно попросил фотографа меня

не снимать (ну, так уж нас в школе учили: Ленин не любил фотографироваться, а мы себя под Ленина чистим...), через какое-то время он стал пощёлкивать, целясь объективом и в мою сторону... Когда я привык к его камере и перестал её замечать...

Даже дикие животные в какой-то момент перестают замечать фотографов...

Ну вот, это всё во-первых... А вот и во-вторых: я давно говорил фотографу, что пишу свой крымский роман (и я действительно его пишу, а то, что вы сейчас читаете, по отношению к крымскому является *метароманом*).

Короче говоря, услышав название его выставки — «Графоман в Крыму», я наполнился самыми тяжёлыми предчувствиями.

Я не решался поэтому заходить в Пинакотеку, опасаясь, что зрители узнают меня и будут тыкать пальцами...

И тут фотограф сам явился в Мюнхен — собственной персоной.

Оказывается, Сименс купил для Пинакотеки серию его работ, и под это дело фотографа уговорили прочесть доклад с показом диапозитивов для так называемых «друзей пинакотеки модерна» (так называют самих себя её спонсоры).

И вот только когда фотограф приехал в Мюнхен и сказал мне, что серия датирована 1995 годом, я... вздохнул облегчённо.

Я, может быть, ещё тот графоман, мой метачитатель, но это же не повод, согласись, чтобы вешать меня на стены всех музеев мира с этакой табличкой...

А в 1995-м мы ещё не только не отдыхали вместе с фотографом в Крыму, но вообще не были с ним знакомы.

Ну то есть были, в Нью-Йорке, но фотограф об этом забыл. Что, однако, не обязательно служит подтверждением того, что фотография убивает память...

Кажется, я уже не первый раз об этом говорю в этой главе... Это — очередная плохо скрываемая цитата из Бродского...

Просто в последнее время я в разных книгах натыкался на порицание фотографии как искусства (вплоть до отрицания её права называться им), я, наверно, ещё вернусь к этой теме, но Бродский говорил не в плохом смысле, совсем напротив...

В каком-то своём прозаическом тексте он всем советует покупать фотоаппарат и снимать всё, что на глаза попадается.

Бродский утверждал, что это *очищает* — вот так, не убивает, а очищает память, да.

Ну, то есть убивает воспоминания.

По-моему, он употребляет такие слова, как «честная штука», и что-то ещё из словаря стилиг... И советует всем плёнку «кодак». Что вряд ли является name-dropping'ом, я не думаю... Я ещё не знаю, буду ли я писать о фотографе или, наоборот, вычеркну все упоминания о нём из этого текста... Чтобы, во-первых, ещё раз не подвергать дружбу испытанию, а во-вторых, не заниматься name-doping'ом, которым и так уже напичкан этот текст...

Интересно ведь посмотреть, сможет ли текст накачать мускулы без анаболиков...

Называть же и дальше фотографа фотографом как-то глупо... а придумывать ему другое имя после того, как назвал его работы, — это уж совсем по-детски, работы ведь известные... Может быть, переименовать их?

Вместо «Графомана в Крыму», скажем, «Член Союза писателей на отдыхе»? Да, это идея... Я вспомнил сейчас видеозапись, которую показывал мне фотограф в Берлине. Там была запечатлена его встреча с коллегами перед отъездом за границу — на стипендию ДААД.

Коллеги учинили ему что-то вроде шуточного суда, я даже вспоминаю, судьи кто...

А после этого фотограф встал, вытащил рубашку из брюк, и на пол посыпались камни.

Это вызвало сильное удивление у «судей», они остолбенело смотрели на груды камней, а фотограф тем време-

нем подходил к каждому из них по отдельности и предлагал последовать его примеру.

Ну, то есть выбросить камни, лежащие за пазухой.

Но я не коллега и не судья, даже в кавычках... С другой стороны, именно потому, что не коллега, а профан, эти мои «упражнения в славословии» (так Э. Чоран назвал цикл своих эссе о знаменитых современниках) на самом деле достаточно неуклюжи, и вообще, эта глава затянулась.

Мне кажется, что поставить в ней точку можно только не покидая Нью-Йорк Deep inside of the parallel universe... (поют «Red Hot Chili Peppers»).

Стало быть, 1993 год: Близнецы стоят, Бродский жив...

Он, может быть, и «не больше, чем поэт», но и не меньше, чем «первый поэт» Америки, ну да, такая у него теперь официальная должность...

И он хочет ей соответствовать, он хочет, чтобы американцы начали читать стихи, чтобы сборники поэзии лежали в супермаркетах, а также в отелях, вместе с Библией.

Я не знаю, не помню, была ли воплощена в жизнь хотя бы частично эта безумная идея.

Но я чётко помню, что в вагонах метро тогда появился первый плакат, который ничего не рекламировал. Потом были такие же листовки со стихами других поэтов, может быть, это продолжается и до сих пор, этого я не знаю, но начало я как раз застал тогда...

В коротком стихотворении Бродского, которое висело в метро, было что-то ковбойское:

Sir, you are tough and I'm tough
But who will write whose epitaph?*

И подпись: Joseph Brodsky.

И всё.

* «Сэр, вы крутой и я не лох.
Кто прочтёт чей некролог?»

Нет, ещё я помню, что в левом углу плаката было смутное изображение чьего-то лица...

Я помню, что у лица были сталинские усы, но лица как такового как бы не было или оно полностью сливалось с рыжеватым фоном плаката... Да и были ли усы сталинские? Они могли быть усами кого угодно, лица точно не было видно, только усы, даже форму которых я теперь помню неточно, и это могли быть усы как у Ницше, или как у Дали, как у фотографа...

«My horror is that my enemy has no face», — эти слова Хайнера Мюллера стоят под несколькими карточками в новом альбоме фотографа, который называется «Look at me I look at water».

Карточки представляют собой подрисованные люминесцентной краской фотографии.

А может быть, никакая она не люминесцентная, надо было бы дожидаться, пока альбом выйдет в свет, и его посмотреть, а потом уже о нём писать, если решил писать о фотографе...

Но я, похоже, ничего такого не решал, всё это просто мои воспоминания о будущем.

Да, я как бы читаю свою книгу, которую мне лень писать, — вот на что это всё примерно похоже...

Проект альбома, посвящённого Хайнеру Мюллеру, я видел в черновом виде, когда гостил у фотографа в Берлине, он всё это продолжал ещё складывать, но надписи на карточках были уже готовы.

Фотограф фотографом, а тебе не интересно самому взять в руки камеру и — вперёд, вперёд, заре навстречу?

Нет, неинтересно.

Фотограф в этом смысле наследник Родченко и мыслит геометрически, а тебе ближе алгебра... А их мир... живых, прозрачных пятен и упругих, гибких линий... непонятен, нет.

Когда я рассказал фотографу об одном из главных парадоксов моей жизни, который состоит в том, что я боль-

шую часть её провожу с художниками и при этом ровным счётом ничего не понимаю в живописи... «Что ж такое, Алик, — воскликнул фотограф, — такой умный и никак не разберёшься с какой-то сраной живописью?!!»

Надо было при этом видеть его эти глазки со вспышками...

Я снял за всю жизнь всего две или три фотоплёнки и одну видеокассету.

Камеру мне дали в Нью-Йорке соседи Саймона, и я три дня ходил по городу, снимал какие-то общие места... живот знаменитого моста, где проходят симфонические концерты... кирпичный город призраков на Вотер-стрит... бывшие цеха... трамвайные рельсы, обрывающиеся внезапно... вентиляторы в пустых зловещих окнах... ну и другие кадры, миллионы раз пережёванные «фабрикой снов»...

Разве что один план я бы посмотрел сейчас — я снял его, сидя в чужой машине, пока водитель заходил в дом, а я ждал, сидя на переднем сиденье, и в руках у меня была камера, а на приборной доске перед ветровым стеклом лежала книга, которую я думал было почитать, но отложил в сторону.

Это был второй, кажется, том «Истории китайской философии», старое советское издание, всего, по-моему, тома три...

Окна машины были открыты, было довольно жарко, конец мая... и каждый раз, когда рядом проезжала велосипедистка, в салон врвался ветерок и переворачивал страницу.

Велосипедисток было в тот день много, может быть, какой-то был велопробег, а дистанция между ними была в среднем такая, что страницы листались не очень быстро и не очень медленно.

Как раз так, чтобы невидимый читатель успел прочесть.

По-моему, это были красивые кадры.

Правда, теперь, когда я прокрутил их у себя в памяти, я подумал, что это выглядит как иллюстрация к рассказу Пелевина из ДПП(НН).

Там было что-то про ветер, который единственный листает страницы всех книг мира...

Правда, на моей плёнке было бы видно, что этот ветер возникает не сам по себе...

Да, но хватит изобретать велосипеды, я не Бирн... и я не думаю, кстати, что эти кадры понравились бы фотографу...

Во-первых, всё тут лежит на поверхности, есть та самая «псевдокультурная игра», как он её называет...

Хотя на видео не видно, что книга — «История китайской философии», это уже легче...

Но всё равно...

Я помню, как он взвился, когда мой приятель О. в Харькове, полистав его альбом «Saltlake», подошёл к нему и стал проводить параллели с Данте. Фотограф послушал немного и взвился тигром: «Вот это то, против чего я борюсь всю жизнь! Нет там этого ничего, слышите? Нет никакого Данте, никакого “Ада”, это всё вы придумали!»

Было не совсем понятно, что он имеет в виду, свои фотографии (на которых были мужики и бабы, купающиеся в жидкости, вытекающей из трубы какого-то предприятия на Донбассе) или... Да, и тут надо сказать, что всё это происходило в харьковской квартире фотографа, и «всё это», собственно говоря, был мой день рождения в 2002 году, как раз после выхода в свет первой книги, я был счастливый-пьяный и одновременно больной, из Москвы я приехал в Харьков с гриппом.

На первом этаже в этом подъезде есть зелёный ящик, или просто дверца такая, закрытая на замочек, может быть, она прикрывает какой-то служебный вход или какие-то трубы.

И вот на ней тогда было написано белой краской: «Exit to Hell».

А когда фотограф был в Мюнхене и мы уже перед его отъездом зашли в Haus der Kunst на выставку «Партнёры», в одном из залов он указал мне на синий ящичек, на котором было написано белой краской «26.JAN.1989» и сказал: «Вот это классная работа».

Я признался, что если бы мне не сказали, что это экспонат выставки, я бы подумал, что это технический шкафчик, скрывающий какие-то приборы или краны (до этого фотограф фотографировал стеклянный шкаф с находящимися пробками, в коридоре здания). «Нет, нет, это Он Кавара, он очень сильный художник. Эта работа заняла первое место на всемирном конкурсе, в котором я, кстати, тоже принимал участие...»

Мне не стыдно признать, что я в первый раз не отличил произведение Она Кавары от технического шкафа. Но должен же в нём быть какой-то смысл, *концепт*... Я сейчас было подумал, что, открыв его, можно перейти в следующую главу, но нет, оказалось, что синий ящичек вообще не открывается.

Он заколочен.

Он похож на ящик, который я видел на электростанции в Манхэттене.

На котором было написано: «Must be closed for all the times».

И снова Город, который никогда не спит. 1993 год. За то время, что я был в NY, Бродский, по-моему, нигде не выступал... То есть один раз в Балтиморе, но я не смог туда поехать, потому что Л., пообещавший, что мы обязательно через неделю поедem в Балтимор, когда настал этот день, сказал: «Ты знаешь, я так подумал... Вот если бы Ахматова выступала, я бы тогда обязательно поехал».

Всё странно на самом деле. Я помню З., ухаживавшего за моей родственницей, я помню, как он говорил, что не любит Бродского, потому что тот большой человек (сердечник) и всё его творчество — следствие этой болезни.

А потом я узнал от родственницы, что у З. хронические проблемы с сердцем, и подумал, почему же вместо сочувствия... Но дело не в этом.

З. был молодым и очень успешным предпринимателем, не знаю, почему речь у нас с ним вдруг зашла о Бродском. Дело в том, что впоследствии З. замуровали в стену.

А тело его шофёра расчленили на мелкие части и добавляли их перед похоронами к другим трупам.

Я об этом узнал из фильма (его показывали по какому-то русскому телеканалу, возможно, RTVi), который был одновременно документальным и художественным, это были инсценировки нашумевших криминальных дел.

Я позвонил родственнице, пересказал содержание, ожидая от неё услышать, что всё это бред или в худшем случае просто имя совпало... Но она сказала, что всё это правда и всё это случилось именно с З.

Сложно передать ощущение, которое испытываешь, сидя у телевизора и глядя, как актёры инсценируют последние дни жизни знакомого тебе человека, как бы стирая грань...

Когда после этого знакомый акционист Ш. рассказал тебе о своём будущем перформансе, который сводится к *как бы* замуровыванию его собственного брата в стенку, у тебя как-то не очень получилось изобразить живой интерес, ты только грустно усмехнулся, помнишь, да?

Тебе показалось тогда, что акционисты пытаются сказать о том, о чём говорить не только нельзя, но... согласно логико-философскому трактату, «о чём нельзя говорить, должно молчать».

Ударение в «должно» падает на первый слог.

А если на второй? Тогда это превращается в странный императив, суть которого как бы сводится к тому, что бытие должно молчать.

Но оно не молчит. То есть оно и так не молчит... И даже определяет своим немолчанием — сознание, если не в марксовом, то в хайдеггеровском смысле.

А скорее всего, то так, то этак... И зачем же тогда, спрашивается, нужны акционисты?

Ну, некоторые из них впоследствии становятся акционерами... платят акцизы... в общем, становятся почтенными гражданами.

Но это единицы, и тогда они, как правило, перестают быть акционистами...

Хотя это ещё большой вопрос, кто больший акционист, кто меньший...

Вот в тексте о Поле Маккарти (не битле), который сейчас вывешен на сайте Haus der Kunst, например, так и написано, что Зигмунд Фрейд был, дескать, художником-акционистом.

Повлиявшим на Маккарти наряду с Беккетом.

Я подумал, что более точного определения деятельности Фрейда я, например, ещё не встречал.

А в «FAZ»* сегодня была статья о другом дедушке акционизма Отто Мюле, которого Австрия теперь чествует как национального героя, делает ретроспективы его живописи в лучших своих музеях.

Раньше на его родине его проклинали и даже сажали в тюрьму.

Лет восемь Мюль просидел... Ну то есть формально за наркотики и недоказуемое совращение несовершеннолетней... Но всем ясно было, что на самом деле за этот его — акционизм.

Это восьмидесятилетний Гессе сел за соблазнение четырнадцатилетней, а не за живопись... Это уже в тюрьме он с позволения надзирателей стал писать картину масляными красками, прямо на стене камеры...

То есть соотношение между живописью и акционизмом у Гессе было такое же примерно, как у Отто Мюля...

И когда картина была уже почти готова, Гессе вспомнил «о более существенных занятиях, чем живопись» и,

* Газета «Франкфутер альгемайне цайтунг».

сделав несколько тайных дыхательных упражнений, занял место в нарисованном поезде и — на глазах у изумлённых охранников — умчался прочь...

После того как фотограф, его жена и директриса пинакотеки модерна перешли в соседний зал (обычных посетителей в пинакотеке уже не было — после шести часов вечера), в зал, где висел «Графоман в Крыму», забрёл служащий музея из другого зала и с другого этажа... кивнул своему приятелю, охранявшему этот зал, и пошёл как посетитель вдоль стены, рассматривая «карточки» фотографа, и где-то после третьей или четвёртой он громко спросил: «Вальтер, ты не знаешь, где это? Где это такое, а?!» и обернулся к приятелю, который жестами призвал его сейчас же заткнуться, потому что директриса рядом — он указал пальцем — за тонкой стеной в соседнем зале, он приставил палец к губам, сдвинул брови... Но маленький весёлый служащий, который зашёл к нему в гости, только махнул на него рукой — «Та ладно...» и, рассмотрев следующую фотографию, ещё громче воскликнул: «Да погоди ты! Я правда хочу знать — где это? Я туда поеду в отпуск!»

ФОТОСИНТЕЗ

Фотограф был в белой рубашке, расстёгнутой до пояса, в поезде было очень душно, я побаивался, как у него будет с сердцем. Пока всё было вроде бы ничего, дышал он часто, но говорил, что с ним всё в порядке. Он достал из кармана маленький серебристый фотоаппарат, кажется, это была «лейка», раньше я видел у него только большие чёрные камеры, и эта выглядела какой-то детской, или шпионской.

В первый момент мне вообще показалось, что он достал из груди этот свой прибор — «Schrittmacher» — я не знаю, как по-русски, ну прибор, стабилизирующий частоту ударов сердца... Впоследствии он это и сделал —

почти буквально — в альбоме «Maquette Braunschweig», да, там в самом начале прямоугольный прибор выпирает из груди фотографа сквозь кожу, и написано «благодарю от всего сердца», как-то так...

Но в поезде фотограф достал из-за пазухи не свой пламенный мотор, нет, а — очередную свою камеру-обскуру, просто она была какой-то необычной для него — я его перед этим видел только с большими и чёрными, а эта была такая маленькая, что показалось мне шпионской.

Особенно когда фотограф перешёл в коридор и высунул руку с этой штучкой в немного приоткрытое окно и снимал, не глядя туда, а продолжая разговаривать со мной.

Что он там снимает? — подумал я. За окном была ночь, мелькали только какие-то огоньки в степи, и больше ничего не было. Казалось, фотограф ловит эти в железную коробочку, как каких-нибудь светящихся мошек. Светляков. Я не думаю, что он потом пытался проявлять эти кадры, хотя кто его знает... Потом мы вернулись в купе и заговорили о колдунах, фотограф вспомнил, как в одной из поездов его соседом по купе оказался человек, говоривший о себе, что он официально признанный колдун и может, например, предсказывать будущее. Фотограф потребовал доказательств. Колдун должен был выходить на следующей станции. «Очень скоро вы испугаетесь», — сказал он и, попрощавшись, покинул поезд. Через некоторое время фотограф встал и зачем-то прошёл в коридор. Почти весь вагон был пуст, фотограф машинально зашёл в какое-то купе, все полки там тоже были пусты, но вдруг навстречу ему прямо из чёрного окна шагнул человек. Испуг быстро прошёл, фотограф понял, что это было его отражение, но предсказание, по его мнению, таким образом, всё-таки сбылось, и значит, это был колдун.

Я сказал, что «колдун» просто настроил фотографа соответствующим образом, так, что тот в буквальном смысле стал пугаться собственной тени. И таким образом, это

было вовсе не предсказание будущего, а программирование — ну так, по ходу дела и поезда...

Но фотограф категорически стал отрицать возможность того, что на него кто-то может влиять.

Гораздо легче ему было допустить возможность предсказания будущего.

Я не стал с ним спорить. Я вспомнил, что в качестве послесловия в альбоме «Case History» помещён диалог Кабакова с Тупицыным, и Кабаков рассказывает там, в частности, как фотограф, заметив каким-то образом, что у женщины, стоящей на платформе железнодорожной станции, под юбкой нет трусов, подождал и в момент, когда налетевший вдруг ветер задрал ей юбку, нажал на кнопку.

«Кто же наслал этот ветер? Фотограф? — спрашивает Кабаков и сам отвечает: — Нет, я не думаю, что фотограф является демиургом».

Я невольно вспомнил о мелькнувшем у Кабакова подозрении в Коктебеле, когда фотограф решил вдруг посадить на террасе Виту и Т. визави — чтобы они друг на друга смотрели, каждая облокотившись локтем на столик и подперев подбородок.

Он уже тысячу раз фотографировал этот столик, обрыв, бухту, Т. и, наверно, сотню тысяч раз — Виту... В чём смысл? — думал я. Сам фотограф тоже сел за столик и взял наизготовку свой фотоаппарат, о чём-то он думал, чего-то ждал, кажется, ему тоже чего-то не хватало... Фотоаппарат, может быть, называется «Горизонт», во всяком случае, объектив там ездит по кругу, на таких микрорельсах, то есть по дуге, и снимки при этом получаются как бы панорамными.

Кстати говоря, если быстро отойти от того места, где тебя застал щелчок такого аппарата, на три метра, на снимке ты получишься в двух экземплярах и в двух местах одновременно, почему-то вспомнилась такая деталь, да...

Когда фотограф поднёс к лицу фотоаппарат — в этот самый миг над столом появилась крупная чайка. Я не заметил, спланировала ли она сверху или вынырнула снизу, из обрыва, но теперь она, распластав в воздухе крылья, висела в воздухе строго посередине между Т. и Витой.

Расстояние от объектива до чайки было не больше метра. Да, она замерла в воздухе с распростёртыми крыльями, заглядывая в объектив...

Я видел потом этот снимок, он вошёл в серию.

Но объектив на ползунке так растянул пространство, что чайка получилась несравнимо дальше, чем была на самом деле.

Объектив отбросил её далеко в море и прищипил к горизонту, который он в свою очередь выгнул в дугу. Я не хочу сказать, что снимок не удался, да я в этом ничего и не понимаю... Ну, то есть мне-то как раз нравились фокусы такой расфокусировки, когда на снимках фотографа появлялись «эшеровские» балконы, пространство волновалось, как море, на раз-два-три, трамвайные рельсы переходили в провода, или сам трамвай, поглощавший толпу людей на остановке, становился резиновым в прямом смысле, как бы опровергая крики водителя, расширялся к середине, как удав, проглотивший кролика...

Просто в этом случае (чайка между двумя женскими профилями получилась такая маленькая, что её можно даже не заметить) снимок позволяет согласиться с Кабаковым (или Тупицыным, не помню, кто из них там это говорит): фотограф — не демиург.

Если бы это он в нужный момент вызвал чайку в центр композиции, он приготовился бы снимать её нормальной камерой с неподвижным объективом, и вот тогда бы чайка была сейчас прямо перед вами...

Я, правда, уже не знаю, кто вы, читатель или зритель... Оставайтесь с нами. Я пошёл пить кофе, не перечитывая написанное.

Да, меня эта сцена удивила (при том что я понимал, что чаек, как и ворон, наверное, привлекают блестящие предметы, поэтому она и заглянула в объектив, но, во-первых, в отличие от ворон, про чаек я этого не знал наверняка, с воронами-то у меня был определённый опыт: ворон Жора художника Бориса Зенина не раз уносил и прятал связку моих ключей, иногда часы, пока мы пили портвейн с его хозяином.

Во-вторых, чайка появилась и зависла настолько картинно... Прямо над столом, перед объективом, между двумя женскими головками, как-то на самом деле так странно... что казалось, фотограф знал о её прилёте заранее), и Вита, видя это удивление на моём лице, сказала, что у фотографов вообще-то так часто бывает, я просто раньше не наблюдал за фотографами.

За наблюдателями то есть... Ну да, ну да: на фоне Пушкина и птичка... И наоборот: замершая прямо в центре композиции чайка произвела на меня такое впечатление, что на этом фоне... Кажется, если бы в следующий момент из обрыва к нам на террасу шагнул маленький кучерявый человек, я бы не удивился.

Не менее странно возникали перед нами все, кто проходил по незаметной тропинке, которая как-то косо пролегала через эти холмы, сползавшие прямо к прибору.

Перед хужиной фотографа была маленькая площадка, где стоял столик, пластмассовые кресла, а дальше сразу начинался обрыв. Далеко внизу виден был узкий каменный пляж, и я бы никогда не решился пройти по этой тропинке, а если бы решился, полетел бы вниз, отважных прохожих было совсем не много (за всё время они появлялись не больше пяти-шести раз), поэтому, когда они в следующий раз возникали прямо перед нами, мы уже забывали, что здесь вот так кто-то может пройти, и внезапное их появление казалось таким же поразительным, как если бы из обрыва к нам вышел А. С. П.

Особенно в темноте, когда тёмные силуэты, на мгновение материализовавшись прямо перед нами, извинялись и быстро проходили через нашу площадку, тропа вела их куда-то дальше и выше — куда даже днём мы почему-то не умели заглянуть.

В один из таких вот внезапных проходов — как бы прямо сквозь нас — мне и подумалось, что среди них вполне мог быть... Тем более что Пушкин ведь на самом деле прошёл по этой тропинке, если он шёл от Феодосии до Кара-Дага пешком в 21-м или 22-м году...

Сначала он проделал этот путь пешком (или верхом на лошади), а потом уже проплыл ту же дистанцию морем на корабле, по пути в Одессу.

На одной из первых страниц черновиков «Онегина» нарисованы Золотые (или, как их тогда называли, «Бесовские») Ворота. После того, как герой моего крымского романа вспоминал об этом, ему начинало мерещиться, что они с другом оказались как раз в том месте, где Пушкину...

...юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые...

Ведь правда, что это случилось где-то здесь, между Кафой и Кара-Дагом, тогда почему бы методом последовательных приближений моему герою было и не попасть в эту точку...

Хотя гораздо вероятнее, что точка дальше, у самого Кара-Дага, ведь Пушкин всё-таки зарисовал Золотые Ворота, а не каменную вульву... Зачем же я всё это перенёс в сторону Орджоникидзе? Видимо, я полагал, что Золотые Ворота всё-таки не являлись исходной точкой. Если он зарисовал их уже на корабле... Может быть, вообще в Киншинёве, там он начал писать роман на бумаге... А первый, самый первый толчок, запуск пока что безбумажного

производства, должен был произойти во время пешей прогулки, и тогда очень даже может быть, что...

Только каменная вульва там была уже совершенно лишней, согласишься, то есть она, конечно, была симметрична Золотым Воротам относительно забора с колючей проволокой (с табличкой «СТОЙ!»), и дальше шли рассуждения о том, что Пушкина вколотили в коллективное бессознательное в 1937 году.

Но я-то зачем вкладывал в голову своего героя всю эту словесную лапту... Вот примерные обрывки его мыслей (героя): Золотые Ворота вместе со своим отражением в воде — это огромное «О». Цифра или буква? Фотография Пушкина? Портрет О-негина? Или графа Нулина? Или Золотые Ворота — это огромный куриный бог, куриный бог — это символ вульвы... Первые два предположения — одновременно и названия битовских рассказов, а последнее — лейтмотив моего ненаписанного романа, который я уже точно не хочу здесь воспроизводить, даже конспективно (см., если любопытно, словарь старославянской мифологии на страничке «куриный бог»).

Леонардо да Винчи в своём «Кодексе» на вопрос, является ли Земля живым существом, отвечал: «Да, Земля не что иное, как живое тело, её кости — горные хребты, её кровь — подземные воды, резервуар, окружающий её сердце, — это мировой океан...» etc.

Что дальше должно было происходить с моими героями, я не помню, ну что-то там заворачивалось... Не думаю, что они после всех приключений попадали в секту сорокинских землеёбов... Я не исключаю и возможности какой-то другой «резьбы по камню» — в романе как таковом (если я вообще когда-нибудь смогу вернуться из этой антикниги — в книгу), но здесь этот мотив уже совершенно ни к чему, тем более что я понял его бесперспективность («...но тут, тут конец перспективы...») ещё в пинакотеке, глядя на карточки... Я подумал тогда какую-то банальную глупость, ну что фотограф просто выпил

этот пейзаж, сейчас я вспоминаю, что этот синдром (когда кажется, что кто-то до тебя уже выпил или обесточил ландшафт) я опять-таки подхватил у Битова, в каком-то его рассказе герой едет на пастернаковскую дачу именно с таким ощущением... Я говорил это фотографу, когда мы бродили с ним и с Витой среди сосен на Салтовском острове... Но при чём тут фотограф... Раз уж я вспомнил эту прогулку — потом, когда мы шли сквозь редкий сосновый лесок, на одной полянке мы увидели пару... Большая, грузная, она лежала, согнув в коленях и расставив гигантские ноги, а маленький и, судя по всему, очень пьяный он в полосатой футболке с номером «19» сидел рядом, облокотившись на холм её живота. Какое-то на ней было розовое бельё... Фотограф поднял было камеру, но потом опустил... Хотя это явно были «его персонажи»... Я не знаю, почему, — в тот день, как и в любой другой, он сделал не меньше сотни снимков, мог попросту устать, была жара... Вита сказала: «Почему?» Фотограф махнул рукой и сказал, что как-то так проскочили, не вышло в этот раз, нельзя объять необъятное...

Когда мы уже прошли мимо, Вита придумала для несконченного снимка название: «Вратарь».

В одном из своих альбомов, кажется, в «Незаконченной диссертации» фотограф на полях воспроизводит притчу о фотографе, который перестал заряжать свой фотоаппарат, просто ходил и смотрел на всё сквозь глазок объектива, а потом ему уже и это не нужно было, он стал просто *смотреть*, без всякого фотоаппарата.

Можно ли это сравнить с моими прогулками с фотографом?

Когда мы бродили с ним по Салтовке, по тому микрорайону, где я прожил лет так тридцать, видел ли я всё это по-другому?

Да, как ни странно. Но об этом, может быть, как-нибудь отдельно, не здесь... Здесь я хотел сказать, что через несколько дней после того, как мы вернулись из Кокте-

беля в Харьков, фотограф перемешал колоду фотографий и разложил передо мной очередной пасьянс.

Он не раз раскладывал подобным образом карточки в Берлине, когда я бывал у него в гостях, и я знал, что за этим последует какой-нибудь вопрос на засыпку. Фотографии на этот раз были маленькие и цветные, ну, я обратил внимание, конечно, что на всех — мужчины, стоящие в воде, кто по колено, кто по пояс, а кто и по щиколотку... Некоторые с девушками, есть и с явными жёнами, с детьми, обычные пляжные фотографии то есть, пока что я только мог сказать, что на каждом снимке обязательно присутствует мужчина. Ну и море, дело происходит на юге. И чего?

«Выбери среди них героя нашего времени», — сказал мне фотограф. Ну я подумал-подумал и выбрал. «Вот» — сказал я и поднял одну фотографию. «Точно, — сказал фотограф, — ты попал, это он». Теперь осталось только вспомнить его лицо. Но это как раз и не получается. У меня не такая хорошая память на лица... Вместо того чтобы сосредоточить свою зрительную память, я вспоминаю, что в статье о моей первой книге в «Коммерсанте» были такие слова: «Он мог бы написать “Героя нашего силиконового времени”, но написал только главу “Тамань”».

Исходя из общего тона статьи (это была единственная отрицательная статья о моей первой книге, вся остальная критика — как минимум пятнадцать статей были положительными... Или нет, справедливости ради надо сказать, что ещё и у Л. Д. в «Афише» как раз по поводу первой книги, в отличие от рецензии на «Серпантин», мнение тогда было скорее прохладным... Но вот именно «Vergiss», как говорят немцы, — по-русски, наверно, «разгром», был один, и порвала меня только Л. Н.), можно было сделать вывод, что «Тамань» в «Герое нашего времени» — глава не самая удачная или, скажем, несущественная.

Можно было, конечно, и утешать себя тем, что Чехов сказал Бунину: «Эх, написать бы такую вещь, как “Тамань”, вот тогда можно и умереть спокойно...»

Но это было слабое утешение, статья Л. Н. содержала гораздо более странные вещи, но это же не затемняло её враждебной сути...

Какие странные вещи? Ну вот, например: «Чем наш московский смог хуже мюнхенского фёна?» — спрашивала читателя газеты моя критикесса... Без контекста это звучало настолько странно, что я и сам не сразу вспомнил, в чём там дело: у меня в рассказе... у героя болит голова, и он объясняет это фёном, а Л. Н. имеет в виду, что голова не хуже болит и от смога... Но звучит странно, потому что фён как раз сопровождается повышенной прозрачностью воздуха, смог же наоборот... Но ты, кажется, пускаешься в совсем уже сомнительное предприятие — «критика критики», такое позволено только «ясному солнышку нашей литературы», которое И. К., автор самой первой статьи о моей первой книге (Л. Печёный написал о книге до её выхода, да и не о книге вовсе, скорее «социокультурно» так, то есть об авторе... как отчасти и Л. Н., впрочем: «Если там так плохо, в Мюнхене, отчего не прилететь назад, самолёты же летают?») как-то красиво определила, И. К., да: «Пелевин — это наше Ничто», и вот, кстати, тебе урок в этом смысле (руки прочь от критиков, критик — это священная корова): на днях горячий воздух пришёл из Сахары не сам по себе (в народной мифологии фён объясняют именно так: «горячий ветер из Сахары»), на этот раз он принёс с собой песок.

Что с того, что это было уникальное природное явление, чуть ли не впервые в истории, во всяком случае, старожилы такого не помнят... Но оно же было, и фён в тот день, стало быть, сравнился со смогом не только в смысле влияния на твою голову, но и в смысле прозрачности воздуха вокруг... Я проснулся и увидел жёлтое небо у себя за окном, а фикус на подоконнике превратился в далёкую пальму... И всё вокруг стало похоже на старую пожелтевшую фотографию... Я закрыл глаза, накануне было много выпито... Снова открыл глаза и подумал, что у ме-

ня галлюцинации, решил вообще больше сегодня не открывать глаза, тем более голова болела так... что я пролежал ещё несколько часов с закрытыми глазами, а когда открыл их, небо уже было просто тёмным.

Через день я узнал из газет, что небо было жёлтым на самом деле, что это был песок из Сахары... Мои знакомые ездили в этот день кататься на лыжах и видели в Альпах вместо белых вершин — жёлтые. То есть в тот день фён был действительно ничем не хуже, чем смог... Неработающие часы два раза в день показывают правильное время... «Над головою смог, над головою мгла, ты не смог, и я не смогла...» — была такая песенка... Да, но какого чёрта я вспомнил именно статью Л. Н., я что, таки да мазохист?

Т. пыталась однажды мне это внушить, кстати, убедить меня в этом, мы с ней сидели в маленькой пиццерии, что возле театра им. Пушкина, и она гипнотически повторяла: «Ты мазохист. Ну ты же сам знаешь, что ты мазохист...», а я мотал головой, но постепенно уступал — перед силой её убеждения... И тут в пиццерию вошёл мой старый приятель, психолог по специальности, кандидат наук... Я рассказал ему о нашем с Т. споре, он внимательно посмотрел на меня, на неё и сказал: «Нет. Ты не мазохист». «Ну вот!» — воскликнул я, и это был редкий случай, когда я победил в споре с Т.

Именно по этой причине я сейчас упомянул о преимущественно положительных рецензиях на первую книгу — чтобы доказать себе, что я не мазохист, а вовсе не потому, что я всерьёз думаю, что я хороший и даже кого-то лучше... Чушь собачья, я то есть и рад бы сказать, как сказал о себе Кристиан Крахт... Появившись в трёхчастной передаче телеканала ARTE, которая так и называлась «Критики», Крахт сказал следующее: «Есть писатели, которые пишут для публики (по-русски: для читателей), есть писатели, которые пишут для денег, есть писатели, которые пишут для вечности, ещё для чего-то... А я пишу для критиков!»

Я подумал тогда, что вот и я точно так же, ведь кроме статей... Которые и стали пиком моей «литературной карьеры»... Но здесь, в «Параллельной акции», я ведь сам захлопнул двери и перед критиками, сам подсказал им ответ, как там у сатирика — «он сам подсказывает им ответ, он говорит: — Апельсинов нет? Они ему говорят: — Нет!»

Для кого я пишу? Да вот для читателя, зови его хоть мета-, хоть гипо-... тетическим, для него, вот так патетически... ни с того ни с сего... А критиков вспомнил потому, что я не мазохист, и раз уж я вспомнил и привёл здесь выдержки из разгрома, то решил для баланса, что ли... Да, но зачем я их вообще привёл, эти слова Л. Н.? Может быть, Т. всё-таки права — я вечно оправдывающийся мазохист? Ведь и вся эта «Параллельная акция» началась как раз с мазохистского сравнения себя с Каминером, а потом уже чуть не перешла в автопиар и окончательный ма-разм — метанарциссизм, который ты, кажется, пытаешься подставить вместо метанаррации...

Нет, нет, я вспомнил: всё дело вот в чём: чудовищное словосочетание, которое написала там Л. Н.: «герой нашего силиконового времени»... Впоследствии я смог вернуться из «Параллельной акции» к собственно роману («Серпантин», ОГИ, 2008) благодаря тому, что вспомнил, во-первых, слова Л. Н. — и теперь они прозвучали для меня как... наказ и чуть ли даже не социальный заказ: написать «героя нашего силиконового времени» (ну, как бы предтечу «нашего силиконового пространства» или «длины», Осколкова...), а во-вторых, я вспомнил, как фотограф предложил мне выбрать героя нашего времени из разложенных карточек, и вот всё это вместе в своё время позволило мне вернуться из прото- или мета-... в просто роман — «Серпантин», ну да.

Кроме того, я рассказал (через посредницу) об этом (о «пасьянсе», разложенном передо мной фотографом) Кристиану Крахту, когда он взял в свой журнал главу... Нет, не

из «Серпантина», а как раз из вот этого самого метаромана, «Параллельная акция» — глава «Ангельский концерт», в журнале «Der Freund», её, правда, назвали «рассказом», но это уже мелочь по сравнению с тамошними сведениями об авторе: «Писатель и программист Александр Мильштейн родился в Украине в 1963 году. Идея публикуемого здесь впервые на немецком «Ангельского концерта» родилась у него, когда он играл в карты с Борисом Михайловым, и тот спросил его, не хочет ли он стать героем его романа “Параллельная акция”».

Я не знаю, был ли это «испорченный телефон» или вполне осознанный редакторский юмор К. К. (о наличии которого я узнал ещё раньше — когда читал сборник «Месопотопамя», который он составил, то есть написанные им сведения об авторах), но в итоге получилось, что... я не я, и песня не моя.

В общем, я теперь объяснил, сколь судьбоносным для меня был тот «пасьянс»... Вот только... Я не могу вспомнить его лицо! Я имею в виду своего героя, конечно, то есть Героя Нашего Силиконового Времени... *(Фотограф ведь эти карточки не использовал, это был его рабочий материал, собственно серию составили большие чёрно-белые или, точнее, красноватые (будто в Коктебель в те дни тоже донёсся песок из Сахары) снимки, кажется, это называется «сепия», а может, и нет, я могу ещё много чего наговорить... «Я захожу в фотографию, как в первобытный мир!» — говорил Бодрийяр, лже-скромничая, конечно, а я-то ведь на самом деле именно так туда и попал — в качестве объекта... И теперь зачем-то пытаюсь вывернуть это наизнанку, может показаться, что я тащу одеяло на себя... Да нет, куда мне... Можно ли понять телеологию фотографии, если не знаешь, что такое телеобъектив...)*

На самом деле предыдущий абзац (курсив) надо бы вычеркнуть, я написал его до всей этой истории с журналом, который Крахт издавал с Э. Никелем, сидя в Катманду, а после приведённых в журнале «сведений об авторе» это выглядит явно лишним (ну ладно тебе извинять-

ся за качество текста — всё равно непростительное, но за свою фотоневежественность-то зачем? Как будто от того, что с лёгкой руки Крахта фотограф сделался автором «Параллельной акции», ты сделался фотографом!), но в том-то и дело, что это было до того, как глава попала в журнал.

А те маленькие цветные снимки фотограф вряд ли вообще сохранил (мне он отдал только те, где есть я и Т.), и где же теперь, спрашивается, мой герой? Только-только я его нашёл, и вот уже он снова пропал...

А может быть, фотографа сделать героем? Раз уж я как-то так — слово за слово — столько о нём тут писал... Может быть, он и так уже стал героем, а я просто не заметил... Какие теперь сомнения? Я открываю альбом фотографа, он лежит сейчас возле ноутбука на журнальном столике, я его туда на всякий случай положил, когда сел это писать... Я открываю его наугад, вижу фотографию из знакомого тебе цикла «Я — это не я»: голый фотограф сидит на корточках, подперев голову рукой, как комический роденовский мыслитель, снизу свисает фаллоимитатор, как такая длинная какашка... а рядом с фотографией я вижу такой текст: «The photographer, — he explains, — is not a hero».

То есть фотограф тоже не герой.

Что же мне делать?

БОЙСОВСКИЙ КЛУБ

Ещё несколько слов прямо здесь, наверняка ведь не все читают комментарии, и я вообще-то уже давно ругаю себя за них... То есть за комментарии, этот нижний регистр текста, который тормозит, конечно, я понимаю, что это нечестно, мол, «жмите на педали»... А иногда и за читателей — ругаю, то есть вместо тех, кто читает комментарии, и тех, кто их пропускает... В то же время выпускать тут эту главу полностью на самотёк я не могу, слишком много воды утекло с тех

пор, и дело, конечно же, не только в расширении образа Бойса... Я вспомнил, что в журнал «НАШ» тогда, в своё время, эту главу не взяли для следующей, кажется, четвёртой по счёту, «гонзо-панорамы» — арт-директор журнала сказал мне: «Ты знаешь, столько уже о Бойсе было у нас... ну, объелись», — а потом я выкинул её и из романа, в который начала превращаться как бы сошедшая с ума — сделавшаяся вдруг параллельной всему на свете — «колонка», вот именно, чтобы усилить «романную» эссенцию, то есть чтобы не прерывать только-только забрезживший, какой-никакой нарратив, не засорять его ручеёк... А через какое-то время, уже дописав «Параллельную акцию» в первом приближении, я вспомнил о потерянной по дороге главе и, наоборот, придав ей ещё более публицистичный вид, предложил в другой журнал. Но там сказали: «Ты знаешь, в России никто не знает Бойса, и текст о нём вряд ли будут читать...» В общем, глава немного заблудилась и в пространстве, и во времени, и я уже думал, что упало, то пропало, но потом она вышла всё-таки, причём два раза, один — под другим названием в «деловой газете», с сокращениями (ушло всё, что не касалось Бойса непосредственно), а потом и целиком и под своим названием в журнале, который с тех пор почил, к сожалению, но интернет, пока есть электричество, всё сохраняет. Но зачем, спрашивается, я снова вставляю её (пытаюсь, по крайней мере, это сделать, ещё не зная, не отторгнет ли её текст) в роман? Может быть, я решил, что эта проза теперь, как та бумага, всё стерпит... Да нет, я как раз перед этим, производя апдейт, или капремонт, если угодно, в 2011 году, выкинул довольно много абзацев и даже несколько глав целиком...

Наверно, всё дело в том, что недавно я у кого-то — я не могу вспомнить, у кого именно, где-то в блогосфере, прочёл, что человек — единственное животное, которое способно рисовать прямые линии. И я подумал, что если это правда, то все эти ослы-слоны-обезьяны, картины которых продаются за пятизначные суммы, ничего не доказывают на самом деле, потому что прямые линии они ведь не проводят, только зигзаги, хвостами-хоботами, да хотя бы и лапами, каля-маля... но

только — не прямые линии. И вот почему-то эта мысль вернула меня к главе «Бойсовский клуб»: перед глазами снова проплыла та самая выставка, я заново увидел перед собой зигзаги Бойса и чертежи Леонардо... я задумался о прямых линиях, о параллельных прямых, и невольно вспомнил о своей «Акции», и вот перетащил-таки сюда из утонувших с тех пор «Зарубежных записок» выпавшую когда-то главу.

Легенду о Йозефе Бойсе можно было бы разбить на три основные части. В первой говорится о падении немецкого самолёта в крымскую степь... Хотя мне приходилось слышать, что на самом деле никакого падения не было (а потом и читать, например, вот эту статью в рунете: <http://coll.spb.ru/public/49.php> — сомнение в том, что Бойс был сбит, высказано там, в разделе с подзаголовком «Как поэт в России больше, чем поэт...»), как раз эта часть легенды мне кажется наиболее правдоподобной — мало ли кого сбивали в сорок третьем... Несколько недель без сознания, одеяла, жир... Почему бы и нет? В конце концов, он потом непрерывно воспроизводил их в своих работах. Можно ли это считать строгим доказательством, я не знаю, но что вообще можно считать доказательством, когда речь идёт о мифе? Разве что какие-нибудь юные следопыты отыщут место, где упал самолёт Бойса, найдут потомков тех татар, которые его выходили, смазав салом и завернув в войлочные одеяла (несколько лет спустя возвращаясь к этому тексту, я без труда нахожу в интернете, что, как и следовало ожидать, кто-то в самом деле предпринял такую попытку... более того, существует, оказывается, на Украине уже целое объединение под названием «Дети Бойса»).

В предисловии к одному из альбомов Бойса читаем: «Он внушил крымским татарам большую симпатию, они ему говорили: “Ду бист никс немец, ду бист татар!”» В другом источнике говорится, что Бойса выходили шаманы и — нашептали ему на ухо что-то такое... что началась вторая часть легенды: «...и видел я, как становится взлётом паденье».

И вот эта вторая часть — о взлёте Йозефа Бойса — мне почему-то всегда казалась менее правдоподобной. Хотя вроде бы как раз она-то и является доказуемой... Она, как известно, гласит, что по возвращении в фатерлянд Бойс стал заглавным художником XX века. Собираясь посмотреть одно из её доказательств — выставку, открывшуюся в мюнхенском Доме искусства (полностью она называлась так: «Леонардо да Винчи: Йозеф Бойс — Codex Leicester в зеркале современности»), я спросил у художника Алёши Климова — а как вот он к этому относится? «Независимо от того, что ты думаешь о Бойсе, не ругай его никогда при немцах, — сказал А. К., — кого угодно можно ругать, кроме Гёте и Бойса. Поверь моему личному опыту...»

Так получилось, что я пошёл на выставку с этнической немкой К. и с русским писателем Борисом Хазановым, которого, в свою очередь, тоже вполне можно было бы назвать немцем. Не только потому что у него немецкий паспорт, а в Германии немцем считается каждый, кто имеет гражданство. Дело не в этом, просто Б. Х. полув шутку, полувсерьёз говорил мне, что русских писателей, по крайней мере, в прошлом, можно было поделить на «французов», «англичан» и «немцев». И если в этом есть доля правды, то его самого безусловно можно было бы отнести к последним, хотя понятно, что всё это очень условно, и, скажем, духовные связи Б. Х. с Францией и французской литературой не меньше, чем с немецкой. Я помню, что я после просмотра выставки процитировал Лёшино высказывание: Бойса, как и Гёте, нельзя ругать при немцах... К. улыбнулась и сказала, что Бойс для неё не художник, а просто очень хороший человек. Что он был светлым и славным... «Помните, каким он парнем был» — что-то похожее, только на немецком, сорвалось с её уст, после чего К. убежала по своим срочным журналистским делам, а мы с Б. Х. пошли гулять в Английский сад. Мы уже довольно далеко ушли от Дома ис-

кусства, когда Б. Х. спросил меня: «А что, разве может кому-нибудь прийти в голову ругать Гёте?» — «Может», — с ходу ответил я, будучи попросту убеждён, что в этом мире ругают всех и вся. Б. Х. мне не верил. «Гёте, Шмёте...» — мелькнуло у меня тогда в голове... Я вспомнил, что это бормотал Бродский, в каком-то телевизионном фильме, снятом в Венеции...

«Я есть антифашист и антифауст», — вспомнил я и сказал, что автор этих строк — Иосиф Бродский. «Унд гроссер дихтер Гёте дал описку...» Б. Х. сразу сказал что-то не слишком лестное о Бродском, которого он тем не менее считал великим поэтом (достаточно вспомнить текст Б. Х., который называется «С точки зрения ворон»). Они были знакомы, я видел у Б. Х. книгу Бродского, где дарственная надпись кончается словами «с преклонением». Но приведённая строчка привела Б. Х. не то чтобы в негодование... Он для начала пожелал узнать, из какого же это такого стихотворения, я, покопавшись немного в памяти, произнёс: «Два часа в резервуаре». Приехав домой, Б. Х. нашёл в четырёхтомнике Бродского эти стихи, а ещё через день прислал мне *via email* статью, которая впоследствии стала главой в книге «Допрос с пристрастием» (ЗАХАРОВ, Москва, 2001), где она носит название «“Усыновлённость” другим языком».

Мысль Б. Х. об английском «лингвистическом шовинизме» Бродского кажется правдоподобной, хотя тут тоже всё не так очевидно... То, что Б. Х. принимает за «глумление», «издевательство», конечно же, просто беззлобный стёб. Впрочем, если перечитать текст Б. Х., видно, что он и это не исключает... Но тогда он распространяет этот нуль на всё смысловое поле стихотворения, то есть утверждает, что в стихотворении нет вообще никакого смысла. И что сам Бродский не смог бы объяснить, что всё это значит и кто имеется в виду: Фауст, Гёте, Мефистофель, все они вместе или же сам автор (Б. Х. более склоняется к этой версии), решивший поиграть в игру

«wenn ich ein Deutscher wäre». («Если бы я был немцем» (*нем.*) — так называется совместный альбом фотографов Михайлова, Браткова и Солонского, который в своё время возмутил и немцев, и русских, и евреев. Название альбома — сознательный, надо полагать, парафраз строчки Гёте «Wenn ich ein Vögelein wäre» — «Если б я был птичкой».)

Б. Х. явно колеблется между «нулевым значением» и, *meiner Meinung nach* (по моему мнению (*нем.*)), тоже близким к нулю «издевательством над немецким языком» примерно таким же способом, как это делает Демьян Бедный в поэме о бароне Врангеле... Мне кажется, что Бродский ответил бы на это словами Есенина, то есть сказал бы, что он «не чета каким-то там Демьянам». Кроме того, это просто общее место, любой русский любит переходить на такой волапюк, передразнивая то немца, то еврея, то грузина...

С другой стороны, арифметическая метафора — ноль в конце сложных преобразований — мне почему-то напомнила (возможно, и не к месту) о том, что Пушкин в лицее, согласно легенде, решая любую задачу, всегда получал в ответе ноль... «Трудно сказать, о чём это стихотворение, длинное и витиеватое, как бывает часто у Бродского. Разгадывание похоже на решение запутанного арифметического примера: вы складываете, вычитаете, раскрываете фигурные скобки, делите, умножаете, в итоге получаете ноль.

Стихи написаны 25-летним, зрелым, если судить по другим стихам, **поэтом...**» — недоумевает Б. Х.

Действительно, определённая бухгалтерия в стихотворении присутствует, и я не могу сказать, что её дебет и кредит всегда вызывает эстетическое наслаждение: «... поэмой больше, человеком Ницше» и всё такое... Но я не согласен, что стихотворение в целом говорит ни о чём. Оно ведь является не чем иным, как религиозной проповедью.

Есть истинно духовные задачи.
А мистика есть признак неудачи
в попытке с ними справиться. Иначе
их бин не стоит это толковать...

...Он знал, куда уходят звёзд дороги.
Но доктор Фауст ниц не знал о Боге.

...Неверье — слепота. А чаще — свинство.

И независимо от того, какое значение вкладывает во все эти слова читатель (скажем, в лингвистической философии они действительно обладают нулевым смыслом), строфы несут тем не менее ненулевую информацию. Ну хотя бы потому, что нечто сообщают о своём авторе, ведь, кажется, трудно найти у Бродского другое место, где он высказывался бы так прямо на этот счёт...

Но зачем я сейчас это вспомнил? Какое отношение имеет доктор Фауст к доктору Бойсу (к фамилии Бойса нередко прибавляли слово «доктор», имея в виду — «окультурных наук»)? Секундочку, говорю я себе, не спешу ничего стирать, потому что сразу же, как бы вдогонку, приходит мысль, что к Фаусту Бойс имеет ровно такое же отношение, как к Леонардо да Винчи. А так как я побывал на выставке «Леонардо: Бойс», то какая-то связь должна же всё-таки быть?

«— Совершенно верно, — тотчас сказал Вальтер. — Нет больше универсального образования в гётевском смысле. Но поэтому на каждую мысль найдётся сегодня противоположная мысль и на каждую тенденцию сразу же и обратная. Любое действие и противодействие находят сегодня в интеллекте хитроумнейшие причины, которыми их можно и оправдать, и осудить. Не понимаю, как ты можешь брать это под защиту!

Ульрих пожал плечами.

— Надо совсем устраниваться, — тихо сказал Вальтер.

— Сойдёт и так, — отвечал его друг».

Это была цитата из «Человека без свойств» Роберта Музиля.

В пристройке к Haus der Kunst (Дому искусства), возведённой специально для выставки, стоят стеклянные стеллажи, в каждом помещена страница Codex Leicester, подсветка включается только когда подходишь к стеклу вплотную.

Чтобы страницы не уставали от света... Когда подходишь, стеллаж вспыхивает, и ты видишь зеркальный почерк Леонардо, его рисунки... Почему он писал зеркальным почерком? К. мне это объясняла тогда, надо будет её ещё раз спросить... Наверно, в целях криптографических... В данный момент мне больше нравятся мои собственные гипотезы, которые вполне банальны, но так, имея их в уме, имеешь там какой-то приятный мерцающий фон...

Нуль в уме — вот всё, что мы имеем, плюс морально устаревшая версия Windows, манускрипт Codex Leicester, кстати говоря, является собственностью Билла Гейтса, он сам приезжал в Мюнхен на открытие выставки.

В рукописи, которую нашли сравнительно недавно (в шестидесятых годах прошлого века) в Мадриде, Леонардо задаётся вопросами и — даёт на них ответы, в которых закладываются основы механики жидкости и газа, а также делаются догадки — зачастую верные — о природных явлениях на Земле и на Луне. Но самое завораживающее в «Кодексе» — это рисунки потоков, вихрей, встречных течений, всё это очень похоже на чертежи в учебнике векторного анализа. Только в учебнике чертежи сделаны на основании знаний, полученных через несколько веков после того, как Леонардо сделал свои рисунки... Сейчас мне кажется, что сами стеллажи со страницами рукописи были в левом крыле здания, а в упомянутой пристройке была мультимедийная часть экспозиции, где фирма «Микрософт» уж не ударила в грязь лицом... Но

мы не стали там задерживаться, а перешли в правое крыло, где, стало быть, симметрично «Кодексу Леонардо» разместились вторая половина выставки — «Мадридский кодекс Йозефа Бойса» — то самое «зеркало современности», в котором «отразился Леонардо да Винчи»...

Пока мы не заблудились в этой системе зеркал, нужно или, во всяком случае, можно вспомнить, где мы находимся. Дом искусства — Haus der Kunst — был одним из самых важных зданий Третьего рейха, только тогда он назывался «Домом немецкого искусства». А для фюрера едва ли не самым важным — фюрер ведь был художник, и Haus der Deutschen Kunst был реализацией самых заветных его желаний. Он сам заложил первый камень. При этом случился небольшой казус, который некоторые истолковали как дурной знак. Молоток, которым Гитлер ударил по камню, разломился на две части... Секунду он смотрел на свою руку в замешательстве... Кто знает, что было в этот момент в душе у невольного каменщика... Так или иначе, здание было воздвигнуто, и там помимо выставок «нового немецкого искусства» прошли такие знаковые для наци мероприятия, как «Выставка дегенеративного искусства» (Entarte Kunst), бесплатная, между прочим, где желающие могли увидеть всё уродство картин Пауля Клее, Пикассо, Эрнста, Явленского, Франца Марка, в общем, посмеяться вдоволь. Удерживая всё это в памяти, может быть, не стоило бы здесь гнать волну... Но тут ведь был особый случай, дело ведь было не только в графике, у одного фигуративной, у другого абстрактной... У Леонардо это ведь были не просто рисунки... А моей специализацией в университете была механика жидкости и газа, и рисунки течений, естественно, вызывали во мне ещё и ностальгию по науке, которой я изменил даже непонятно с кем... Так что неудивительны те странные чувства, которые теснились у меня в груди, когда я после одного «Кодекса» стал смотреть на другой: на вырванные из школьной тетради вечного второгодника, и к

тому же неряхи (на многих страницах были масляные пятна, может быть, всё того же жира, которым его растирали в Крыму), листки, на которых были хаотические ломаные карандашные зигзаги, больше всего напоминавшие игру в «а ну-ка дорисуй». Вряд ли Леонардо мог предположить, что через пятьсот лет человеческое существо будет играть с его чертежами в такие игры... Некоторые зигзаги действительно чем-то напоминали очертания только что увиденных схем Леонардо... Но эта параллель если и была... То как бы это помягче сказать... Как говорил полковник Фомин на военной кафедре: «Связь между этими явлениями такая же, как между северным сиянием и загаром яиц барана, пасущегося в Крымских горах». Ну да, солдатский юмор, это всё, что приходит тут в голову... Может быть, потому, что это место такое — кажется, что слышно, как стучат сапоги... После войны «Дом немецкого искусства» хотели взорвать, считая, очевидно, что он был построен из некоего абсолютного зла, негодного для переплавки. Но потом передумали, в Доме на какое-то время открылось казино для американских офицеров, а потом он снова стал Домом искусства, только из его названия убрали одно слово: «немецкого».

И теперь здесь висят рисунки то ли упавшего к татарам, то ли провалившегося в тартарары лётчика люфтваффе, который вернулся в Германию с благими вестями: «Каждый человек является художником!», «Мы все свободны!» — и всё в таком духе... Ей-богу, надо бы радоваться, что *ausgerechnet in diesem Haus* (как раз в *этом* доме) висят именно такие рисунки... И я радуюсь, как же я могу не радоваться... Но только... Тихим шёпотом: ну при чём тут Леонардо да Винчи?

Я даже было подумал: может, дело в том, что Леонардо нарисовал воздухоплавательный аппарат за четыреста лет до его появления... А Бойс потом летал на этом самом аппарате... И, совершив не очень мягкую посадку, нарисовал то, что было за четыреста тысяч лет... Вспомнил,

как «...целовались залиvistым лаем погони и ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей»?

Я смотрел на листок, где среди зигзагов, оставленных карандашом Бойса, можно было различить силуэт оленя... Бойс считал, что его карандашные рисунки являются самой важной и, что ли, смыслообразующей частью его творчества, потому что из них выросло потом и всё остальное — скульптуры, или просто — трёхмерные объекты, которые он делал в том числе из костей животных, копыт и когтей... Я видел их в разных музеях, не знаю, насколько они прекрасны... То, что они были только началом ужасного, тоже ведь ничего не доказывает...

Началом ужасного вот в каком смысле: на смену Бойсу не так давно пришла отвратительная карикатура. Как в дурном сне или в скверном анекдоте, по городам Германии ездит теперь человек, подчёркивающий своё внешнее сходство с Бойсом с помощью чёрной шляпы, которую он точно так же никогда не снимает с головы, и делает скульптурные группы из трупов людей. Трупы играют в шахматы, делают гимнастические упражнения... Это — пластолог Гюнтер ван Хаген, выставка называется «Миры тела». Городской совет Мюнхена не раз запрещал въезд в город этой выставке, но потом вопрос поднимался снова и снова, К. до последнего момента не верила, что их сюда пустят: «В этом городе их не будет, это уже точно», — говорила она. Но в конце концов их пропустили, ван Хаген выступил по местному телевидению... Вот тогда я и увидел, насколько прочно он пристроился к тени Бойса. Сначала, я думаю, он стал в затылок, а потом — шаг в сторону, шаг вперёд, шаг в сторону — и он перешёл на передний план... И теперь когда пытаешься вызвать в памяти лицо Бойса, вместо него видишь Гюнтера ван Хагена — срабатывает каждый раз, совершенно чётко, и не только у меня одного...

Среди обвинений ван Хагену было и то, что большая часть этих трупов выставлена без всякого согласия их...

владельцев? Родственников? Что среди них — трупы людей, которых казнили в Китае. Вроде бы дело против него приостановлено, но то, что ван Хаген использует тень Бойса, не имея на это согласия её обладателя, с моей точки зрения, само по себе внушает подозрение... Что точно так же он может поступить и с чьим-то телом...

На него то врозь, то попеременно обрушивались священники всех церквей, потом ещё было коллективное письмо профессоров-патологоанатомов Гейдельбергского университета, в котором они отлучили пластолога от науки.

В открытом письме, опубликованном в *Süddeutsche Zeitung*, профессора писали, что цели выставки, которые называет ван Хаген, фальшивые, что на самом деле всё это не имеет ничего общего с просветительской деятельностью. Призывы ван Хагена приходить на выставку всей семьёй, брать туда маленьких детей только ещё больше разогрели гнев профессоров, примерно указавших в письме, как на самом деле выглядит просветительство в этой области. Кстати, для меня примером такого — настоящего, а не спекулянтского введения в миры тела была книга Бориса Хазанова. Впервые я прочёл её в семь лет, и я не знал тогда, что это книга Б. Х. Он написал её под псевдонимом «Шингарёв». Это была история медицины для маленьких детей, с картинками. Называлась книга «Необыкновенный консилиум», и при всём моём увлечении впоследствии другими книгами Б. Х. эта оказала на меня самое большое *воздействие*. «Как можно не сойти с ума при мысли, что у нас есть *череп*», — написал Чоран, по-моему, уже в старости, мне же в точности эта мысль отравляла жизнь в раннем детстве, с тех пор, как я впервые увидел рисунки скелетов. «Необыкновенный консилиум» помирил меня с человеческим телом, я хорошо помню, как я читал эту книгу в поезде, как я боялся её открывать (на обложке были изображены человеческие органы) и как неожиданно у меня начало улучшать-

ся настроение, страхи почему-то рассеялись... И можно представить себе моё удивление, когда через тридцать лет я попал в квартиру Б. Х. и увидел у него на книжной полке «Необыкновенный консилиум» Шингарёва. А потом узнал, что Шингарёв этот и есть Борис Хазанов... Возвращаясь к «летучему голландцу» (не хочу даже думать, что было бы со мной, если бы в семь лет меня познакомил с анатомией не Б. Х., а ван Хаген), надо сказать, что пока что ничто не остановило эту шхуну, выставки продолжают, на всех остановках в городе светящаяся реклама — обложка «Шлюсселя», где он позирует на фоне разделанных трупов. В *Süddeutsche Zeitung* очередная статья, на сей раз о том, что *Dr. Tod* («доктор Смерть») хотел составить контракт с самым большим человеком на Земле. Самый большой человек на Земле (в данный момент его рост 2,5 метра) живёт в Санкт-Петербурге и продолжает расти. Это гормональная болезнь, неизлечимая, но с ней можно какое-то время бороться с помощью очень дорогих медикаментов. Ван Хаген брался платить человеку что-то вроде пожизненной ренты с условием, что тот подпишет контракт, по которому тело его после смерти станет собственностью ван Хагена. Человек не подписал контракт, несмотря на все заигрывания — пластолог летал в Питер, несколько раз увеличивал обещанные суммы. Самый большой человек попросту боялся, что, подписав контракт, умрёт при помощи этих медикаментов ещё раньше, потому как что для русского смерть, то для немца... Перфоманс?

Третья часть легенды о Йозефе Бойсе гласит, что он на самом деле не умер. Что он незаметно живёт среди нас, и его, как и Элвиса, можно случайно встретить на улице.

Два послесловия:

1. Через несколько лет после выставки «Леонардо: Бойс» в знаменитом музее Франкфурта «Shirn» происходит выставка «Роден: Бойс». Собственно, это и даёт мне повод достать из ящика текст «Бойсовский клуб»... В ка-

честве посредника между Роденом и Бойсом куратор Памела Рот называет Рильке — именно его монография о Родене, содержавшая множество иллюстраций, подвела Бойса к мысли о том, чтобы начать «вневременной диалог» с Роденом, результатом которого стал цикл рисунков, сделанных в период с 1947 по 1967 годы. Параллели между ними и поздними акварелями Родена (в своё время — в 1906 году — вызвавшими целую серию скандалов из-за своей «непристойности») давно уже являются для искусствоведов общим местом, но на выставке во Франкфурте работы двух художников впервые собраны вместе, и это, по мнению организаторов, должно было помочь увидеть «диалог» по-новому.

Но вот, к примеру, цитата из статьи во *Frankfurter Allgemeine Zeitung*: «Даже показанные таким образом, параллели между работами Родена и Бойса только с очень большой натяжкой могут служить подтверждением тезиса о том, что новаторства Родена — фрагментарные тела, торс как автономная форма искусства, динамически подвижные поверхности скульптуры получили в бойсовской “новой концепции пластического движения в пространстве и времени” некое дальнейшее развитие. Эти утверждения кажутся бездоказательными и выглядят скорее как интересный пример искусственности интерпретаций», — пишет Констанц Крювелл, а дальше делает жест примирения, который — точно так же, как и приведённые ею перед этим сомнения (может быть, и не столь сильные, как мои... но гораздо более *глубокие*) — имеет прямое отношение к моему воспоминанию о той, другой выставке Бойса: «Как бы то ни было, выставка безусловно впечатляющая. Хотя бы потому, что организаторам удалось собрать такое небывалое количество уникальных экспонатов».

2. Вот, а ещё через несколько лет была какая-то другая, не столь значительная выставка, какая-то странная сборная, двадцать, что ли, молодых немецких художников

и вместе с ними классики, в числе которых был и Йозеф Бойс. И я беседовал в баре «Holy Home» с одним из участников до того, как выставка открылась, и постепенно понял, что этот молодой парень (вовсе не самоучка, кстати, чему-то он там учился в Академии искусств), звавший меня на вернисаж, на самом деле уверен, что Бойс — это такой молодой художник, живущий в Дюссельдорфе: «Он тоже должен быть на открытии. Да-да, я слышал, что Бойс тоже приедет».

АНГЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ

Кажется, первый импульс к написанию этой главы у меня появился во время разглядывания каталога художника Р., который приехал откуда-то с севера Германии к моим друзьям, мы встретились у них за столом, выпили, я стал листать каталог, лежавший на тумбочке, и вдруг увидел на одной из репродукций знакомого мне полуголого мужчину с бритой головой, в чёрной и явно не летней шляпе.

Лица его не было видно, потому что он обернулся и на что-то смотрел у себя за плечом, но не узнать его было бы тем не менее невозможно. Я сказал Р.: «Это человек с фотографии Бориса Михайлова?» — «Да, — кивнул Р., — оттуда». Человек в шляпе на фотографии сидел на парапете, подстелив газетку. Потому что он был в костюмных брюках, возможно, единственных. Туфли он сбросил с ног, они стояли рядом, а на картине их вообще уже не было, они там были не нужны, потому что теперь у этого человека из-за спины торчали белые крылья!

Накануне у меня в квартире были гости, и, увидев фотографию, сделанную фотографом, где мы с Т. лежим на пляже и к нам подходит или подлетает — скорее даже так это можно увидеть — маленькое белокурое создание, я на вопрос, наш ли это ребёнок, в шутку сказал, что это во-

обще не ребёнок, что его не было в реальности, но, когда фотограф проявил фотографию... Шутку инспирировало ещё и воспоминание о том, как я перевозил точно такое же существо, переплывал то есть с ним из Разбойничьей бухты на Царский пляж в Новом Свете. Элек, 18-летний саксофонист из Питера и отец существа, которое звали Пиник, очень плохо плавал, едва сам держался на воде, а другого выхода у нас не было, минуту назад нам казалось, что у нас уже вообще нет выхода, мы зависли на отвесной стене, с которой всё сползало, ветки, песок, мы вчетвером, не считая Пиника, цепляться было всё сложнее, моя бывшая жена молилась вслух, впервые в жизни, во всяком случае, я ни до, ни после этого не слышал.

У Элека в рюкзаке за спиной сидел годовалый ребёнок (вообще-то это была девочка, но её называли «он», что тоже говорило о её ангельской природе, наряду с её внешностью и способностью исчезать и появляться совершенно неожиданно в разных местах пляжа, при том, что этот самый Пиник ещё не умела ходить), ситуация была действительно кошмарная, и вдруг буквально из стены под нами возникли два мужика в красочных семейных трусах, оказалось, что прямо возле того места, где мы зависли, в скале есть вход в естественный колодец, винтовой такой лаз, который выходит вниз, прямо к морю. Мужики оттуда возвращались, потому что один из них вообще не умел плавать, им предстояло всё-таки лезть обратно по отвесной стене. А мы нырнули в нарезной ствол, он оказался довольно длинным, и, повращавшись, выпали один за другим на крошечный пяточок суши. Дальше предстояло плыть — вокруг были отвесные стены, их никак нельзя было обойти, то есть мы уже попытались и знали, чем это должно было кончиться. Я плыл на спине и держал Пиника над собой. Это было так, как если бы я видел летящего надо мной ангела, его белые кудри на голубом фоне... Ещё и поэтому, когда гости спросили (а на фотографии каким-то образом очутилось очень похожее

на Пиника существо, хотя, если у них обоих была земная природа, Пиник теперь был бы старше лет на пятнадцать), я что-то такое пошутил про ангелов, которые иногда появляются на плёнках только после проявления... И теперь, глядя на человека, который с парашюта перешёл сначала в альбом фотографа, побывал в солидных музеях (вот зачем он предусмотрительно сидел на пляже в чёрной демисезонной шляпе), попал в альбом издательства Phaidon, а потом в холст Р., где у него за плечами выросли крылья... Я вспомнил строчку опять-таки из «Двух часов в резервуаре»: «Но лучше петь в раю, чем врать в концерте...» А потом другую — Набокова: «А может быть, ангельский хор лучше того кривого зеркала, в котором постепенно исчезает физик-теоретик?» И другого Бродского: «...глядеться, как фонарь глядится в высыхающую лужу». Я подумал, что мне, конечно же, не удастся написать главу о связи фотографии и теологии, но, может быть, просто вспомнить несколько мыслей, приходивших в голову во время прогулок, хотя мыслями их, конечно, трудно назвать...

Но сначала хочется ещё раз заглянуть в альбом издательства Phaidon, а оттуда — на пляж в Бердянске, хотя назвать эти камни пляжем так же тяжело, как мои мысли мыслями... Почему-то это моя любимая фотография Б. М. (она была любимой задолго до того, как у человека в чёрной шляпе выросли белые крылья, ещё и поэтому картина Р. меня так удивила), нигде кинолента, откуда кадр этот кажется вырезанным, так уверенно не экстраполируется в полноформатный фильм... Это не значит, что мы видим остальные кадры глазами — для глаз тут только вот этот один кадр, но дальше включаются какие-то другие рецепторы... Впрочем, в мои намерения не входит объяснять такие вещи, я могу только иногда восстанавливать связи, которые складывались у меня в голове, это, пожалуй, всё, что мне доступно, остальное — область искусствоведов. Фотографию человека в шляпе, который си-

дит на бетонном бордюре в Бердянске, в альбоме, кстати говоря, сопровождает текст: «...тонированные фотографии были оформлены в виде книги, каждая была помещена в центре страницы и окружена широкими белыми полями — необычными для советских фотоальбомов, где для фона обычно использовалась тёмная бумага. Играя с этой более современной, что ли, “интернациональной” формой презентации, Борис Михайлов хочет поместить своих субъектов как бы в поток исторических преобразований, охвативших страну. Могут ли эти люди, потерянные за железным занавесом, быть реинтегрированы в мировое сообщество?» Серия была сделана в 1981 году, а знаменитый альбом «Case History» — в 1995-м. Лучший комментарий к нему написал сам фотограф в своём предисловии. Он просто объяснил там, почему он это сделал. По-моему, достаточно убедительно. То, что произошло впоследствии, посыпавшиеся градом премии (включая премию Хазельблатта, которая для фотографов эквивалентна Нобелевской), непрекращающиеся выставки во всём мире, я не знаю, может быть, это всё как раз и связано с теологией... «Последние станут первыми» и всё в таком духе... Не знаю, не знаю, но эти самые «бомжи» теперь самые желанные гости лучших в мире галерей и музеев...

«Но это же нельзя было делать!» — сказал писатель К., листая альбом. — «Он много на себя берёт, это грех, это мессианство, всё это ни в коем случае нельзя было делать... Я буду об этом писать, обязательно». Я взял альбом у фотографа, когда гостил у него в Берлине, попутно встречаясь с К. для того, чтобы решить вопрос об издании книги Ю. Г. Фотограф не хотел звать в гости незнакомого писателя — К., да я и сам впервые попал к нему в дом за несколько дней до этого. А К. просил меня познакомить его с фотографом, вот я и взял альбом, чтобы познакомить их заочно. Книга К., которую он мне подарил, лежала в квартире фотографа, Вита читала ему оттуда перед сном... Но зачем мне нужно было их знакомить? Я сам уже не знаю...

Ах, ну да, К. меня попросил, это правда. Глядя на негодование, которое нарастало в нём по мере того, как он смотрел альбом я сказал: «Но ведь он их не создал, правда? Он просто их сфотографировал». Я вспомнил тогда же эту фразу из послесловия Кабакова: «Фотограф — не демиург»... Но К. сказал, что он не просто их сфотографировал. На многих снимках бомжи принимают позы святых, как на иконах или на всем нам известных картинах... К. всё больше возбуждался, он стал буквально метать громы и молнии в адрес фотографа, не знаю, от своего ли только лица или от лица церкви, К. был достаточно религиозен. Интересно, что с его книгой у фотографа независимо от этого начали складываться примерно такие же отношения.

«Какое он имеет право вообще об этом писать, — воскликнул фотограф, прочитав в книге К. беспримерно подробное описание медленной смерти, — туда вообще нельзя смотреть, а он смотрит и потом культурно так пишет...»

Интересно, что когда они всё-таки встретились на своеобразной Потсдамской конференции (на приёме, который устроил то ли канцлер, то ли президент Германии для русских деятелей культуры), все эти громы и молнии, посылавшиеся заочно, через мою голову (я ощущал себя *ареной* теологического диспута или даже военных действий в какой-то новой религиозной войне), при встрече взаимно нейтрализовались. К. сказал, что он изменил своё мнение, увидев фотографа, просто взглянув ему в глаза, этого оказалось достаточно. «Твои глаза словно пепел, они видят только то, что есть...» Что-то там ещё дальше про честь... Я никогда не ловил луну в реке рукой... И фотограф о К. после этой встречи тоже стал высказываться вполне благожелательно. Но я-то ни разу не видел их вместе, а когда они существовали по отдельности, всё время какой-то происходил у них заочный спор (я клянусь при этом, что в течение всех этих четырёх

дней не напоминал одному о другом, но они сами вспоминали и начинали спорить друг с другом заочно), К. попросил альбом домой, или, точнее, в гостиницу, где он жил, и вернул его через несколько дней ещё более возмущённый. Главным упреком его в адрес фотографа было, как я уже сказал, мессианство. Я могу представить себе, какая реакция на этот альбом была бы у бывшего генерала КГБ, а ныне преуспевающего русского купца, с которым я как-то познакомился в Мюнхене. Ни он, ни я тогда не видели этот альбом, независимо от этого он много говорил об очернителях новой русской действительности, которые так и шарят по России с камерами, выскивая бомжей, всякие там отбросы... То, что есть везде, в любой стране, без исключения... «Знаем мы эти кивки в сторону Запада, — подумал я, — в тридцатые годы ими оправдывали недостаток свободы: “Так а где она есть, эта свобода, на Западе, что ли?”» По-моему, я читал об этом в воспоминаниях Надежды Яковлевны... Теперь же сотрудники той же самой организации точно так оправдывают капитализм в его новорусском варианте. Капитализм, по словам Мишеля Уэльбека, «конечно же, самая естественная общественная модель. Но именно поэтому и самая ужасная».

Впрочем, приехав в Россию, Уэльбек в ответ на вопрос, почему он назвал своего героя Дзержинским, чистосердечно признался, что не знает, кто такой Дзержинский (Феликс Эдмундович). Наверно, отсюда уже можно сделать вывод, что модель русского коммунизма ему не так хорошо знакома, чтобы судить, что ужаснее. Вообще всё ужасно... Но я отвлекся, конечно, К. всего этого не говорил, я далёк от того, чтобы сравнивать его с купцом-гэбэшником, скорее я хотел сказать, что атаки на Б. М. в связи с этим альбомом происходили, происходят и будут происходить с разных сторон, а на родине у себя фотограф иногда вообще должен был занимать круговую оборону, чему я был свидетелем...

Взволнованный Б. М. как-то сказал мне, что хочет устроить акцию: выйти на улицу и пройти по городу, повесив себе на грудь табличку «ПРЕДАТЕЛЬ». Мы его еле отговорили. В музеях эти фотографии (из «Case History») выставляются в огромном формате, люди, запечатлённые на них, получают в полный рост, можно представить себе, как они бьют по мозгам, если даже в альбоме их далеко не каждый способен выдержать. Об этом пишет Марина Сорина в журнале «Союз писателей» — о том, как друг не дал ей смотреть на эти фотографии, уверенный, что она просто такого не вынесет... И для этого совсем не обязательно быть кисейной барышней, я был свидетелем такой же реакции — с уходом в глухую защиту — мужчины, судя по всему, бывалого... Я стоял на вокзале Zoo в Берлине, в очереди за билетом, и в сумке у меня был альбом, который мне отдал К. Ко мне вдруг подошёл человек, похожий на Водяного (актёра), потёртый, но видно, что как-то по-одесски неунывающий дядечка, и заговорил со мной на русском. «Как вас зовут? Алик? Прекрасно. Алик, скажите, а вы любите джаз?» Я пожал плечами, хотя сразу не догадался, к чему он ведёт. Он рассказывал о своей джазовой карьере, некогда блистательной, потом намекнул, что сейчас у него трудные времена, после чего сразу попросил пятьдесят евро — на билет. Его где-то ждут с концертом, а он не может выехать. Я сказал, что он меня за кого-то не того принял, внешность обманчива, а на самом деле денег у меня у самого нет. «Водяной» не только не отстал от меня после этого, но стал доказывать мне, что я должен стать «джазовым меценатом», с удвоенным энтузиазмом. Видимо, его вдохновил сам факт того, что установлен контакт. Пользуясь тем, что я не мог просто взять и уйти — очередь, как назло, медленно ползла к кассе. Это был профессионал, он прощупывал меня со всех сторон и, не слишком плачась в жилетку, как-то постепенно возбуждал реальную жалость, сочувствие... Даже при том, что ясно было,

что никуда он не едет и вряд ли вообще когда-то держал в руках тромбон, при всём при том пожилой уже человек, который так вот корячится на вокзале, — чем не импровизатор... «Ну а вы чем занимаетесь? А где вы живёте? А зачем... А почему... А где в Берлине... У кого...» Он перешёл к вопросам о моей персоне, видимо, это обычно подкупает людей, кому-то надо выговориться... В ответ на один из его вопросов я сказал (просто чтобы он на время умолк): «Кстати, а вот не хотите посмотреть альбом. Это мой знакомый снимает, он очень известный фотограф...» «Конечно, хочу! — воскликнул “Водяной”, радуясь тому, что контакт ещё больше укрепляется, — я очень люблю искусство!» Может, ему и в самом деле было любопытно, он открыл альбом, медленно перевернул страницу, потом ещё одну и так и застыл. «Что это такое?» — сказал он через минуту голосом, в котором был неподдельный страх.

Это вообще был другой голос, тембр, да и выражение лица, всё было теперь другое... Я сказал: «Это то, что вы видите. Альбом, известный фотограф...» Но «Водяной» уже меня не слышал, быстро закрыв альбом, он сунул его мне в руки, развернулся и быстро пошёл прочь. Почти бегом. Я уверен, что если бы я вдогонку крикнул: «Вот же пятьдесят евро!», он бы даже не обернулся. Это называется самосохранением, это родовой инстинкт. «Боря сделал серию о вырождении человеческого рода», — я помню, что такими словами отозвался на эти карточки наш общий друг С... Просто вспомнился вдруг этот эпизод на вокзале, а так вообще я не думаю, что эти карточки нуждаются в комментариях. No comments, и не надо тут искать никакой связи с геологией...

Мы шли по скверу от памятника Гоголю к площади Поэзии, краем глаза фотограф скользил по лицам сидевших на скамейках людей. Вдруг он остановился и сказал: «Давай-ка мы присядем». Я оглянулся и увидел седого бомжа. Я подумал: «...он ведь уже сделал тот альбом,

или это у него теперь постоянная тема...» В первый момент мне показалось, что у бомжа нет ног.

Они были, но как-то так были поджаты, вообще, голова с седой длинной гривой составляла большую часть его наружности, тело было не только тщедушным, но очень сильно сгорбленным. Голова тем не менее не была наклонена к земле, человек смотрел по сторонам и дымил самокруткой. Фотограф поздоровался, мы сели на скамейку. Мысли в голове у меня путались, потому что я ночь провёл в поезде и практически не спал. Поэтому разговор Б. М. с бомжом я полностью не слышал, я помню, что с самого начала стало ясно, что бомж был даже не «бичом», то есть не просто «бывшим интеллигентным человеком», а — бери выше — одним из главных городских интеллектуалов. Собственно, это *мне* стало ясно только после первых минут, а фотограф потому и решил сесть на эту скамейку, что не то чтобы узнал... Возможно, в прошлой жизни они беседовали в какой-нибудь кофейне на Сумской. «Вы помните Бахчаняна?» Фотограф начал разговор именно с этого вопроса. Старик усмехнулся и сказал: «Ну как же не помнить...»

«Я вообще всех помню, — сказал он, — вот вас только не могу вспомнить... А вы случайно не оттуда?» — он кивнул в сторону здания банка, напротив которого мы сидели, но по интонации, с которой он задал этот вопрос, ясно было, что он имеет в виду здание, которое находится дальше, на Совнаркомовской, то есть управление КГБ, СБУ, или как оно там теперь называется, и, кстати, Совнаркомовская теперь наверняка тоже называется как-то по-другому... Я ещё подумал: ему-то чего бояться? Наверно, инстинкт...

Фотограф рассмеялся и сказал, что он не оттуда. Я думаю, что такое подозрение возникло из-за того, что взгляд фотографа был как-то чересчур *пытлив*, кстати, старик вспомнил о своём подозрении в момент, когда фотограф полез в сумку за фотоаппаратом. Старик решительно ска-

зал «нет» и даже схватил при этом фотографа за руку... Фотограф извинился и предложил вернуться к разговору. «Вы точно не оттуда?» — ещё раз спросил человек без определённого места жительства. Б. М. почему-то не хотел говорить, что он фотограф. Он как-то ушёл от ответа, или всё же в конце он сказал, что фотографирует людей не для какой-то такой организации, а так, просто... «А какие ваши самые сильные визуальные впечатления за последнее время?» — вдруг спросил Б. М.

По-моему, он сам удивился своему вопросу, который пришёл к нему вполне спонтанно, он уже хотел было спросить что-то другое, но старик, минуту подумав, стал отвечать: во-первых, вчера он видел, как собаки занимались групповым сексом, это было довольно сильное визуальное впечатление. Во-вторых, его не перестают поражать деньги — гривны — то, что на них изображено, — вот это до сих пор приводит его в изумление. Ну и флаг, который почему-то взяли из времени Австро-Венгерской империи, в которой Украине была отведена роль, прямо скажем... А потом разговор перешёл в область религиозную, точнее, церковную, и как это произошло, я уже точно... Ах, да, по словам старика, трезубец — это символ ладьи Андрея Первозванного, на которой он приплыл в Крым, старик долго рассказывал о том, как он искал церкви, которые якобы сам Андрей Первозванный основал, на них обязательно должно было быть изображение трезубца... Старик объездил с этой целью весь Крым, спал на бетонных плитах в конце набережной в Коктебеле, за год обыскал всю Ялту, но нашёл то, что искал, он где-то под Севастополем. До этого места его рассказ был по-своему рациональным, но после Севастополя в рассказ стали всё больше проникать элементы фантастические... Пошли такие фразы, как «французы тоже вышли на этот уровень, и теперь моя связь с Атлантидой...» Старик скручивал одну папироску за другой и одновременно разворачивал перед нами свой сумасшедший космос... Если учесть, что

перед этим он рассказал нам о своей нынешней, не менее сумасшедшей, анатомии...

Дом, или то, в чём он жил последние годы, наверно, всё-таки дом, потому что в рассказе упоминались соседи, которые спасали его раз от разу, вызывая скорую, в общем, в месте, где он жил, не было никакого отопления, и тело его несколько раз промерзло насквозь, точнее, почти насквозь. «У промерзания тоже есть свои пределы! — сказал он, улыбаясь и поднимая вверх указательный палец. — Нельзя, как оказалось, промёрзнуть глубже кишечника». Кишечник у него был частично отморозен и поэтому вырезан, причём удалена была и прямая кишка, целиком, так что экскременты теперь выходили из него где-то сбоку, там была специально оставлена маленькая дырочка. «Да я почти ничего не ем, — сказал он, выпустив облако дыма, — поэтому ничего почти и не выходит... Газетка всегда есть... Да ничего, я привык... А знаете, какая сейчас самая лучшая в городе кофейня?» В этом он был знатком чуть ли не с пятидесятилетним стажем, но на описании кофеен он надолго не задерживался, и большая часть его монолога представляла собой переплетение теологии и фантастической анатомии.

При этом я бы не сказал, что он был того. Несмотря на его связи с Атлантидой и картину, которую он вдруг развернул перед нами в конце: скалы под Севастополем, покрытые кельями первых христиан, как ласточкиными гнёздами, и всё это вместе, скалы, или узор, который образовали бесчисленные кельи, — всё это было очертаниями трезубца, то есть знака, который он так долго искал на стенах церквей... Это был величественный бред, но рассуждал он более чем трезво, с опорой на невидимую церковь, на трезубец... Он вышел из равновесия только тогда, когда фотограф признался, что не знает, где находится Покрова-на-Нерли. Видимо, это был контрольный вопрос... «Тогда вы ноль! — закричал старик. — Нет, ну вы понимаете, что вы — ноль?! Абсолютный ноль!»

«Хорошо, я ноль, — согласился фотограф, — но скажите, может быть, теперь, когда мы знаем, кто я и кто вы, может быть, теперь мы сфотографируемся?» Старик категорически возражал, и, попрощавшись, мы с фотографом встали и пошли дальше. У меня было ощущение, что мы пообщались с Безымянным из беккетовской трилогии, у фотографа были какие-то свои ассоциации, или, скорее, проявившиеся воспоминания. Когда мы отошли, Б. М. сказал, что теперь уже точно знает, что встречался с этим человеком в другие времена, и человек этот был тогда кем-то вроде лидера Сумской улицы... А может быть, эта странная мысль — написать главу о связи теологии и фотографии — пришла мне в голову после того, как я, уже написав «Законы Ньютона» (это был как бы некролог на смерть Хельмута Ньютона для журнала «НАШ»), на всякий случай зашёл в магазин, который находится внутри Haus der Kunst, взял с полки альбом Ньютона, открыл и как будто впервые... Да нет, на самом деле впервые увидел фотографию распятого Христа, под которой фотограф Ньютон написал: «I was there!»

Или всё-таки эта идея пришла мне в голову в один из тех вечеров, когда мы сидели с Борисом Михайловым, с Витой и Т. в Коктебеле, на террасе, за которой сразу начинался обрыв, и в какой-то момент Борис вдруг сказал: «Ну а что Бог?..»

Судя по интонации, с которой он начинал, это должен был быть вопрос. Я точно не знаю, почему он его не закончил. Может быть, потому, что там, где мы в тот момент находились, особенно ночью, задающий вопрос сразу слышит себя со стороны...

Это не эхо, это что-то другое... И после этого уже непонятно, кто кого спрашивает:

вопрос повисает в воздухе, оставаясь не только без ответа,

но и без конца.

ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ

Недавно я попал на страницу в интернете, где было такое обращение к читателю:

«Дорогой читатель, если тебе нравится книга Юдит Герман “Летний домик, позже”, тебе наверняка понравятся также книги следующих авторов...» Дальше шёл список — шесть или семь фамилий, среди которых были и Жан Поль Сартр, и Брет Истон Эллис... Но зачем было это сейчас вспоминать? Чтобы показать степень популярности Юдит?

То есть перевернуть это странное утверждение, чтобы получилось: если вам нравится «Бытие и Ничто», то вам непременно понравится и книга Юдит Герман... Нет, не получится, ни транзитивный, ни коммутативный законы в этой арифметике не работают... Эллис? Я опять-таки не уверен, что если читателю пришлось по вкусу его «Кровавая Мэри», то непременно понравится и Юдит... Но вот что-то из выступления Эллиса в Мюнхене на самом деле кажется связанным (что-то, очевидно, всё-таки сработало, то ли link из интернета, то ли третий — ассоциативный — закон арифметики) если не с самой книгой, то с какими-то статьями о ней... Голос из зала спросил: «Вы понимаете, что большинство ваших читателей кроме вашей книги ничего другого не читало?»

Было видно, что Эллису не понравился вопрос. Он пожал плечами и сказал, что так не думает. В самом деле, если ты писатель, мысль о том, что тебя читают только те, кто книги не читают... А Эллис считает себя писателем, во всяком случае, он как раз перед этим говорил, что пишет вовсе не для того, чтобы какая-то модель поцеловала его в задницу.

Другая девушка спросила, гомо- или гетеро- он сексуален, и Эллис, смеясь, сказал: «I'm whatever you think about me». Девушка пояснила, что ей это нужно знать, чтобы

лучше понять книгу. «Для понимания моих книг это вообще не нужно, — сказал Эллис, — я ведь пишу о среде, в которой то, от какого кутюрье у человека костюм, несравненно важнее, чем пол этого человека».

Наверно, я всё это вспомнил, потому что в статьях о Юдит Герман видел попытки вывести формулу её прозы из каких-то воображаемых аспектов её сексуальности: у одного критика это «затянувшийся бесконечно пубертатный период», у другого «неосознанная склонность к однополрой любви»...

Мне кажется, что всё это полный бред и что если и есть какая-то связь между Герман и Эллисом, то её можно пунктирно обозначить как раз с помощью вышеупомянутых ответов последнего.

Вообще говоря, других связей немного, герои Эллиса, наверно, гораздо ближе к героям Кристиана Крахта, если уж сравнивать Брета Истона с немецкими писателями.

В статье во «Франкфутер Альгемайне», посвящённой новой книге Герман, Хуберт Шлюссель проводит такой мысленный эксперимент: что бы было, если бы в одном баре встретились герой Кристиана Крахта и героиня Юдит Герман? И приходит к выводу, что ничего бы не было, потому что, скорее всего, они бы друг друга даже не заметили.

От себя замечу, что они бы и не попали никогда в один бар, трудно во всяком случае мне представить героя Крахта в «Лампione»... В этой статье во «Франкфутер», которая называется «Я такая, какая есть», не проводится никаких параллелей, но в бумажных газетах, наверно, тоже есть своя система ссылок — прочитав статью о Юдит, я перевернул страницу и увидел стихотворение Готфрида Бена «Потерянное “Я”». Стихотворение, в котором говорится о конце гуманизма, было темой исследования философов прошлого века, от Хайдеггера до Адорно, и я чувствую, что всё это может очень далеко увести от темы... Впрочем, а что есть тема? «Такие вот фразы... Запахи сырости, угля

и дождя на лестничной площадке. И то, что я осенью никогда не знаю, холодно снаружи или тепло, я всё равно мёрзну и чувствую себя усталой. Другая фраза, так, между прочим: “И это ещё ничего, я знала одну женщину, она жила в доме, где китайский ресторан, прямо над ним...” И абсурдная мысль: “Я хотела бы быть этой женщиной”. Ну разве я могу рассказать всё это Якобу?» — это вот были слова из её второй книги «Nichts als Gespenster»*.

Сначала я думал, что эта глава будет называться так же, как эссе, которое я решил здесь воспроизвести (оно было опубликовано в журнале «Звезда»). Потом мне захотелось назвать её так, как я не решился назвать статью, когда давал её в журнал, то есть «Герман и Я». Но снова, так же, как и тогда, подумал, что это читается слишком однозначно, то есть «я» все будут воспринимать не как философское понятие, но как последнюю букву в названии страны и алфавита, что было бы совсем неуместно, потому что, во-первых... Вот именно: никаких таких отношений у меня с Герман не было.

Я пока понял одно — слово, которое приходит мне на ум в связи с Юдит Герман, — это слово «волна». Книга Герман — первое, что я перевёл, и, за исключением ещё трёх или четырёх маленьких рассказов других авторов, — единственное, при этом перевод каждого её рассказа получался у меня как-то подозрительно быстро, при том, что, судя по отзывам, хорошо... Если учесть, что эти рассказы в то же время — первое, что Герман написала в своей жизни, получив стипендию (которую ей дали на основании двух-трёх набросков, сделанных после посещения города Нью-Йорка: «Просто чтобы хоть как-то объяснить, хотя бы самой себе, этот странный город...»), заперевшись в загородном доме в каком-то захолустье... То, вспоминая, какой был результат этой пробы («Приятно видеть, — писал кто-то в немецкой прессе, — как эта девчонка с би-

* «Ничего кроме призраков» (нем.).

блейским именем и тевтонской фамилией покоряет одну страну за другой!), можно предположить, что для начала сама Герман попала в тхалимос, или в *волну* в левкинском смысле...*

Я помню, что мы три дня гуляли по Берлину с К., который объединяет в себе не только физика и поэта, но К. включает в себя ещё и третьего, может быть, даже самого загадочного во всём этом деле персонажа: издателя. Вот в качестве издателя К. и хотел встретиться с Герман и с её переводчиком в Берлине, в самом начале этого века.

Я договорился с ней по телефону о встрече, в такой-то день, в такое-то время, но Герман в Берлине в назначенный день и час не оказалось, она не звонила и не отвечала на звонки, и мы с К. бродили, вполне хаотически, по улицам, пили пиво «Варштайнер» и красное вино в каких-то кнайпах... Помню, что был ещё литературный вечер К. в некоем «Театре под крышей», он читал свои стихи (с самыми длинными строчками во всей русской поэзии, если верить критику В. К., я сам не мерял), а за его спиной Пушкин (местный DJ, прозванный так изначально за свою причёску, хотя на вечере он был с выбритой под ноль головой) что-то пел сквозь синтезатор, так что полу-

* «Разумеется, понять, что это такое можно, его назвав.

Тхалимос

<...>

Здесь пока существенные волновые свойства тхалимоса, так что на время будем называть его просто волной — но только потому, что склоняется тхалимос как-то коряво. Волна же как таковая не должна наводить на мысль о множестве насакивающих на что-то волн, просто такое слово.

То есть, как бы продолжая рассуждать об искусстве, никаких шеренг покорителей художественных пространств, стряпающих нечто принципиально новое, нет, но есть организмы, находящиеся в волне, которым некуда деться от её текущего вкуса. Случайно же оказаться там нельзя; можно обнаружить, что там оказался, но этому ничто не предшествовало...» (Андрей Левкин, «Серо-белая книга»).

чался вой волчьей стаи, которая периодически как бы догоняла К., но потом он снова от неё отрывался... На третий день, когда я думал уже было ехать обратно в Мюнхен, мы с К., гуляя по городу, несмотря на дождь, как-то стали вдруг привередничать с выбором мест, прошли один бар, другой, двадцатый, то мне не нравилось, то К., сдуру мы чуть не попали в дорогой скучный «Пастернак», но вовремя опомнились... По-моему, мы просто зациклились, и я уже думал, что мы так и будем весь вечер слоняться по пустым берлинским улицам, как вдруг мы увидели гирлянду цветных лампочек, как-то напоминавших детство... Внутри там оказалось крошечное кафе, несколько столиков, над каждым из которых висел большой ламп-он из сероватой бумаги или бледно-коричневой, мы заказали вино, и не успели ещё нам принести бокалы, как раздался звонок. Это была Герман, извинившись, она сказала, что всё объяснит при встрече, и спросила, где мы находимся. Когда она узнала, в каком кафе мы сидим, она так удивилась, что, кажется, едва не повесила трубку. После паузы она спросила, как мы туда попали. Я сказал, что совершенно случайно спасались от дождя, зашли наугад. Судя по всему, для неё это было что-то большее, чем просто кафе, где она была завсегдаем... К тому же, как оказалось, она жила совсем рядом, за углом... Через несколько минут она уже сидела за нашим столиком. Она извинялась за то, что опоздала на три дня, причиной, по её словам, было землетрясение в Каракасе, в Венесуэле, куда она летала читать свои рассказы — вслух — по инициативе Гёте-института. Землетрясение было, по её словам, не очень большое, но самолёты какое-то время не летали. Я помню, что это её сообщение вызвало у меня свободную... Возможно, даже слишком свободную ассоциацию... Потом можно будет это вычеркнуть, я вспомнил, как мы пришли с С. ко мне на родительскую квартиру, днём, никого не было, и в гостиной мы сели на пол, на палас, я ещё даже не обнял С., руки мои упирались в пол, но, когда од-

новременно с желанием я почувствовал под ладонями сильные толчки, мне стало страшно, я это очень хорошо помню. С. сказала, что она тоже это чувствует, при этом она улыбалась своей загадочной улыбкой... Она тоже не связывала эти волны в бетоне с чем-то внешним, она тоже думала, что волны бегут между нами, но её это не пугало, повторяю, в отличие от меня... Толчки вскоре прекратились, но я продолжал ещё какое-то время прикладывать ладонь к полу. Если бы я был один, я бы, наверно, убедил себя, что мне просто показалось, но рядом была С., и она говорила об этом с уверенностью и наслаждением какие-то странные слова, которые я уже не вспомню... После чего мы стали заниматься тем же, чем занимались всегда в этой квартире днём, только всегда это было в моей комнате, и почему мы сели в тот раз на палас в гостиной, как раз в тот момент, когда по земной коре до Харькова докатились волны землетрясения, эпицентр которого был в Румынии (это мы узнали на следующий день на работе или в тот же самый день — мы после этого ещё шли на работу, на вторую смену, которая началась в полтретьего), сказать сложно. По-моему, С. в тот день просто решила не спешить, как это было всегда, перевести, что ли, наши «встречи впопыхах» в какое-то более широкое русло... В гостиной она, прежде чем мы сели на пол, долго рассматривала фотографии за стёклами мебельной стенки, просила достать альбомы, а я сказал: потом, потом.

Всё можно вспомнить, почему бы и нет, вот только использовать землетрясение в Румынии для мифологизации нашего с С. служебного романа мне вряд ли удастся. После того как мы трахались с ней в тот день на паласе в гостиной, я долго этого не повторял ни с С., ни с другими, тащил всех сразу в свою комнату, на диван, не потому что боялся повторных землетрясений, а потому что в тот раз я сильно счесал колени, а у С. на спине потом была рана, палас был очень жёстким, прямо какое-то стекло-

волокно... Я вспоминал это, переводя синхронно диалог К. и Герман, глядя на её необычный профиль, совсем не похожий на профиль С., но, по словам поэта, физика и издателя К., похожий на профиль девушки, изображённой на какой-то скифской вазе... я ещё подумал, что иначе представляю себе скифских девушек — скорее как С., хотя С. живёт скорее внутри вазы, а не на её глиняной или какой-то там стенке...

С тех пор как С. погрузилась в эзотерические московские круги, я её больше не видел, по слухам, у неё всё нормально... В действительности эти воспоминания занимали меня какие-то секунды, а потом я не только вёл себя, но и думал о чём-то вполне приличном.

То есть в памяти у меня не проходила вся череда женщин, которые бывали со мной в родительской квартире в дневное время (как это случается иногда, если я вспоминаю одну из них), нет, скорее у меня в тот момент перед глазами возникли сами стены квартиры, исцарапанная штукатурка, которая местами так похожа была на произведения художника Селиберти, что, когда я впервые увидел его работы в окнах одной из галерей Мюнхена, мне показалось, что это стены квартиры в Харькове, проданной за бесценок, распиленные на куски (соседи, жившие под нами, наши старые друзья, говорили маме по телефону, что люди, купившие квартиру, что-то там делают со стенами, вырезают куски, переставляют, всё время сверху слышится рёв строительных машин), переехали вслед за своими хозяевами в Германию... Поэтому я мог бы понять себя, если бы у меня, скажем, появились деньги и я бросился скупать все картины Селиберти — чтобы потом заново собрать из них салтовскую квартиру моих родителей... Но почему другие так активно их покупают... Это загадка.

Галерея существует в основном благодаря этому итальянцу, по крайней мере раньше так было, а один мой знакомый художник начал даже подражать, я видел у не-

го точно такие же куски стен с царапинами на розовой штукатурке, которая местами совсем обвалилась... Но я бы не стал всё это писать только для того, чтобы вспомнить свои стены, ставшие чьими-то картинами... я помню и то, что синхронно переводил, видя свои, но теперь уже не собственные, стены внутренним взором... «Прабабушка не могла греть руки на самоваре, потому что самовар ставился в центре стола, а столы были большие», — сказал К. Юдит на это не нашла что сказать, но, когда К. продолжил свои замечания (перед этим он признал, что они несущественные, но, по его словам, к рассказу, написанному немкой о Санкт-Петербурге, русские критики будут особенно придирааться) и сказал Юдит, что вообще-то такого дома, какой она описывает в рассказе «Красные кораллы», на Малом проспекте в начале века не было, Юдит на этот раз не спешила сдаваться, она сказала, что смотрела старый справочник, и дом там был. К. подумал и сказал: да, действительно, он теперь понимает, в то время был-таки один дом, он был построен по проекту Бенуа, значит, прабабушка жила именно в нём.

Наверно, этим маленьким открытием исчерпывается польза для Юдит от встречи с К., потому что всё остальное, то есть обещание издать её книгу, К. не выполнил.

Ну что ж, мы знаем, как тревожен этот путь — путь русского издателя, просто странно, что К. обещал с каким-то, я бы сказал, пафосом, говорил, что считает своим долгом донести эту книгу до русского читателя... Но, наверное, люди, знающие лучше меня суровые реалии этого дела — издательского, не найдут и здесь ничего удивительного.

К тому же К. по определению странный издатель, потому что, как это часто бывает с крупными писателями, он полностью занят самим собой... Но кто мог это знать, я только что с ним познакомился, я ещё не читал его роман, да если бы и прочёл, я бы вряд ли в состоянии был сделать такие выводы, хотя я бы понял тогда, что для него первично и что вторично... Но всё-таки я же помню, как

он клокотал праведным гневом, когда я рассказал ему историю своей первой книги, или, точнее, нулевой.

Я сейчас ещё раз её расскажу, я только хотел сказать, что не провожу никаких аналогий, потому что издатель К. знал, что книга Герман вышла в тридцати странах, и даже если она не так скоро выйдет в России, вряд ли это можно расценивать как злодейство.

Вот утопить не перевод, а оригинал, это да... Впрочем, откуда я знаю, сколько К. утопил оригиналов, доказывая каждый раз, что гений и злодейство — вещи вполне совместимые?

Может быть, я вообще произвёл всю эту «разборку недолётов» просто для того, чтобы стыдливо проговориться о его гениальности... И хватит с него, поговорим теперь о другом издателе, тоже гении, но другом... то есть о гении как издателе... Впрочем, если я смогу рассказать это не слишком сумбурно, станет ясно, что там тоже чёрта лысого разберёшь, когда он Фауст, а когда фантаст... Моя книга пролежала пять лет в издательстве Ф., после чего мне было сказано, и не кем-нибудь, а генеральным директором этого предприятия, что книга моя, будучи уже напечатанной, «утонула в потоке, случившемся на типографии из-за аварии...».

Я, когда это услышал, подумал, что книга на самом деле утонула в потоке сознания генерального директора, но, даже *если* это было так, я не могу на него обижаться сразу по нескольким причинам...*

* С тех пор, кстати, я получил одно косвенное, но всё-таки веское доказательство того, что книга тогда реально утонула в потоке воды. Как бы это фантастично ни звучало, вот именно: есть такие известные писатели-фантасты в Харькове, братья Олди, и вот в одном из их многочисленных романов, оказывается, есть описание потопа, случившегося в 90-е на харьковской типографии, работающей для издательства Ф. Друг-художник, рассказавший мне об этом, обещал дать мне книгу, чтобы я сам смог убедиться, но я с тех пор не был в его городке, однако я ему и так верю, а вместе с ним и А. Красовицкому: был потоп, был.

Во-первых, без него не было бы вообще никакой книги, ни минус первой, ни нулевой, ни первой, ни всех последующих. То есть если бы К. (другой К., ну пусть он будет К2) не сказал мне, прочитав черновики трёх-четырёх моих рассказов: «Делай книгу, я её напечатаю», то я, зная уже немного себя, точно могу сказать: я бы её и не сделал! Мало ли что я пробовал в те годы, пробовал и бросал, и точно так же было бы с прозой, я в этом не сомневаюсь.

В этом смысле с Герман у нас определённое сходство — она говорила, что, если бы не получила стипендию, никогда не написала бы книгу и вообще бы прекратила писать.

Я не получил никакой стипендии, но зато — заказ от издателя, а это ведь ещё даже лучше... К тому же я работал во всесоюзном НИИ, где после развала Союза почти никто ничего не делал, то есть каждый в отделе занимался какими-то своими делами, кто по инерции дописывал диссертацию, кто делал «халтуру», скажем, решал контрольные по рублю за штуку, или курсовые, чуть дороже, а я сидел в углу и, не отвлекаемый никем и ничем, тупо писал рассказы, составившие сборник, который впоследствии утонул в потоках речки Немышлянки... Есть в Харькове такая речушка, она то пересыхает, то опять течёт, большей частью под землёй.

А во-вторых, я должен быть рад тому, что моя первая проба пера утонула, потому что впоследствии я выловил макет и, образно выражаясь, выжав из него всю воду, получил примерно треть книги «Школа кибернетики», которая вышла через семь лет после потопа в Харькове — в Москве.

У Бориса Хазанова, прежде чем его выслали из Союза году в 83-м, соответствующие органы изъяли рукопись «Антивремени», и в Мюнхене он писал весь роман заново. При этом он признаётся (где-то, возможно, что и в «Допросе с пристрастием» в письменном виде, так что я тут уж точно не разглашаю никаких тайн), что это пошло роману на пользу.

Что же говорить обо мне? Только в моём случае роль органов сыграла вода, вот и всё. Как говорил литературный критик Гусев: «...переписываем, переписываем — и так доходим до нирваны...»

Но этот текст я вряд ли буду переписывать, читатель, поэтому никакой нирваны я не обещаю ни себе, ни тебе...

Этот текст, если уж на то пошло, похож вот на что: была такая задачка на засыпку для школьников младших классов... На складе 100 кг арбузов, процент воды в них — 99, что будет с их массой, если он уменьшится на 1%? Ответ (несложно убедиться, составив пропорцию): масса арбузов станет в два раза меньше! А если ещё на процент, то... вот этот текст просто исчезнет.

В-третьих, я не могу сердиться на утопившего (но и породившего, не забудем) мою первую книгу издателя К2 после того, как я получил письмо от моего харьковского друга, пианиста И., в котором он описал мне своё посещение книжного магазина, принадлежащего всё тому же К2.

Когда И. поинтересовался моей книгой, стоявшей там на полке, продавщица рассказала ему такую историю: автор в советское время работал в секретном институте и одновременно писал научно-фантастический роман.

Он хотел опубликовать этот роман, издательство Ф. тоже это очень хотело, но... из-за того, что автор в тексте выдавал какие-то государственные тайны, публикацию соответствующие органы запретили.

И вот только теперь, когда срок хранения этих тайн истёк, книга вышла в Москве.

Прочитав это письмо И., я понял, что К2 пишет какой-то свой, параллельный моей книге текст... И я в данный момент тоже, но я ведь сейчас как раз и занимаюсь тем, что воспроизвожу его слова, то есть параллели сходятся, и всё у нас выходит по-лобачевски, ну пробачьте: породить, утопить, а потом купить и продавать в своём магазине, придумав такую историю — ведь вряд ли её

придумала продавщица... Но и это ещё не всё. Писатель Краснящих сообщил мне в письме, что видел план издательства Ф., и в этом плане есть книга Юдит Герман. Андрей пообещал узнать, планируется ли выпуск книги на украинском или на русском языке, и в случае русского попробовать предложить К2 мои переводы.

Тут надо, наверно, поставить точку, потому что дальше приходит на ум название недавней статьи в «Русском журнале», что-то вроде «Перевод — это обмен судьбами». Когда я это прочитал, я вспомнил, конечно, о Герман, но при этом сразу же подумал, что ни о каком таком обмене в нашем случае не может идти и речи... Я и сейчас так думаю, то есть что если даже К2 и решит издавать её книгу, то результат будет на этот раз другой. Надеюсь, менее плачевный.

Bitte, только не потоп на типографии... Я не буду вносить в этот текст никаких исправлений, когда узнаю, что в итоге вышло с выпуском книги Юдит в издательстве Ф., может быть, К2 выпустит её в чьём-то другом переводе, жаль будет, конечно, но что можно сделать...

Ещё пару слов... Герман называли «голосом поколения». Это довольно банальное высказывание я всё же вспомнил, когда впервые услышал в телефонной трубке её голос.

Дело не только в его приятной хрипотце, в нём было ещё что-то, что трудно так просто назвать... Потом, когда я иногда слышал, как совсем другие девушки говорили в точности этим голосом, я вспоминал фразу (по-моему, литкритика Хельмута Каразека), вынесенную на обложку её книги — про голос нового поколения. Его на самом деле не так часто слышишь... Я повторяю, дело здесь не в его хриплости, не только и не столько в ней, сколько в интонациях... Может быть, в Берлине его можно услышать чаще, я не так много времени провёл в Берлине, и там этот голос (кроме как у Юдит) не слышал, а как раз в Мюнхене... Правда, девушка была из Берлина, но родилась она

в Ульме... Другой раз я слышал этот голос у девушки, которая родилась в Мюнхене, но отец её был с Ямайки, в общем, если бы я сейчас это не вспомнил, я бы стал склоняться к тому, что этот голос всё-таки легче всего найти в Берлине... «Что ты там забыл в этом Мюнхене?» — спрашивал меня в Берлине «голос поколения». Герман, как и многие немцы, не слишком любит Баварию... Вышло солнце, а два часа назад я раздвинул шторы, потому что было совсем темно, я даже включал свет. Теперь же солнце слепит глаза, не видно экрана, а я сказал себе, что встану только закончив эту главу, потому что она и так затянулась, а если я сделаю перерыв, все эти длинноты сольются во что-то уже совсем нечитаемое не только мной в данный момент... Я пишу практически вслепую, я вижу стены старой салтовской квартиры, узоры царапин... Я опускаю глаза и вижу рисунок паласа, который теперь уже опустился на один этаж глубже и лежит у соседей снизу, а не только на моей сетчатке, и, кажется, стулья теперь тоже у них, странное такое погружение мебели в глубь бетонного колодца, как будто там заработал ещё один лифт... Хотелось ещё вспомнить прогулки с фотографом по Салтовке, но это же из другой главы, кажется, троллейбус, в который вошла стайка уличных мальчишек, у одного из них в руке «розочка» из зелёной бутылки, другой только что снял с головы целлофановый пакет с клеем «Момент» и держит его теперь в руке, мы увидели, что они окружают сидящего на заднем сиденьи мальчика, нам стало страшно за него, Вита села с ним рядом, а мы с фотографом встали возле них... Он не снимал эту стайку, было не до того, значит, это сделал я, и теперь, когда я закрываю глаза, я вижу этих чумазных волчат, они улыбаются нам и говорят: «Не бойтесь, он же наш. Эй, скажи им, что ты наш, а то они не верят...» И ещё один кадр, снятый лет тридцать назад: огромный ночной двор, увиденный из окна — меня разбудили крики, гиканье, я проснулся, выглянул в окно и увидел картину, которая потом не то

чтобы преследовала меня... Так, иногда догоняет... Толпа с факелами гоняла по периметру двора лошадь, колхоз «Кутузовский» был совсем рядом, да и микрорайон наш вырос на бывшем колхозном поле... И вот откуда-то там в три часа ночи вынырнула лошадь, или кто-то её пригнал, я почему-то сразу так подумал, что это ничейная, заблудшая тварь... Ну, потому что её гоняли по кругу, одну, без седока, бросая в неё камни, горящие ветки...

Это было похоже на то, как если бы я вдруг увидел в своём окне другой век, не бетонный, а каменный, где стая двуногих загоняла какую-то тварину... Потом, возможно, они её сожрали, но я этого не видел, я лёг в кровать, натянул одеяло на голову... Кажется, что когда-то, взглянув ночью в окно, я снова увижу эту картину, и снова, укрывшись с головой, усну навек... И при чём тут Герман, Херман... Нög, Mann, в том-то и дело, что ни при чём — нет никакого обмена судьбами, я — это я, она — это она. И я не думаю, что в моих текстах можно найти какие-то параллели с её (за исключением этой главы), то есть по крайней мере в этом смысле они выдерживают сравнение, точнее, сопротивляются ему... Один раз, правда, мне позвонила знакомая, с которой мы много лет не виделись. Накануне она была на литературном вечере, на котором читали мои переводы Герман (в моё отсутствие и в её, то есть автора, разумеется, чтения для русской аудитории, может быть, когда-то и произойдут, но скорее в Петербурге, во всяком случае, у меня лежит её вторая книга, где в дарственной надписи есть именно такое предсказание), позвонила и сказала:

«Ну, признавайся, ты её выдумал?» — «Кого?» — спросил я. «Ты решил писать под псевдонимом “Юдит Герман”. Я сразу поняла...» Я стал уверять М., что она заблуждается, потому что Юдит Герман — совершенно реальный человек, с которым, то есть с которой, я только что говорил по телефону... Но М. мне не поверила.

Честно говоря, я настолько уверен, что мои тексты не имеют с рассказами Юдит ничего общего, что мне в свою очередь не верилось, что М. всерьёз могла так подумать. Она не читала «Школу кибернетики», то есть книга тогда ещё не вышла, но зато она читала... Как это я называл... «Черновик чистового макета утонувшей книги», вот-вот... Опять же, не думаю, что там было что-то германовское... вот теперь я снова вижу, что пишу — солнце зашло наконец, или это кто-то задвинул штору...*

P. S. 2013. С тех пор произошло то, что я никак не мог предвидеть, когда это писал почти десять лет назад. В канун Нового года — 2012 / 2013 — в том же издательстве Ф. — «Фолио» вышла моя если не лучшая, то уж точно самая объёмная во всех смыслах книга (там с обсуждения этого слова — «объём» — как раз всё и начинается, кстати).

Называется «Кодекс парашютиста». Кроме того, вышли три антологии — в том же издательстве Ф., генеральным директором которого является Александр Красовицкий, и в одну из них вошла почти целиком глава вот этой самой «Параллельной акции».

* Глава написана в 2004-м, с тех пор многое изменилось, так что многолетие в конце выглядит теперь как следы этого самого будущего. В частности, книга Юдит Герман наконец вышла в моём переводе, несколько дней назад (пишу это в феврале 2009 года), в издательстве «ОГИ», где перед этим вышел мой роман «Серпантин». А в переводе на украинский книга Герман появилась таки в том самом издательстве «Фолио». Уточнив в интернете: там вышла вторая её книга — «Нічого, крім привідів» — в переводе Наталки Сняданко, а вот во Львове — «Літній дім, згодом» в переводе Юрко Прохасько, который (я всё ещё внутри «Параллельной акции») перевёл на украинский и «Человека без свойств» Роберта Музиля.

SANITY ASYLUM

Конрад или К.? С одной стороны, я устал от сокращений и хочу немного отдохнуть от всех этих больших букв с точкой и без и от букв с цифрами, а заодно и подумать, что с ними делать, то есть с теми, что уже разбросаны по всему тексту. Зачем эти шифры? Я ведь ничего плохого ни о ком ещё не сказал, а букв вместо имён из осторожности уже насеял с три короба... При том, что всё это явно происходит у меня — действие, по крайней мере этого произведения, явно по ту сторону добра и зла...

Ну да, самый большой «злодей» у меня — это утопивший мою минус первую книгу издатель, без которого я бы, как я уже говорил, вообще никогда не начал писать.

А уж в свете последних событий (см. р. s. к предыдущей главе) он вдруг превратился едва ли не в главного добродія, nicht wahr.

Так зачем эти шифры? В смысле, буквы...

Писатель Хавер Мариас как-то сказал, что не стал бы читать больше двух страниц романа, герои которого названы буквами...

Впрочем, всем не угодишь, и при всём уважении к Мариасу — а как же Йозеф К., вот сравнительно недавно ещё и К. у Памука, не говоря про всяких Г. Г. и т. д.

Да, но дело ещё и в том, что у нас тут одна и та же буква часто означает разных людей, то есть взаимно-однозначного соответствия теперь уже нет, и что же это тогда у нас за функция... Вот я и подумал, не устроить ли мне регистрацию персонажей, и если да, то как это лучше сделать?

«Когда-то это считалось шиком — носить на шее одну из старых меток, тех, что предшествовали лазерным. Это был вялый жест, манерный и нарочитый, но жест по крайней мере. Это помогало. Благодаря этому я мог сказать себе: вот он я. Я знаю, кто я» (это из «Песни волшебника» К. К.).

Ну так что там Конрад? Да ладно, поехали дальше... Или, наоборот, возвращаясь немного назад: Эллис на ве-

чере, который я упоминал и в прошлой главе, рассказывал, что его издатель всерьёз сомневался, можно ли опубликовать «Гламораму» в таком виде. Потому что там всё время появляются герои шоу-бизнеса, голливудские звёзды, и все они при этом под своими именами... То есть издатель боялся судебных исков, Эллис сопротивлялся, ясно, что ему не хотелось ничего менять... Издатель не отступал, и так это продолжалось, пока Эллису в голову не пришёл аргумент, сразивший издателя наповал: «Ну неужели же вы думаете, — воскликнул в отчаянии Эллис, — что люди, о которых я пишу, читают книги?!»

Но к чему была сейчас проведена эта параллель? У нас ведь тут другая ситуация: персонажи читают книги, но при этом... неизвестно, является ли книгой то, что пишет автор. Скорее ведь это антикнига, без которой книга возможно, что и является неполной, но согласись, что и антикнига, в которой нет самой книги, это не тот антик-коленкор... Всё-таки лучше пока что писать буквы вместо имён, я уже, по правде говоря, к этому успел привыкнуть. Равно как и к тому (привыкнуть), что этот текст растёт сам по себе.

Я просто чувствую в какой-то момент, что нога ступает в область прозаическую... А тогда уже мне ничего не стоит это вспомнить и, если удаётся преодолеть сомнения в том, что это имеет смысл сохранять, я просто переносу сюда затемнённый с помощью правой клавиши фрагмент так называемой реальности... Drag and drop, как говорят, или ещё копай, где стоишь — письмо, если применять такой бесхитростный приём, не больно отличается от фотографии.

Я стою в «Holy Home», прислонившись к стене — в баре, достойном на самом деле не моей очерковой, но настоящей, то есть очковтирательной (звучит как-то плохо... но я — в хорошем смысле, то есть прозы как таковой, со смыслом, вымыслом, с чувством, толком, расстановкой — с хорошей дистанцией между мной и Ich-Erzähler), зави-

ральной, можно было проще сказать, прозы, ну да... Просто поскольку я уже всё равно здесь стою на одной ноге — с бутылочкой пива «Бекс», в арке, которая служит переходом из одного помещения в другое, ещё более тесное и прокуренное... Стены до сих пор отблёскивают позолотой, это краска, которой их покрыл Шток несколько лет назад. Он таким образом покрыл свой долг — ему тогда два наливали здесь в кредит.

Рядом со мной стоит О., художник огромного роста и какого-то немецко-французского... или бельгийско-немецкого, я не помню, происхождения.

На недавнем парти, которое происходило в его сквоте, мы с И. задавались вопросом: какой именно рост у великана? Мы даже заключили пари, после чего решили узнать у О. точную цифру. Но он не смог ответить на наш вопрос, оказалось, что он последний раз мерял свой рост, когда его призывали в бундесвер, то есть в восемнадцать лет, тогда это были два метра и три сантиметра, но с тех пор прошло двадцать лет, и он мог подрасти.

Нет, я больше ни о чём не спрашиваю О., но он, встретившись со мной взглядом, что-то сам вспоминает — он показывает это жестом, он делает шаг в сторону и становится в центре арки. При этом его голова упирается в верхнюю точку свода. Вот это и есть, стало быть, его теперешний рост, понятно. Он делает ещё шаг, наклоняется ко мне и просит, чтобы теперь туда стал я.

Я становлюсь, он меряет пальцами расстояние между моим темечком и сводом арки, показывает мне расставленные пальцы... Может быть, от того, что пальцы не прямые, а скрюченные, О. недовольно кривится. Он ожидал большей разницы — ну да, я сутулюсь, а если меня распрямить и, как там, «прижать к тёплой стенке»... После этого О. живо интересуется моим весом. Оказывается, я вешу больше, чем он, и тут уже мне вроде бы пора расстраиваться, но нет — эти данные приводят О. в ещё большее недовольство.

— У меня зато больше крови! — неожиданно говорит он. — Я не очень хорошо знаю анатомию, но, по-моему, там, где жир, там крови нет... Или её там совсем немного течёт... Так что объём крови у меня точно больше!

— Но это мы не будем сейчас проверять, окей? — говорю я.

Я смотрю на О. и понимаю, что он гораздо пьянее, чем мне казалось. Он снова становится в центре арки этакой кариатидой — голова его упирается в свод, атланты держат небо... Пусть стоит, может быть, он так придерживает свою поехавшую крышу... Он что-то ещё хочет сказать, можно только гадать, чем он теперь захочет меряться (ну да, в голове Ржевского уже вертятся стихи Пелевина: «... это как ты и трое пожарных во сне мерялись хуями и оказалось, что у тебя...»), О. вдруг распахивает руки, бутылочку свою он перед этим поставил на ближайший столик. Он подходит ко мне и предлагает, чтобы я тоже расставил руки. Я говорю себе, что это последний замер, больше я не буду принимать в этом участие, я не хочу потом переписывать заново свою «Палату мер и весов», повесть из моей первой книги... Кто-то, может быть, Чеслав Милош, сравнивал вышедшие книги со сброшенной змеиной кожей... Но даже если это так, эта книга совсем не так давно вышла, и, физически присутствуя здесь, я чувствую, что часто всё ещё где-то в ней... там была, кстати, такая строчка: «Почему-то я решил, что вырос из неё, но — то ли раньше она была мне велика, то ли она вообще безразмерна», в одном из первых моих рассказов «Морская болезнь»... Правда, там под «ней» имелась в виду тоска, сплин... Я расставляю руки, О. подносит к ним свои, после чего распрямляет их. При этом одна его рука заканчивается там же, где моя левая, а вот его правая уходит гораздо дальше, чем моя... правая. Он отрывает от меня левую руку — свою, кажется... и берёт теперь себя за запястье в том месте, где заканчивается моя рука. Вот теперь он доволен. Он показывает мне, насколько его руки

длиннее — это больше, чем его ладонь, при том, что ладони у О. огромны.

— У меня очень длинные руки, — с гордостью говорит О., — у обычных людей размах рук равен росту, но у меня он ещё больше.

— Я рад за тебя, — говорю я, уже не первый раз замечая, что девушка с очень хитрыми глазами, встречаясь со мной взглядом, улыбается.

— Размах рук у меня больше, чем крыльев у кондора! — громко говорит О.

Он наконец-то покидает арку, возле которой я по-прежнему стою, и устремляется к Гюнтеру. Тот сидит у стойки, О. предлагает ему встать, и Гюнтер послушно слезает с высокого стульчика, О. расставляет руки, Гюнтер тоже... «Мама, мы все тяжело больны...» — вертится у меня в голове, но в баре играет при этом что-то другое, кажется, Питер Мольвар... Я делаю шаг и говорю девушке:

— Кажется, что ты знаешь что-то, чего не знает никто.

Она по-английски говорит, что почти не знает немецкий, и я повторяю это на английском.

— Ах, да, это ты верно угадал, — улыбается она, — но... этого никто никогда и не узнает!

Я спрашиваю, не хочет ли она перейти в место менее тесное и дымное, где можно спокойно посидеть, но она говорит, что через час уезжает домой в Копенгаген, это её прощальный взгляд на Мюнхен — она просто уже пролетая, так сказать, машет нам крылышками. Копенгаген — это серьёзно, — говорю я, и: — Мюнхен это не Копенгаген. Она улыбается и кивает. Во всяком случае, это далеко. Девушка вовсе не похожа на романтическую датскую фрейляйн, нет, это земная девушка, с которой хорошо общаться, если живёшь в одном городе... Ещё лучше — на одной улице, это та самая the girl next door, в хорошем смысле. Поэтому у меня, конечно, и в мыслях нет — после того, как я узнаю про Копенгаген, обмениваться с ней телефонами или электронными адресами... Она кивает

мне и выходит из бара. Не знаю, не забыла ли она расплатиться, но это уже не моё дело. О. вдруг бурно устремляется вслед за этой девушкой, ему нелегко так просто выскользнуть из заполненного заведения, but he can do it, раздвигая этими своими граблями толпу, как воду, а потом и чёрные шторы, он вырывается на улицу, и я вижу сквозь стекло, как он бежит... Размах рук больше, чем крыльев... DJ меняет пластинку, я насвистываю «Полёт кондора»...

О. возвращается в бар, Гюнтер, по-прежнему сидящий возле стойки, оборачивается к нему и спрашивает:

— Ну и чего?

— Ничего, — говорит О., — я просто хотел сказать ей «tschüss»*, — и я это сделал. Здесь ведь ничего такого нет, правда?

После этого он поворачивается ко мне и повторяет:

— Ничего здесь нет такого, правда? Я просто хотел сказать «bye»...

Я соглашаюсь, здесь ничего такого нет, сказать незнакомой девушке «пока», совершенно нормальное дело, да... Но О., то ли трезвеет на глазах, то ли наоборот — скатывается дальше в то самое... Bierstumpfsinn, о котором писал в 1912 в открытке из Мюнхена Марсель Дюшан, которого так любит О... При этом ему не хочется, чтобы мы думали, что он странный. Или слишком сентиментальный. Он начинает зачем-то оправдываться...

— Она всё время на меня смотрела, — говорит он, — у неё такие красивые глаза...

— По-моему, она смотрела на меня, — говорю я, — но это не суть важно, она всё равно живёт очень далеко и сегодня уезжает.

— Я знал, — говорит О. (когда это он успел с ней поговорить?), — и я догнал её только чтобы сказать ей tschüss... Ведь тут ничего такого нет, правда?

* Пока, до свиданья (нем.).

Я догадываюсь вдруг, что это мне напоминает... И за это получаю в виде приза название этой главы.

Это было опять-таки в «Большом Яблоке»: я ехал там в метро и смотрел на девушку, которая сидела на противоположном сиденье. И вдруг почувствовал, что не я один, у меня есть соглядатай... Я отвёл глаза в сторону и встретился взглядом с рыжим парнем в круглых очках. Он улыбнулся и понимающе кивнул. И снова стал смотреть на эту девушку.

Электричка остановилась, девушка быстро выпорхнула из вагона. Мы стали обмениваться впечатлениями от этой мимолётной... Как-то странно было вдруг почувствовать в незнакомом городе одно и то же... С незнакомым человеком...

Хотя, наверно, более банальную ситуацию трудно придумать... Просто мы разговорились, оказалось, что нам выходить на одной станции. Более того, дальше нам с ним оказалось по пути, он жил на той же Ладлоу-стрит, что и я в тот момент — я жил там у Л., напротив паблик-скул, а этот парень примерно за два дома... Мы, собственно, уже стояли возле его дома, он предложил зайти в гости.

По дороге успел рассказать, что пишет песни, что недавно записал диск на какой-то студии, что может мне кое-что исполнить «на пробу», — он при этом улыбнулся...

И так оно всё и было, квартира его оказалась одновременно и студией, тесно заставленной громоздкой чёрной аппаратурой — ящики, колонки, пульта... Кроме аппаратуры был ещё низкий деревянный настил, который использовался в качестве кровати, и больше там вообще ничего не было. Пол из неотёсанных досок, книги штабелями во всех углах, первое, что я подобрал с пола, была Сильвия Платт.

Он спел мне несколько своих песен — довольно приятных, мне даже вспомнились зонги Алана Прайса из «О, счастливычик», а потом пришла его девочка-друг, по-мое-

му, тоже ирландка, мы пили вкусный чай с имбирным джемом...

Прощаясь, он сказал, что у него скоро концерт в таком-то пабе, я пообещал там быть, не помню, что мне помешало туда прийти...

Хотя и это я вот сейчас вспомнил, но не хочу писать — ничего интересного, просто это увело бы ещё больше в сторону... Но вот хоть убей, я не помню, как его зовут.

Его-то можно было бы назвать и не буквой, он бы точно, узнав об этом, не стал буквой, да... но — я просто не помню... Может быть, он потом раскрутился, песни попали в списки хитов...

А может, и нет, это не так легко, it's no business, like show-business, ну да... и вот, стало быть, единственное, что я запомнил, — это название одной из его песен: «Sanity Asylum»*, и только что я перенёс эти слова наверх, а до этого я был не уверен, что это будет ещё одна глава, пусть и последняя... Но раз уж у неё теперь есть и шапка и название, значит, это таки глава, да... Когда я летел в Нью-Йорк, мне сказали, что он находится на той же параллели, что и Крым... Я не проверял по глобусу, но я так привык верить людям, что я и так уверен, что Крым — Мюнхен — Манхэттен — одна параллель...

А недавно я перечитал «Путешествие в Стамбул» и увидел там признание Бродского, что он ещё в юности решил проехать весь земной шар по питерской долготе и широте...

При этом он писал, что с параллелью как-то там справился, в отличие от меридиана-долготы...

Но я не думаю, что здесь исток и моей скромной акции, я ведь совершенно не помнил этих слов, когда её начинал...

Хотя впадая в окончательное занудство, нужно сказать: строго говоря, тут ни в чём нельзя быть уверенным

* Убежище для нормальных (англ.).

наверняка, ведь подсознательные ориентиры — это такая вещь... Недаром же кто-то сравнивал Бродского с топором, который подложен под карту русской словесности... И таким образом всё время искажает показания компаса...

В общем, я лежал на матрасе, расстеленном на полу в квартире Л., на Ладлоу-стрит. В доме, который прямо напротив тамошней начальной школы — паблик скул, да.

Когда раздался звонок, я взял трубку. Для этого мне понадобилось встать и пойти в другую комнату. Точнее, в коридор, телефон у Л. висел в коридоре на стене: большой чёрный — антикварный такой телефон, с вращающимся, само собой разумеется, диском.

Просили позвать Л., я сказал, что его нет дома, и тогда из трубки поинтересовались, кто я такой. Когда я назвал себя, оттуда раздался радостный голос: «Я так и подумал! Здравствуй, Алик! Не узнаёшь меня? Это же С.! Алло! Алик? Ты меня слышишь? Это С.!»

Я слышал его, но не знал, что сказать в ответ на этот привет с того света... Что вообще говорят в таких случаях?

Я не видел С. давным-давно, ещё до своей эмиграции в Штаты он как-то пропал с моего горизонта. Но причина, по которой я в первый момент подумал, что со мной говорит покойник, была в том, что в моём сознании прообраз С. склеился с его образом — который погиб в свою очередь в коротком рассказе Жоры Юдина.

Причём крайне brutальным образом... Его на каком-то пустыре то есть разорвали буквально на части — собаки, бездомные псы... До этого речь в рассказе шла о посещении С. скатывающегося в бездну Юдина.

Зная, что Юдин пишет прозу, С. принёс ему два бумажных свёрточка. Один с вишнями, другой со свежим сюжетиком: о том, как его (С.) и несколько его друзей проверяли на причастность к изнасилованию несовершеннолетней.

Он то есть стоит перед Юдиным и подробно рассказывает ему о том, как у него брали на анализ сперму — при

этом ему вставляли стеклянную палочку, но не в уретру, а в задний проход — «для лучшей эякуляции» и т. п.

Увлечённый пересказом этих достойных, с его точки зрения, пера любого прозаика событий, С. не замечает, что Юдин, слушая вполуха, норовит попасть ему в глаз косточками от принесённых в бумажном пакетике вишен... И уж конечно, С. не может предвидеть того, что Юдин сделает с другим подарком... Что он честно всё это перескажет, и про вишни, и про то, как С. пытался всучить ему этот сюжет со своим анализом спермы... А потом, в самом конце *своего* рассказа, Юдин напустит на С. свору голодных собак... Которые разорвут его на куски.

На одном из городских пустырей.

Конечно, так подробно я вспомнил рассказ Юдина только сейчас, а тогда, стоя в коридоре квартиры Л. возле огромного чёрного телефона, я, узнав, кто находится на другом конце провода, вспомнил только финальную сцену, и так как всё это — и чтение рассказа Юдина, и последняя встреча с С. — было уже очень давно... И в памяти у меня об С. не осталось почти что вообще ничего... Помимо имени и коротких сведений из рассказа всё того же Юдина... То в первый момент я подумал, что на другом конце провода — тот самый С., которого разорвали собаки.

Через несколько секунд (в течение которых он всё ещё окликал меня из трубки, «алло, Алик, ты меня слышишь?») я сказал, что я его слышу, привет, привет. Я не помню всего, о чём мы после этого с ним говорили, как не помню и того, откуда он, собственно говоря, звонил. Точно не из Нью-Йорка, может быть, из Бостона... Узнав, что я всё ещё не нашёл своё место в Новом Свете, С. дал мне совет: надо написать объявление о том, что я даю уроки по математике, размножить его, развесить на столбах, после чего усесться дома поудобнее и ждать звонков.

С. уверял меня, что звонки посыплются градом, он сам так начинал несколько лет назад, а теперь у него в Бо-

стане, или где там он, своя частная школа, и он процветает, и всё вокруг — пышным цветом, дом — полная чаша, сад, чада... Минут десять заботливый С. пытался меня убедить, чтобы я не откладывал всё это в долгий ящик, а немедленно занялся печатью и расклейкой объявлений. Я поблагодарил его и пообещал, что так и сделаю. Повесив трубку, я облегчённо вздохнул и отправился обратно на свой матрас.

Но, полежав там полчаса, я вдруг действительно встал и поехал на Брайтон в магазин «Чёрное море», где в то время оказывались самые дешёвые копировальные услуги во всём городе.

Когда-то в Харькове я давал частные уроки по математике для школьников, которых для меня находил кооператив с немного странным названием «Информатор». Это было не сложное, но скучноватое занятие, которое я пытался скрасить... Или за-красить — заштриховать, ну да... я брал с собой блокнотик и, пока ученик или ученица думали, на сколько уменьшится масса арбузов, если влажность их уменьшилась на один процент... я их тем временем тихонько набрасывал карандашом — не арбузы, а вот именно учеников.

Блокнот я держал под столом, на коленях, так что они ничего не замечали.

Причина была в том, что я мечтал выбраться из лабиринта синих коридоров нашего НИИ...

И у меня были только два плана бегства: один — это давать частные уроки, а второй — это стать уличным художником. Второй план — это вообще-то была моя мечта, но, чтобы она осуществилась, мне необходимо было ещё поднатореть, потому что у меня тогда получались только портреты мужчин. Да-да, причём — чем более преклонного они были возраста, тем было лучше для моей графики... Морщины, бороды, очки, всё это очень играло мне на руку.

А вот с женщинами и детьми дела обстояли плохо.

Женщины готовы были меня убить, если я не успевал вовремя спрятать или порвать листок с их изображением... Лица детей я вообще не мог уловить в сеть штрихов... А ведь именно женщины и дети являются основными клиентами уличного художника.

И вот, давая уроки алгебры и геометрии детям и юным женщинам, я решил воспользоваться одной своей подработкой для подготовки плацдарма для перехода к другой. Той, которая должна была полностью заменить сидение в НИИ сидением на свежем воздухе.

Причиной того, что совет С. показался мне реалистичным, было, значит, наличие у меня небольшого, но всё-таки опыта репетиторства.

К тому же мысли о хлебе насущном на самом деле загнали меня в пятый угол огромной квартиры Л., где я валялся днём на матрасе, потому что накануне мне не удалось устроиться сторожем в школу для еврейских девочек.

Школа была расположена не в самом Нью-Йорке, но где-то рядом, в каких-то горах-холмах... поляк-посредник, который нашёл для меня это тёплое место, никак не мог понять, почему я не хочу туда ехать. Ведь он нашёл наконец-то именно то, что я просил с самого начала.

Я действительно говорил ему, что моя мечта — работать сторожем, когда он спросил меня о моей, так сказать, «американской мечте»... Ну, потому что уличным художником я тогда уже не надеялся стать... где-то у Гёте об этом правильно говорится — что уродство легче изобразить, чем красоту... Это правда, женщин и ангелочков я рисовать так и не научился.

Да и мужчины стали выходить у меня такими уродами (поначалу в Америке я рисовал всех друзей, которые приглашали меня в гости... но быстро понял, что если я хочу, чтобы хоть кто-то из них остался моим другом, ни в коем случае не надо это делать) — что о попрizzi уличного художника я старался больше не вспоминать.

Причина моего нежелания идти сторожем в школу для еврейских девочек на самом деле была в том, что я не хотел уезжать за пределы Нью-Йорка: у меня там всё ещё оставалось несколько друзей и одна подружка... Которой мне вполне хватало.

А польский тайный советник по трудоустройству решил, что причина моего нежелания ехать — это то, что школа — еврейская. Осенённый этой догадкой, он начал мне увлечённо объяснять, что «жИды» — это не всегда что-то плохое, у него, например, есть даже друзья...

Не сразу, но постепенно ему удалось меня убедить... Я сказал, что согласен, пропади оно всё пропадом, еду. В пригород-предгорье, сторожить кошерных девочек, чёрт с ней, с тусовкой, натусил уже — цо занадто то не здраво... Польский посредник радостно схватил трубку, набрал номер и сказал, что нашёл «прекрасную кандидатуру», он начал расхваливать меня на все лады — как хвалят фрукты на восточном базаре... Я слегка покраснел да же... Но, судя по тому, как он повторял скороговоркой мои офигенные достоинства, на другом конце провода меня всерьёз воспринимать не собирались, и в конце концов он разгневанно бросил трубку и сказал: «Нет! И здесь ничего нельзя сделать: им нужен кто-то, кому больше со-рока лет. Необходимое условие. Но почему они сразу не могли мне это сказать?!»

А второй причиной, по которой я практически сразу же внял совету С., было то, что у меня был уже и опыт по расклейке объявлений... Примерно за месяц до этого я обклеил весь Манхэттен листовками следующего содержания (на местном языке, конечно): «Красим стены, клеим обои, циклюем полы. Работаем мы на самих себя — вот почему наши цены самые низкие, а качество самое лучшее!»

На самом деле я не умею совершать ни одного из перечисленных действий, для меня это всегда было чем-то вроде волшебства — внутренний дизайн, внутренняя ар-

хитектура, топология инсайта... но в том-то и дело, что дальше действовать уже должен был не я, а брат художника М. Моё дело было только — найти желающих. Он дал мне одно такое объявление, рассказал, как найти магазин «Чёрное море», и попросил сделать тысячу копий, или даже две тысячи, если не все три...

Далее он предлагал мне расклеить их на Манхэттене и получить за это от него определённый процент от его гонорара — если кто-то клюнет и он сделает кому-то ремонт.

За три дня я обклеил объявлениями практически весь остров.

Ну да, а что вы думаете, сколько там того Манхэттена...

Но результатом всей моей метаметааааапликации был один-единственный звонок, да и тот не кончившийся ничем... Женщина то есть попросила отциклевать ей полы, брат художника М. отправился по указанному адресу, но там, услышав, какую женщина предлагает ему цену, сразу же молча направился в сторону двери.

Женщина пыталась его всячески удержать, хватая за рукав и рассказывая о том, какая она несчастная, какая бедная... Вряд ли я бы всё это запомнил, если бы последним из перечисленных ею бед и несчастий, следовавших в порядке возрастания по модулю, не было признание в том, что она — писательница... ну да.

Короче говоря, у меня, с одной стороны, был опыт репетиторства, с другой стороны, я уже один раз отрепетировал и это — я заклеивал уже один раз этот Манхэттен... Я, можно сказать, знал весь этот лабиринт наощупь... Да-да, я начинал клеить в Даунтауне, а заканчивал — далеко за Колумбийским университетом...

При этом я ходил от Бродвея то влево, то вправо — то вправо, то влево, в общем, зигзагообразно... «Вверх и вниз, наискосок»... Ничего сложного. Правда, когда я внял совету С. и решил проделать всё это ещё раз, готового текста у меня не было, и пришлось мне сочинить его самому — по дороге в Бруклин, в электричке сабвея.

Помню, что я называл себя там «доктором философии».

Я уже раньше — и задолго до начала своей «Параллельной акции» — описывал всё, что происходило со мной в тот день, причём и в письменном виде, и в устном.

В письменном рассказ не получился, и я его полностью стёр.

Но потом устно я воспроизводил этот же день, и я вот помню, что с толкания этой незамысловатой телеги, по сути, и началось моё первое знакомство с компанией Манфреда — на парти, посвящённом прилёту кометы Галлея, ну да...

И как раз в устном исполнении эта старая подвода не подвела — мой рассказ имел определённый успех... Может быть, как раз потому, что на немецком. Особенно тогда — десять лет назад, язык мой был крайне беден (я приехал в Германию за полтора года до этого, зная две фразы: «хэнде хох» и «дас ист фантастиш»), рассказ получился лаконичным, а это пошло ему на пользу — и что-то я при этом показывал жестами, ну как при игре «в корову»... Да, точно-точно, к тому же в квартире была гитара, и, когда дошла до меня очередь стать story-teller'ом... Я смог рассказ как бы ещё и отчасти *сыграть*.

Первая его часть уже рассказана выше в этом затянувшемся постскрипториуме, или что это... Ну да, и осталось, стало быть, совсем немного бормотания вперемешку с искусственными флажолетами и натуральными... ну потому что, когда в руки ко мне попадает электрическая гитара, я повторяю всё, что осталось в памяти от занятий акустической — с Энштейном (так звали моего учителя по гитаре — Эйнштейн без «й», Арон Самойлович), но и все вместе сохранившиеся в шкастулке моей памяти пьески, этюды, вальс Иванова-Крамского, хабанера и одна баркарола занимают не больше пятнадцати минут, наверно... после чего я предаюсь, как правило, «свободным импровизациям» — при этом меняю тембры, я использую, как правило, все звуковые эффекты, особенно я люблю реверс,

жму ручку ревербератора... а также активно «педалирую», да, если там есть, конечно, ещё педаль.

Пока ещё примерно через пятнадцать минут всё это не вызывает во мне чувство такого глубокого разочарования, что я умолкаю на очередные три или четыре года. Иногда даже на пять лет. Или десять. Поэтому своей гитары у меня нет. Зачем она мне — раз в три года (примерно) я играю штрих-пунктиром нехитрое «соло своей жизни» в магазине электромusзыкальных инструментов — в первом, который в момент очередного появления у меня такой потребности я встречаю на своём искреннем пути.

Искреннем, да-да, поэтому я и не стал заниматься музыкой — послушавшись не Арона Самойловича Энштейна, который уверял меня, что слух — дело наживное, да и потом, в каком-то виде он у меня есть — я же могу настроить гитару по камертону...

Но внутренний голос мне подсказывал совсем другое — и я послушал свой внутренний камертон, в четырнадцать лет, да... А выдавать себя за покупателя, им не являясь, собственно, не является лицемерием, поверьте. Здесь ничего такого нет, это как бы даже входит в смету — магазина электромusзыкальных инструментов, ну да...

В день очередного «подключения» в сумке у меня оставалось ещё сотни четыре объявлений, и я как раз намеревался наклеить одно из них на стену возле витрины такого вот магазина.

Не на столб и не на тумбу, потому что за час до этого какой-то добровольный блюстититель порядка пытался мне доказать, что я этот самый правопорядок нарушаю: клеить объявления частным лицам в Манхэттене запрещено.

Я послал его подальше.

Он отошёл на несколько шагов — такой дядечка с мутными глазками, overweight, в грязноватой такой или просто серой ветровке... Стал угрожать мне оттуда вызовом полиции. Я сказал: «Валяй».

Он на самом деле выглядел гораздо бóльшим психом, чем среднестатистический нью-йоркский городской невротик, и мало ли что такого типа может раздражать — да всё, что угодно, а я был уверен, что никакого такого закона об объявлениях не существует — свободная страна, во-первых... Да, и кроме того — от абстрактного к конкретному: по всему Манхэттену висело невероятное количество объявлений — не только моих — они висели передо мной, белели впереди меня...

Последние полчаса, скажем, я клеил свои — рядом с листовками некоего mover'a (то есть перевозчика мебели), который подписывался «Englishman in New-York».

Я шёл за ним следом не специально, просто так получилось — когда занимаешься таким длинным и монотонным делом, как расклеивание объявлений, этот и без того вытянутый вдоль меридиана остров оказывается как бы совсем уже линеарен, и вы бредёте и бредёте по Бродвею — всё время на север, почти бесцельно, ну так, лепя бессмысленные, по сути, листовки налево и направо... пока вдруг в какой-то момент за вами не пойдёт... не плод чьего-то большого воображения, а настоящий американский психопат, выкрикивая: «Вам показать, где это написано?»

Пока я не остановился и не сказал: «Окей, покажите».

Он снова подошёл ко мне вплотную и не глядя — он не мигая, смотрел мне в глаза — резко выхватил из своей торбы довольно толстую и хорошо уже потрёпанную книгу, наклюнявил палец, нашёл нужную страницу и протянул мне, показывая ногтем на соответствующий параграф.

И вот там действительно говорилось, что частным лицам запрещено вешать объявления на: столбы, афишные тумбы, скамейки, стёкла, машины, спины... Ну, это я уже так, от скороговорки-закрутки, ну просто spin такой у этого текста... а спин там не было, конечно, но.

Я внимательно перечитал перечень запрещённых для наклейки мест — он занимал целую страницу...

И понял, что там нет не только спин, но и — стен... Да, просто стен как таковых, стен зданий, сооружений — ну то есть стен, walls... Я указал ему на пробел в законодательстве, в рамках которого я во всяком случае имею право двигаться, — после чего подошёл к ближайшей стене и прилепил объявление... Он обиженно закусил губу, промолчал и... пошёл за мной по улице следом — решил проследить, буду ли я и дальше соблюдать эту букву закона.

Жить сразу стало интереснее, жить стало веселее, смайл... нет, ну смешно петлять по Манхэттену, ведя за собой «хвоста», который в свою очередь ведёт себя точь-в-точь как в старых нуарах: останавливается, когда ты останавливаешься... Прячется за угол... За тумбу... Оттуда выползает его тень — как такая чёрная лужа... Я шёл теперь, короче говоря, лепя свои объявления на стены, как оплеухи — пока что не этому городу и не этому миру, а конкретно буквоеду — специально для него я это как-то теперь театрально делал, с размахом, через каждые пятьдесят метров, и ещё, пожалуй, с таким примерно чувством, я бы сказал... как будто это были какие-то политические листовки, лозунги какой-то партии, скажем, в которую я только что вступил... ну да, моя аполитичность — наследие, конечно же, времени, в котором я вырос, одно развалилось, другое не выросло... а-политичность, да, оказалась, что ли, таким застоём в мускулах — как если лежать и всё время не двигаться, что-то атрофируется, да... и вот это что-то, взгляды, нечто, определённый какой-то мускул-политикус, что ли... делающий из апатичного вялого бургера — энергическое «политическое животное» — как бы ожил во мне в тот момент и слегка заиграл, да.

Вот только программы — политической — у меня по-прежнему не было, и дальше я в тот день, во всяком случае, в политическом измерении, никуда не продвинулся, нет.

Я не поехал, скажем, в магазин «Чёрное море», чтобы напечатать там листовки с совсем другим содержани-

ем... Каким бы оно было — я, по правде говоря, не могу сказать и теперь, через двадцать лет... Окьюпай Уолл-стрит? Окьюпай Абай? Окупай Акай... Это не совсем абракадабра, читатель, и я отнюдь не издеваюсь над чьим-либо классовым самосознанием, то есть сам будучи давно уже декласированным элементом, я как раз к классовому сознанию отношусь тем не менее с уважением... Акай — это фирма такая была японская, то есть марка катушечных, а потом и кассетных магнитофонов, которые покупал Гершенгорин из второй, что ли, главы моей «Акции» — с несколькими головками... кассетник то есть, а не Гершенгорин, да я уже писал об этом... и Гера не окупал их, конечно, эти свои всё время новые дорогушие «акай», но изо всех сил пытался хоть немного «компенсировать затраты» — и приучить нас заодно к тому, что «всё в этом мире стоит денег».

Он делал на своём хайтеке записи за сколько-то там рублей и копеек, это он частично осуществил, да, в отличие от дискотеки то есть, как бы частную студию звукозаписи, не выходя из дома, в начале 80-х, чем заслужил среди студентов прозвище барыги (ну да, брать деньги у людей непосредственно — это не то же самое, что получать процент от продажи входных билетов, реагировали иначе, то есть в большинстве своём в ответ на его предложение будущие члены партии пиратов только презрительно фыркали) и разбудил у многих в нашей группе уснувшие было, да и вообще не популярные вроде бы на закате советской власти — антибуржуазные настроения.

Мда, всё можно приплести ко всему, конечно... тут вот вспоминается, например, та плёнка, что в магнитофонную эпоху висела тут и там на деревьях, и это было так красиво... как такой ёлочный дождик, коричневатый, правда, или даже чёрный — в зависимости от завода-изготовителя... но на солнце ведь блестящий, как тот самый, то есть серебряно-новогодний.

Так что пусть и здесь остаётся, может быть, такие вот отступления не разрушают текст, а наоборот, как-то сое-

диняют его — как та плёнка случайные деревья, как бы вплетаясь в их тихую древесную жизнь... я говорю, непонятно было, почему её так много, я никогда не видел, чтобы кто-то выбрасывал, причём не просто — а разматывая при этом, катушки или кассеты в окно, с балкона, в общем, для меня эта плёнка на деревьях была загадкой, которую мне не смог объяснить никто.

Апууау, это было загадочно и красиво — магнитофонная плёнка, запутавшаяся в кронах лип и акаций, и какая-то музыка записана на неё была явно, то есть наверняка... так что пусть она и здесь повисит пока что, может, как-то скрасит и нашу акцию, по крайней мере в этом месте...

Да, так вот, может, просто: «окъюпай уоллз оф олл стритс!» — walls, exactly — заклеить всё на фиг, как это сделал Кристо с рейхстагом... то есть с бундестагом, конечно, и ещё с чем-то, он ведь замотал в материю много зданий, забинтовал в мистерию фасадов, куполов... а потом и Центр-парк был весь полон его оранжевыми лоскутами, да... а ещё была в этом промежутке оранжевая революция — единственный раз в жизни я пошёл и проголосовал тогда, кстати, то есть первый, и, я надеюсь, последний раз, да. Хотя не зарекаются — е. б. ж., мало ли какие ещё могут быть в будущем альтернативы... Но я отвлёкся, вернёмся в Нью-Йорк прошлого века, я чувствую, что... не знаю, пойду ли ещё когда-нибудь на выборы, но вот написав в общей сложности три, наверно, рассказа, где действие полностью (и ещё в одном — частично) происходит в Нью-Йорке, я не исчерпал эту тему и близко... я чувствую, стало быть, что ещё вернусь сюда, если не физически, то уж точно это будет так примерно, ну вы знаете: «действие рассказа переносит нас в Нью-Йорк, где», но это будет уже где-то там — за пределами «Параллельной акции», да.

Да, и так примерно это продолжалось в тот день — я шёл и лепил листовки, теперь уже только на стены, пока в какой-то точке, переведя взгляд от очередного толь-

ко что наклеенного дацзыбао (а может быть, *мысленно*, как это делают дети, играясь с одним, воображая другое, я и заменил тогда текст тезисами какой-то политпрограммы, но теперь уже я, конечно, не вспомню, «переведи меня через майдан» там было, или «фри ё майнд», или «эбэндон олл окьюпейшн»... окьюпейшн — слово с бесконечным, кажется, количеством смыслов, от твоей «прописки» до твоей работы, и так — коннотаций через двадцать, наверно, вплоть до оккупации как таковой — войсками, или того же тебя — мыслями) по серой стене к стеклу ближайшей витрины, я увидел там огромный как бы радужный букет... висящих в воздухе «поющих гитар»... ну да, это я просто так, ляпнул словосочетание, как на стенку это объявление... хотя был такой ансамбль в Союзе, и, может быть, первый концерт был именно их — на который я попал в раннем детстве, с отцом, где-то на море, да... а гитары в нью-йоркской витрине не пели, но — «кричали», как говорил отец про слишком яркие — «маркие» чьи-то костюмы... то есть они были всех цветов и оттенков, и перламутрово переливались деками, и подмигивали звукоинженерами — пускали то есть зайчики мне в глаза... Я застыл на месте, понял, что нет, не смогу в этот раз устоять.

Я вошёл в магазин и почти сразу нашёл там свой «Gibson». Нет, не яркий, как те — в витрине, а чёрного цвета — привычка, вторая натура, ну да.

Ласково погладил лаковый рог, похожий на дельфиний плавник — и так же редко, в общем, появляющийся в моём море...

Добровольный блюстител, или кто он там был, этот погнавшийся за мной по Западному Бродвею psycho... Кто бы он ни был, но в магазин он не зашёл — как будто перед порогом был начертан мелом круг... он остался на улице и стал наблюдать за мной оттуда — сквозь витрину.

Ну да — даже такому психу не могло прийти в голову, наверно, что листовки можно клеить на стены не только снаружи.

Я помахал ему рукой и поискал глазами усилитель, к которому можно было бы подключиться.

Подоспевший продавец сказал, что для этих целей у них предусмотрено специальное помещение. Предложил следовать за ним, по дороге объясняя, что многие покупатели не любят слушать собственную игру в наушниках, а если они все играют вслух, то... ну, понятно, какая это какофония.

Стены и потолок камеры, в которую он предложил мне войти, были полностью покрыты специальным материалом. Маленькие такие выпуклые квадратики, микроподушечки, розового цвета... Я ещё подумал: вот они, значит, пробковые стены.

Хотя каморка была так мала, что там нельзя было улечься на полу, скажем, как на про(к(п))рустовом ложе... — тупо играл я буквами в уме, устав за день от устного счёта объявлений и одной и той же — в реальности — фразы, которую я клеил на все стены... пальцы, впрочем, тем временем довольно-таки резво забегали по ладам.

Перед тем как отойти от двери, продавец возможно, что и сказал, чтобы я её полностью не захлопывал, — что-то у них там с замком, с щеколдой, он оставил щёлочку... Но я забыл или просто не обратил внимания на его слова — когда так быстро или просто мимоходом говорят, я не всегда всё понимаю, да и вообще чужой язык всегда *чреват ловушками* — но это уже я задним умом говорю так двусмысленно, конечно... я вскоре после того, как он ушёл, зачем-то просунул ладонь в щель, немного её открыл, а потом потянул и резко выдернул в последний момент из стремительно уменьшавшейся... щели — свою руку, да, и дверь захлопнулась.

Наверно, мне хотелось остаться со своими доморощенными импровизациями наедине, ну да, в Нью-Йорке стыдно плохо играть на гитаре, не правда ли, когда слышишь, как тут играют в каждом пабе, или на улице, или вспоминаешь, *кто* тут играл в метро... А слова продавца

я пропустил мимо ушей, это потом он сказал, что он их мне говорил, — и я не отрицаю этого, нет.

В общем, поиграв минут пятнадцать, как я играю — уж как могу, да... я отключился — от усилителя, встал со стульчика и хотел покинуть этот своеобразный звукоизолятор, как вдруг понял, что не могу открыть дверь.

Для начала я то есть не сразу смог её найти. Я даже было усомнился, не перепутал ли я право и лево вместе с проводами, в которых я перед этим немного путался. Дверь была, разумеется, оклеена теми же крошечными розовыми подушечками, похожими на жвачку, поэтому отличить её от стен было непросто.

Но благо всех стен тех было всего ничего, и я быстро *нащупал* контур двери пальцами — между «подушечками», ну да, вот уже я барабанил кулаком — в дверь, или, во всяком случае, в то место, где она только что была...

Была-то была, но была при этом массивна, обита розовыми подушечками, а кроме того, я вспомнил, что моя каморка находится довольно далеко от торгового зала — где-то в тупике коридора подсобного помещения...

Так что мой стук никто не слышал — точно так же, как перед этим мои импровизации, которые, впрочем, совсем и не предназначены, как я уже объяснил, для посторонних ушей... Но вот стук был как раз для них и предназначен — для ушей, но его точно так же поглотили стены — вместе со мной.

Я думал, что всё равно меня вот-вот выпустят — придёт очередной покупатель... Но никто, кроме меня, вообще не покупал гитару — и даже не делал вид, как я, что он или она её покупает, — это было так, как будто в этот майский день все музыканты Нью-Йорка перешли на «воздушные гитары» (ну это такая пантомима, вы знаете — делаешь вид, что ты играешь, то есть без гитары совсем, пальцы то есть чешут по воздуху или по тебе самому... потом опять по воздуху... в Финляндии, откуда-то я это знаю, есть даже ежегодный фестиваль «air guitars»...

и я вот смотрю — теперь уже в гугле и в другом тысячелетии, что теперь и не только там... всемирные фестивали, международные, всё серьёзно, это такой очередной другой «целый мир», да-да, это как... в «Blow-up», наверно, ну да — играют в большой теннис, помните, вроде бы и без ракеток, и без мячиков, но, когда их полностью воздушный — а не только наполненный воздухом... мячик, да — залетает наружу — за ограду, и игроки просят, герой-наблюдатель им невольно подыгрывает — нагибается, подбирает и — бросает им этот их «мяч в себе», да... вот и у меня он сейчас вылетел не туда, то есть это уже не в тему... ведь у меня-то в камерке была вовсе не воздушная, а самая настоящая гитара, и даже — электрическая, да.

Поэтому — ввиду отсутствия посетителей, забывчивости продавца и собственной, разумеется, халатности, а может, ещё и недостатка языкознания — вполне вероятно, да... я просидел в камерке взаперти часа три, наверно, а это даже больше, чем восьмичасовой рабочий день расклейщика объявлений — если учесть, сквозь какое маленькое пространство просачивалось там время, то по закону Бернулли для течения воды под лежащий камень... Ну да, и Бернулли тоже — другой Бернулли, конечно, я играл там и его, я наигрывал — все эти этюды-розыгрыши, Бернулли, Джулиани, ю ноу, вся эта классика для первоклассников... Да и мои импровизации потом пошли, конечно, я, что называется, надолго тогда наигрался — на годы вперёд... Но и всего моего запала, драйва, хыста — хватает, как я уже говорил, ненадолго, а растягивать его искусственно — не удаётся, там ведь всё честно, в этой музыке, даже в такой то есть, как играю я, с позволения сказать... так что вскоре я отложил гитару в сторону — положил на пол, она была полностью реальна, да... не воздушная — она обладала весом, прессованная пластмасса, дерево, металл, вполне то есть... но при этом размахнуться ею как следует — чтобы вломить в дверь — я не мог, да же когда начал злиться не на шутку и терять терпение, ну

просто из-за тесноты каморки — выходить из себя... И вот представьте: неожиданно для себя (а может быть, я испугался своего желания содрать на хрен со стен все эти «подушечки», оголить их... так, что решил заняться на всякий случай чем-то прямо противоположным, я не знаю), я как-то *вдруг*, в общем, начал ещё и утолщать — покрывать эти розовые мягкие стены — как будто я был проглочен и был в желудке — «чрево Нью-Йорка», о-ля-ля... Я начал покрывать его своими листовками, то есть объявлениями — папье-маше, наш вклад в общее дело... от нашего стола — вашему, даём уроки, да-да, работаем на самих себя, а по-другому запахло — это Дикий Запад, бэби, и ты здесь или аутист, или аутло... всё одно к одному то есть, ну да, насколько позволяли эти выпуклости, я клеил эти листы заподлицо, превращая таким образом, по сути, в те же самые обои — о которых говорилось в предыдущей версии листовок, ну то есть: «...клеим обои, работаем на самих себя...». Ну вот и всё, собственно, а что вы думали... до третьей версии листовок я так и не дошёл, как я уже сказал, в реальности... и не только в тот день, но и потом, то есть пока, во всяком случае... не дошёл, нет.

То есть получается, что так же, как и Юдин, я своеобразно воспользовался идеей, подсказанной мне С., более того — я воспользовался даже двумя его идеями, поскольку я не только расклеил там все оставшиеся объявления — в множество слоёв, но ещё и пересказал — вот здесь — этот рассказ Юдина, в котором тот в свою очередь пересказал подаренный ему С. рассказ, который — рассказ (Юдина -> С. -> мой ->...) — стал таким образом по крайней мере слоёным... Хотя в отличие от юдинской, в моей матрёшечной cover-version собаки разорвали генератор идей — С. — только на мгновение... Конверсия, ну да — и чьи-то кровавые мальчики на глазах у нас превратились в паинек, а с ними и собачки...

В общем, битва нанайских мальчиков... Вместо «замка с кровью», вместо «мускулистой прозы» у нас снова «не

хватает мяса» — как говорили нам ещё в самом-самом начале, ещё на заре наших литературных опытов.

И всё же в этот раз немного лучше... ну, то есть тоже не бог весть что, конечно, но я, во всяком случае, пока не буду спешить всё это стирать, ладно?

Хотя я согласен, конец и мне снова кажется каким-то разорванным... И вам, наверно, тоже, даже если вы не кровожадны, читатель, тут ведь дело уже и не в «мясе» прозы... Вы просто не хотите бросить мне обратно этот вылетевший мячик — имеете право... Да, я понимаю, не катит... что-то ещё сюда явно просится, я вас слышу-слышу, в эту мою аппликацию, в центр этого моего... острова невезения, ну да... что-то ещё... стучится, тихо-тихо, но я, в отличие от того продавца, — слышу...

Может быть, это рог... Носорожий — ну тот, что как бы пробил карту в метрополитене, ну где была эта летняя школа — школа визуальных, you know, искусств... Но только какая же это будет скрепка для этих страниц, это — дырокол... а скрепок-то и нет, и всё рассыпается, обрывки дней... и потом, он же уже был в какой-то из предыдущих глав — в той же «Летней школе», ну да, рог, нос... здесь что-то другое совсем просится — сюда то есть... да, здесь двигаются сейчас какие-то фигурки, заведён механизм как бы курантов, которые должны взорвать своим звоном обскурантизм — растрезвонить, ну да, содержимое моих дацзыбао... здесь как бы такой намечается картун — cartoon, в воздухе, ну да... вот ботинок, вот пола макинтоша — мелькнула, всё это чёрного цвета... нуар-нуар, нью-йорк-нью-йорк...

...фигурки, фигуранты, просто прохожие толпы... А может быть, это — «Ай»?

Да, видимо, чтобы уже полностью закрыть эту тему, он должен был здесь появиться — и сразу... «Dzien dobru, ran!» — слышит Ай и вздрагивает. Прохожий видит, что обознался. «Или run*, или пропал», — произнося эти сло-

* Каламбур (англ.).

ва, Ай приподнял над головой шляпу. Шляпу? Ну да. Man in hat tans in Manhattan. Солнца, правда, пока нет, но оно здесь непредсказуемое. Просто — сказуемое. Почти как в Укбаре, слегка солнит сквозь серую кальку. Но всё же «tan» — это слишком. От силы — апрель, или от бессилия ветер в спину. Или я — никто, или Manhat... «Tan» — only for fun, — думает Ай, но на 42-й улице шляпу срывает ветер, она летит в поток машин, и остается только «tan». Надолго? Oh, it depends... Он? Нет, это — уже не местоимение. Может быть, это глаз, eye? Или... Но в том-то и дело, что нет уже никаких «или»... Английская версия «Соглядатая» — это и есть «Eye»... Да и в других местах, особенно весной, — «I'm opening myself as Eye in the middle of the town...» Может быть, Ай — кино... Про восточное едино-бодрство... Но тогда при чём здесь «про»? При том, что если дать слово Аю, это будет не рассказ, а что-то другое... Словарь для тех, кто хочет разучиться говорить по-русски и по-английски... Ай только и делает, что его составляет. От А-я до Ая, от А-z до Аз. Кажется, на Манхэттен-бич (да-да, бывший интеллигентный че в шляпе загорал... Находясь при этом во втором томе Пруста. После слов: «...можно быть неучем, составлять глупые каламбуры, и при этом...» проходившая мимо Тина сказала, что он уже весь красный, нельзя с его кожей так долго быть на солнце... И он пошёл за ней в океан... Сосредоточенно плыли рядом, пока Ай не приземлился на покрытый водорослями камень... Тина повисла в воде рядом... «You know, — сказала она, — most in the world I don't like to touch seaweeds». Он сказал, что «seaweeds» по-русски — это и есть «тина». «But you know, — строго сказала она, — I don't like it at all». Ну да, она была против языковых игр... Хотя и не всех... И потом ведь, через год после того, как они расстались, она подыграла... Случайно встретились на Бликкер-стрит. «С кем ты теперь спишь?» — спросила она. «Спроси лучше, с кем я не сплю», — попросил он. «С кем ты теперь не спишь?» — послушно спросила она. «Ни с кем», — сказал он. «Очень остроумно», — сказа-

ла она. И пошла дальше. А потом была Аяко, которая сказала, что «ай» по-японски «любовь». Ай подумал, что ребус разгадан... Но Аяко вскоре исчезла. Прислала открытку: «Я решила, что мы с тобой снова должны стать людьми». Она решила! Ай в вагоне метро... Напротив лиловый джанки... «Фантомас, — говорит Ай, — фантом аз... Маска, я тебя узнал!» Ай заходит в кафе, берёт кофе, бэйгел, становится у окна. Вдали виднеется известный Мост: на прописную «М» натянута тросы. Выпив кофе, Ай идёт к выходу, останавливается у стеклянной двери и смотрит, как по ней сбегают прозрачные тараканы... Думает, не переждать ли в кафе... Но потом толкает дверь и выходит... «Это не дождь, — ощущает протянутой ладонью, — а дожде-ство... Субъекта и объекта... Субъекта и субъекта... Объекта и объедка...» Он стоит на перекрёстке Адамс-стрит и Кадмон-плаза. Светофор как будто сломался, Ай уже долго стоит. Чувствуя, как превращается в статую. В памятник Адаму Кадмону. Достает сигарету. Она проваливается сквозь пальцы. Падает дальше сквозь вентиляционную решётку метро. Ай поднимает глаза и видит граффити на стене дома на другой стороне улицы, написанные красной краской. Почерк трудно разобрать, но Ай успевает заметить, как «tan» переходит со стены дома на бок проезжающего «вэна». «Ну и что, — думает Ай, — по-немецки “tan” — это не человек... а то же самое, что по-английски “one”...» «А вот и он, — радуется Ай, видя, что на светофоре загорается зелёный человечек, — ...Man in hat tan in Man-hat-tan...», — напевая эту частушку, Ай переходит улицу и исчезает в толпе прохожих.

Я сижу с ноутбуком на Одеонсплац и, глядя на человека за соседним столиком, который, сделав глоток какой-то малиновой жидкости из тонкого высокого стакана, сдвинул широкополую зеленоватую шляпу, закрыл глаза и подставил лицо бледному немецкому солнцу, — я думаю, как бы мне с миром закончить свою «Параллельную акцию».

Шляпа соседа напомнила мне было Ая, но нет, всё-таки «Ай» как-то не похож — то есть он может здесь промелькнуть, вай нот, но как финал он не... немного другой ритм был у той прозы, ну да*.

* Делая в 2009 году эти комменты, я хотел было убрать из текста «Параллельной акции» «Ая» и даже было удалил его, но вдруг вспомнил одну странную вещь. В статье Ольги Лебёдушкиной, появившейся в 2002 году в журнале «Дружба народов», в числе прочих обсуждается моя книга, вышедшая тогда же, — «Школа кибернетики», ОЛМА, 2002. И отдельно упоминается рассказ «Ай», который... в книгу не вошёл! Его там нет, понимаете? И следов его нет, и даже упоминаний, и вот где его тогда могла прочесть О. Лебёдушкина, я не представляю. «Ай», правда, вышел отдельно в журнале «Союз писателей», но только через год, в конце 2003-го. Правда, он входил в ту книгу, что утонула в издательстве Ф. в прошлом веке, тогда ещё он был на 14 страницах. Но опять же, как могла его прочесть, судя по всему, географически очень далёкая от Харькова и от харьковских затонувших манускриптов О. Лебёдушкина, я не представляю. И всё это было ведь до интернета... Вот, и вспомнив всё это (на статью Лебёдушкиной я наткнулся случайно в прошлом году, то есть через шесть лет после её появления, и меня поначалу заворожило то, что я там оказался рядом с Каминером: я стал размышлять, могла ли Лебёдушкина читать «Параллельную акцию», вспомнил, что статья написана в 2002-м, когда я ещё ни о чём таком и не помышлял... Но, когда я увидел, что там дальше упоминается рассказ, который я в последний момент в книгу НЕ включил, тут уж я забл о таких мелочах. Я уже не говорю о том, что помимо этих аномальных явлений — появления в статье «Ая» при его отсутствии в книге, там, в статье, есть очень точные наблюдения о нюансах моего «Ich-Erzähler», но тут уже лучше читать саму статью: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/12/lebed.html> (где речь идёт не только о моей книге, но легко перейти и непосредственно к моей, просто набрав во внутреннем поиске «Милыштейн», а потом ещё проделать то же самое, введя слово «Ай»). В общем, после того, как я всё это вспомнил, я не стал удалять «Ая» из «Параллельной акции», во-первых, это, как выясняется, бесполезно (после того, как он не только утонул вместе с первой книгой в Харькове, но и был удалён из второй — в Москве, и тем не менее был непостижимым образом считан и, значит, в каком-то смысле снова попал в книгу, во всяком случае, во время чтения её О. Лебёдушкиной... как будто это у меня и в самом деле была такая «книга песка и воды»).

«Ай» ведь я начал писать ещё тогда, сразу после Нью-Йорка, в 93 году прошлого столетия...

Сейчас 2004 год, и рассказ за это время подвергался многочисленным переделкам, после каждой из которых он несколько уменьшался.

Именно в нём изначально был эпизод с макетировщиком книг, который вставлял свои строчки в чужие детективы...

Да и не только, там было свалено в кучу много вложенных сюжетов, этакого милого хлама... Ну, «милого» — это я сейчас так говорю, конечно, ностальгически предаваясь, «что пройдёт, то будет мило»... а тогда я ведь без всяких сантиментов как бы предавал сам себя — вчерашнего, убирал оттуда «всё лишнее», и рассказ после каждой моей контрольной читки — вычитался из себя, как та картина, которую периодически похищали воры, то есть фавориты Луны в фильме Иоселиани... Каждый раз они там наспех вырезали холст из рамы, в которую его вставляли очередные владельцы... И вот так же точно уменьшался мой «Ай».

В конечном итоге то есть — до одной странички, которую вы только что прочитали, если прочли (а я помню, что первоначально их было четырнадцать — страниц, и там порхал, как я уже сказал, этот клёвый волнистый попугайчик — клевал со страниц буковки, как маковки... и было очень, слишком — много фраз на моём *pigin-english*... Хотя начинался рассказ тогда вполне советской фразой, по-своему тоже крылатой: *«В отдельных произведениях отдельных авторов всё ещё можно увидеть, как...»*).

...сидя в кафе «Тамбози», на Одеонсплац, я, глядя поверх экрана ноутбука — на знаменитую, в том числе печально, галерею Полководцев... её арки, ступени, каменных львов, не так чтобы скучающих... у них всегда есть двуногие соседи, между львами любят назначать свидания, ну может, не такие пылкие... а чуть за ними да-

же распивают напитки, молодёжь... такой вот теперь фон, да, желтовато-серый... и я теперь, глядя туда, думаю во все не о том, что здесь было в прошлом веке (вон там, перед этими львами, пали первые жертвы — мюнхенские полицейские, препятствовавшие путчу), для этого я уже просто слишком долго живу в этом городке, «из которого смерть расплзлась по школьной карте...», ну да.

Я думаю снова о своём «школьном» сочинении, и снова — впервые за много лет — вспоминаю рассказ «Ай», отчего-то я решил, что его можно использовать в качестве последнего септаккорда всей этой рассыпающейся мистерии отдельных букв... или даже вообще — нот, ну да, потому что некоторые буквы без индексов означают всё-таки целые аккорды...

Но ничего лучшего не приходит мне пока что в голову, пусть, пока суд да дело, остаётся, и теперь уже всё: конец-конец, по-немецки «шлюс»... вот только я здесь, в самом конце, хотел бы написать что-то вроде послесловия... о чём-то предупредить, ну что ли, читателя, да, хотя читателя предупреждают, конечно, в *предисловии*, если уж автор считает, что нужен какой-то переход... шлюс?... я сейчас уже не совсем, честно говоря, понимаю, о чём я, собственно, хотел его — вас то есть — предупредить, да. Начисто забыл — и это последний анекдот, да... вообще, это оксюморон, я понимаю, это «*забывчивость напоминает*» — как я сдавал экзамены в университете, на мехмате, да... я сейчас тогда уже расскажу и это, гулять так гулять... вытянув билет, скажем, с теоремой Дини, которую я не знал... напроць, то есть даже её формулировку... я всё же произносил наугад, наощупь, какие-то слова о «покрытиях», не путайте только их с моими теперешними «кавер-версиями», никакого отношения... и не подумайте, ещё чего ради, что я покрыл преподавателя матом...

Нет-нет... (тут, правда, вспомнилась частушка, которую про меня сочинила тогда одна студентка:

Великий патриот мехмата,
Вернее, части только «мех»,
Но всё же «мат» родного брата
Узнал в Мильштейне раньше всех.

«Мех» — это механическое, потому что я учился в той части мехмата, которая была «механикой», отделение такое... Ну а «мат», понятно, не тот мат).

Стало быть, это были какие-то чисто математические покрытия множеств — которым я ложно приписал название «теорема Дини»... На всякий случай то есть — я что-то осторожно пробормотал... ну вот, да, практически наугад...

«Это не теорема Дини, — внимательно выслушав меня, говорит в ответ преподаватель, — но, знаете ли, тоже достаточно интересное высказывание... Докажите его, пожалуйста». — «Простите, что мне нужно доказать?» — «А вот то, что вы сейчас сказали!» — «Да, но...» — «Будьте так добры. Это задание».

И я шёл к своей парте, по дороге забывая, что я только что брякнул на свою голову, и думая, что моя забывчивость меня спасёт, я возвращался к столу экзаменатора и делал это признание: забыл, понимаете ли.

Но не тут-то было: оказывается, моё мат. высказывание из разряда «пальцем в небо» дословно запомнил преподаватель...

И он охотно повторил его мне... И после двух часов нечеловеческих усилий я доказал, неважно теперь уже, что именно.

Помню только, что оно, точнее, она даже оказалась верна, эта «теорема Мильштейна», ну да.

Вот только я её никогда не вспомню...

Теперь я думаю, что всё позади, что я уже сдал экзамен, но не говори «гоп»: я не верю своим ушам, но так и есть — этот кошмар продолжается, преподаватель снова просит меня доказать... теорему Дини. «Вы ведь уже знаете, что

я её не знаю» — заговорщически шепчу ему я... «А ничего страшного, — громко говорит в ответ он, — я вам, так уж и быть, подскажу её формулировку».

«Необходимое — и оно же достаточное — условие сдачи любого экзамена, — говорила нам в школе учительница физики Александра Дмитриевна Жигулина, — чтобы по крайней мере кто-то один из двух знал: экзаменатор или экзаменуемый. Вот если оба не знают, тогда катастрофа: незнающий говорит, говорящий не знает...»

Последнее предложение, которое я напишу сейчас, очевидно, будет лишним, потому что и так ясно, почему мне вспомнились эти слова учительницы.

Единственное, на что может рассчитывать автор «Параллельной акции», это что у неё был и/или будет *знающий* читатель.

Конец

Как оказалось, первой части

ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЁРНОГО КВАДРАТА

ИНТЕРМЕДИА

Передача «Философский квартет» с Питером Слотердайком в качестве постоянного ведущего в эфир выходит достаточно редко, и я каждый раз забываю вовремя включить телевизор. Чаще всего я натываюсь на неё случайно, листая перед сном каналы. Как правило, уже во время раздачи «домашних заданий».

В конце передачи каждый из её участников (а это кроме Слотердайка ещё и Рюдигер Сафранский, плюс два гостя, каждый раз разных), рекомендует зрителям почитать какую-то книгу. Я помню, что после «Квартета», темой которого были новые формы европейского антисемитизма (тему я, как обычно, прочёл в телетексте, там она звучала так: «По Европе бродит призрак антисемитизма»), Слотердаик посоветовал зрителям книгу Лессинга «Der Judische Selbsthass»*. Я не стал покупать эту книгу, посчитав, что тема для меня лично не актуальна. Хотя для общего образования надо бы почитать... Но я вообще не прочёл пока ни одной из рекомендованных «квартетом» книг, каюсь.

Постараюсь исправиться в следующем учебном году... Я ведь помню и некоторые прежние рекомендации. После «Квартета», посвящённого вопросу «Где кончается Европа?», всё тот же Слотердаик рекомендовал читать книгу Юрия Андруховича и Анджея Стуса «Моя Европа». Этот «Квартет» я, кстати, частично смотрел. Не с начала. Помню, что когда на экране возникли четверо «из стеклянного дома» (такой подзаголовок у названия передачи, и они на самом деле сидят в чём-то стеклянном), один из гостей высказал мнение, что Европа кончается там, где начинается «водочная культура». Все участники «квартета» рассмеялись, но потом Рюдигер Сафранский задумался и сказал, что хорошая водка тоже замечательный напиток... В общем, я так и уснул в тот вечер без каких-либо чётких представлений, где же на самом деле кончается Европа.

* Ненависть евреев по отношению к самим себе (нем.).

После того, как Слотердаjk рекомендовал читать книгу Андруховича и Стуса, стиль которой он назвал «гео-поэтическим» (по аналогии с «геополитикой»), он объявил, что «квартет» уходит на каникулы и выйдет в эфир теперь только в сентябре или даже в октябре... Я опять забыл, когда, но в общем, теперь уже после лета. Сейчас у нас май. Слотердаjk порекомендовал всем зрителям летом побольше плавать в открытых водоёмах... Один из пропущенных мною «Квартетов» был, кстати говоря, посвящён связям между новыми открытиями в нейрофизиологии и «тайнами писательского ремесла». Может, и к лучшему, что я его пропустил, не помню даже, что Слотердаjk рекомендовал читать после этого на дом, не суть важно. Важно то, что позавчера я наконец-то увидел всё это действие от начала до конца, и к тому же живьём. То есть вместо «квартета» вчера был «квинтет», вместо стеклянного дома — старинный зал Баварской Резиденции, популяризатора философии Рюдигера Сафранского нигде не было видно, но у меня тем не менее было прочное ощущение, что это та же самая передача, только я попал за стекло. Работали две камеры, тихонько вращаясь, они снимали и философствующих, и тех, кто им внимает... Темой на этот раз было «...Чужое...» — вот так они это написали-обозначили на буклете программки — с многоточиями. Чтобы текст, который вырисовывается у меня сейчас, воспринимался более или менее адекватно, нужно не забыть подчеркнуть два момента: во-первых, я не философ, и мой интерес к философии довольно-таки *мерцающий*... Это можно было понять из вышеизложенного. И во-вторых, всё *это* происходило в рамках Мюнхенского музыкально-театрального биеннале (главной премьерой которого стала современная опера в семи частях о жизни и смерти Вальтера Беньямина). Поэтому неизбежны музыкальные ассоциации, которые могут показаться странными и в другом случае, может быть, вообще не пришли бы мне в голову... Кроме Питера Слотердаjка

и Бориса Гройса участвовали: писатель и синолог Тильман Шпенглер, теоретик кино и кинорежиссёр Андрей Учика, пианист и музыковед Зигфрид Маузер. Последний сравнил музыку с сердцебиением матери и другими какими-то звуками, которые слышит эмбрион, пребывая в утробе. Отсюда наша постоянная потребность в музыке... «Чужим я был, когда пришёл, и теперь, когда я ухожу, снова я чужой» — эта цитата из «Зимнего путешествия» Шуберта была лейтмотивом рассуждений Маузера о происхождении топоса «чужого» в раннем романтизме.

Мне понравился текст «The End of Gravity», который прочёл Андрей Учика. Он описал свой собственный фильм о русских космонавтах (один из них, пробывший на орбите дольше всех — мировой рекорд — впоследствии пропал на Земле без вести), о пилотируемой станции, а дальше пошла уже чистая поэзия, Учика сравнил современное положение вещей с тем, что происходит на станции, в невесомости, все предметы хаотически плывут мимо, могут случайно попасть вам в рот... И вот так же теперь у нас дела обстоят с идеями, понятиями, концепциями, всё это теперь тоже не подвластно гравитации. Конец гравитационизма: всё плавает в воздухе, не имея ни центра, ни верха, ни низа.

С энтропией справиться теперь уже нет никакой возможности, да никто больше и не пытается это сделать. Мне всё это напомнило (в оригинале это звучало, естественно, намного красивее, чем в моём пересказе) довольно странный текст, который я пишу последние два или три месяца... Именно так у меня всё там и плавает... И ещё: незадолго до выступления в Академии этого живого «квинтета» по ARTE был фильм об американском астронавте, замечательное имя которого — Story — я запомнил, а фамилию нет. Астронавт (фамилия его звучала почти как mass grave... может быть Masgrave, как-то так) говорил, что он рассматривает все свои полёты, да и вообще себя самого, как художественный проект. Вернувшись

на Землю, он делает инсталляции, сидит неподвижно часами в стеклянном кубе посреди выставочного зала, кроме того, в космосе он делает записи в приватный чёрный блокнот. Во время разговора он всё время делал такие движения руками, как будто лепил что-то из воздуха, хотя на самом деле он таким образом описывал *безвоздушное* пространство. Которое, по его словам, на ощупь напоминает ночную воду... Впрочем, я не возьмусь повторить его монолог о формах космического мрака, о тактильных ощущениях, которые он вызывает... Story M. говорил об этом часа два или больше, я уснул под его монолог, помню, что это было красиво... Почти как доклад Андрея Учика, после которого слово дали Гройсу, и Гройс заговорил о Боге, принявшем форму медиа. Медиа, по словам Гройса, начались там, где закончился старый добрый платоновский мир... Впрочем, если послушать Гройса, то и мир медиа, пришедший на смену, тоже добрый... Но страшный снаружи — с точки зрения Слотердайка, медиа переняли роль Бога-ужасного, образ которого существовал вплоть до Просвещения, а потом был постепенно вытеснен безобидным, милостивым современным нашим Богом... Слотердаjk несколько раз повторил, что религия является не чем иным, как «психо-соматической иммунной системой», а также что существует у человека какая-то изначальная потребность во внешнем подавлении себя самого, которую раньше удовлетворял страшный ветхозаветный Бог (Слотердаjk вспомнил потоп, с помощью которого Бог себя правильно позиционировал, а потом в докладе были слова о вооружённых — «подкреплённых военным образом» — советах, это что-то напоминало, хотя Слотердаjk ничего не конкретизировал), а теперь вот, стало быть, средства медиа... В мою задачу не входит пересказ всего, о чём говорил Гройс или Слотердаjk, о философах могут писать только философы, а Ich, как уже было отмечено, bin kein Philosoph... Вот что этот «квинтет» мне напомнил: как-то я увидел на столбе объ-

явление, в котором говорилось, что существует в Мюнхене «скорая философская помощь».

По крайней мере существовала, я видел это объявление лет шесть назад. Не помню, звонил ли я тогда по телефону, который сорвал, но теперь, глядя на Гройса и Слотердайка... В особенности Слотердаик был похож на врача «скорой философской помощи». И одновременно на Портоса, только шляпы не хватало, он бы ею обмахивался... Да, но перед ним выступал его коллега... От средств медиа как таковых Гройс перешёл к своим рецептам того, какими средствами можно в эти самые медиа попасть. Для этого, по его словам, нужно выкинуть что-нибудь эдакое, ни на что не похожее. Нужно изобрести такую «мульку», чтобы весь мир разделился на тех, кто «за» и на тех, кто «против». Гройс показал, как вводятся в мир подобные дифференции, на примере «Чёрного квадрата» Казимира Малевича.

Как бы передать впечатление, которое произвели на меня эти слова в сочетании с мелодией его речи? Речь Гройса очень мелодична, если бы у меня был хороший слух, я бы непременно написал сейчас нотную строку... По-моему, ностальгически вспоминая, как Малевич вводил в мир свой квадрат, Гройс преобразился вдруг в солиста «Faith No More». И запел: «I started a joke... And the whole world started laughing...» Кроме того, Гройс предложил называть хайдеггеровскую «прогалину в Бытии» — «свободной нишей в рынке». Вообще, всё, что спел Гройс, было очень мудрым и справедливым. Подводя итог, можно было бы обобщить вслед за ним: Бог в своём качестве универсального наблюдателя полностью упразднён средствами медиа, где каждый из нас стал зрителем в мировом театре, «прогалина в Бытии» стала «рыночной нишей», и осталось, значит, только её найти. Вопрос, который стоит перед каждым современным художником, звучит так: как найти для себя место в мире «чужого»? Ответ Гройса: найти пробел в рынке. Потому что все ме-

ста уже заняты, и, в отличие от обитателей номеров в отеле, каждый из которых, как по команде, перешёл в соседний — с тем, чтобы освободился первый (дожили — этот пример Кантора я вспомнил только потому, что его процитировал Питер Хёг), здесь двигаться никто не будет. Поэтому нужно самому создать себе место. Как? Гройс ответил и на это. Нужно каким-то образом сделать расщелину в плотном пространстве «чужого». С тем чтобы потом залезть в эту расщелину, занять её, этаблировать себя в ней. И стать автором «чужого» как своего собственного. «...and the joke was me», — кажется, так кончается песня «Faith No More», хотя я не уверен... Советы Гройса мне показались слишком абстрактными, чтобы ими воспользоваться, с другой стороны, я ведь мало того что не философ, так ещё и не художник... Зато я помню интервью Олега Кулика журналу «НАШ», где он рассказывает, как пришёл к идее «собаки». Как он ходил по выставочным залам музея, кажется, в Швейцарии, где были собраны все сливки современного искусства, и чувствовал, что всё это не живое. Абсолютно всё, без исключения. И Кулик тогда решил стать собакой. Которая охраняет могилу умершего хозяина. В этом случае хозяином было искусство. И никого не пускать к этой могиле. Так он и поступил, в результате чего зубами — в буквальном смысле — отвоюевал свою «поляну в бытии» (на которую никого не пускал, пока туда не приехала полиция), и поляна действительно оказалась одновременно и «нишей в рынке».

А мне почему-то сейчас вспомнилось, как я стоял под фонарём, за которым начинался пустырь, ночью, на Салтовке, и напротив меня было искажённое злобой лицо Чигракова. В тот момент я почти не сомневался, что мне предстоит драка. Я уже слышал от кого-то, что Чиграков в последнее время стал кидаться на людей. А так как Чиграков лет двадцать преподавал восточные единоборства, вряд ли эта драка стала бы для меня победной. Я просто вспомнил сейчас, из-за чего тогда был весь сыр-бор. Вот

именно из-за разных наших с Чиграковым представлений о «чужом». Кажется, спор начался по поводу фильма, который мы посмотрели перед этим в гостях у бахтиниста С. Надо заметить, что Чиграков помимо своих восточных единоборств увлекался философией. По специальности он, кажется, был биофизик, но его уводило всё дальше в другие материи.

Он регулярно ездил в Москву к В. Налимову (автору книг «Вероятностные модели языка», «Спонтанность сознания» и др.), после чего рассказывал мне и бахтинисту С. о новых идеях мэтра, по-моему, в тот вечер он тоже докладывал нам об очередной своей поездке, после чего мы посмотрели какой-то блокбастер. Фильм, насколько я помню, показался мне и С. совершенно дебильным, а Чиграков его стал защищать. Особенно агрессивно он стал его защищать по дороге домой, когда мы шли с ним по ночному микрорайону. Чиграков начал говорить о том, что я не люблю «эти фильмы», потому что у меня очень узкое восприятие, я, по его словам, сжал свой мир в какую-то малюсенькую капсулу, сижу в ней и не меняюсь. Мне смешны были эти его обвинения, моя «внутренняя революция», «опыты по расширению сознания», всё это было ещё свежо в памяти, и я откровенно сказал Чигракову, что очень рад тому, что на мне остановилась эволюция. Или во всяком случае притормозила. Чигракова эта моя радость разозлила не на шутку, на мой вопрос, разве это плохо, что у меня не растёт, скажем, третья рука или хвост, он закричал, что это плохо! Что это очень плохо, это значит, что я остановился в развитии, а то, что я так легко об этом говорю, его лично возмущает! Наверно, Чиграков был всё-таки сумасшедшим, но мне от этого было не легче, стоя напротив его оскалившейся бородатой физиономии и представляя, как мы сейчас начнём друг друга колошматить... Я никак не ожидал от него такой реакции. Всё началось, я повторяю, после моих высказываний о Голливуде, кто мог знать, что Чиграков готов с кулаками

защищать «фабрику грёз»... Я чувствую, что всё это уже никак не вписывается в вечер, который я здесь описывал, хотя с другой стороны, вопрос, по которому мы тогда разошлись во мнениях с Чиграковым, как раз и был вопрос о «чужом». О том, как далеко мы способны зайти... Оставаясь при этом самими собой. Я бессвязно излагаю, незачем, наверное, было вообще вспоминать эту сцену, фонарь, пустырь, отблески света на чиграковской лысине... Ко всему в руках у него была палка, он носил её с собой и часто тренировался на ходу... Шопенгауэр в конце жизни однажды сказал своему собеседнику: «Философия, в которой между противоборствующими сторонами не слышны рыдания, вой и скрежет зубов, возня и страшный гул стремящихся во что бы то ни стало убить друг друга противников, — никакая не философия». Но я ведь ещё в начале этого текста недвусмысленно признался, что я никакой не философ. Так что вся эта стычка с Чиграковым мне была совершенно ни к чему, как ни к чему было её здесь вспоминать, мало ли что можно приплести к теме «Чужое», это же необъятная тема. Чужое — это же всё, что нас окружает... Впрочем, не надо преувеличивать: «Если бы всё вокруг для нас было одинаково непривычно, — сказал на том же вечере Слотердаик, — это означало бы, что мы сошли с ума». Всё-таки замечательная была у кого-то идея — «философская скорая помощь», я бы вызвал её Чигракову... Всё тот же Чиграков однажды дал мне почитать детскую книжку под названием «Флатландия». Фамилия автора была, кажется, Эббот, а имя его я не помню. Очень хорошая книжка. Топологическая рапсодия. Квадрат, наделённый сознанием и чувством юмора, перемещается в пространства других измерений, встречается там с обитателями этих пространств, кажется, в книге есть главы, посвящённые третьему, первому, четвёртому... Да — и не забыть нулевое измерение, это была замечательная глава. Там, в нуль-пространстве, жила, естественно, одна-единственная точка. Она прекрас-

но слышала слова, с которыми обращался к ней квадрат. Но она их воспринимала как свои собственные мысли! А в родном для квадрата втором измерении священными существами были окружности, на них там молились... Самыми интересными событиями были пересечения пространства одного измерения жителями другого. Как правило, это были редкие, достаточно случайные события, которые тем не менее зачастую становились отправными точками местных религий или, по крайней мере, были запечатлены в летописях, и поколения учёных потом ломали головы над их разгадкой... Эти описания Эббота были похожи на некоторые места из «Вселенной в ореховой скорлупе» Стивена Хокинга, где жители антимиров попадают на мембрану соседней вселенной и сразу с неё исчезают... Где-то посреди паузы в выступлении «квинтета» — между Гройсом, напомнившим нам о «Чёрном квадрате», и Слотердайком — о «Чёрном круге» и вообще обо всём круглом... Накануне вышел в свет последний, третий том Слотердайка, его *Magisterium Magnum* под общим названием «Сферы»... В голове у меня вдруг мелькнула догадка: Квадрат Малевича и Эббота — это на самом деле один и тот же субъект. Он живой! Разве не талкуют на такие мысли некоторые действия, которые Чёрный квадрат предпринимает в нашем измерении? Он, скажем, уже научился за себя постоять, достаточно вспомнить, что стало с Александром Бренером... Бренера за оскорбление Квадрата посадили в катажку. На целый год. Кажется, тоже в Швейцарии, где, скажем, Кулику, искусавшему живых посетителей, ничего не дали, в смысле срока, а выпустили той же самой ночью, что и привели (на цепи — как собаку) в полицейский участок. Опять же, недавно Борис и Вита Михайловы рассказывали мне, что они случайно узнали, что Бренер на каком-то сборище в Берлине собирается напасть на Кулика. Вита Михайлова, чтобы защитить в случае чего их друга Олега, перенесла из другого зала огнетушитель.

Незадолго перед этим Бренер плюнул в глаза Владимиру Сорокину... Обоих, то есть Кулика и Сорокина, он обвиняет в продажности, в измене святому делу раннего акционизма. Как будто не объяснил ему профессор Гройс, что «прогалина в бытии» суть «свободная ниша в рынке». Но вернёмся к Чёрному квадрату... Что Бренер, при чём тут Бренер, в конце концов, Бренер не сдался, а достаточно посмотреть на другого поднявшего руку на Квадрат великого человека, чтобы понять, насколько это всё опасно. Т. Толстая сначала описывает, каким лубочным маразмом (имея в виду Л. Толстого, познавшего «арзамасский ужас») становится попытка писать после встречи с Квадратом так же, как до неё. То есть попытка делать вид, что ничего не произошло. Толстая довольно точно всё это описывает, после чего... обрушивается на художников, которые «присягнули Квадрату». Получается, что она призывает их последовать примеру Льва Николаевича и впасть в лубочный маразм? Не замечая этого противоречия, она своим текстом являет нам ещё один пример человеческого бессилия перед Квадратом. Я в свою очередь рискую попасть в тот же ряд, в одной из глав «Параллельной акции» я уже попытался, топя ногами, расправиться с Йозефом Бойсом. Расплатой стало несвойственное мне и неуместное в моём тексте морализирование в конце главы «Бойсовский клуб». Название, которое, кстати, вполне подошло бы и к этой главе, особенно если переписать её так, чтобы мы с Чиграковым — стоящие под фонарём и готовые к схватке — оказались в центре повествования, которое вообще может пойти тогда другим путём... Скорее всего, из-за лени мне хотелось бы всё же закончить всё это мирно, то есть просто рассказать до конца об образах и видениях после прослушанных мною в Баварской академии изящных искусств песнопений.

Там выступал «квинтет», который я назвал философским, хотя на самом деле среди исполнителей были только два философа: Слотердаик и Гройс. Трёхтомник Сло-

тердайка, кстати говоря, предваряет надпись, сделанная Платоном над входом в Академию: «Если ты не геометр, держись отсюда подальше». Это, конечно, очень подходит для труда, в котором Слотердаjk с помощью геометрии «воспроизводит всю историю человечества». Первый том называется «Пузыри», второй — «Шары», третий — «Пена» (точнее, «Пены»). И всё это вместе — «Сферы». Кажется, что всё это подтверждает слова Квадрата из книги Эббота о сакральности круглых форм. Но может быть, это только так кажется. Во-первых, вы видите, что объекты, на которых написано слово «Сферы», на самом деле являются параллелепипедами — три тома-кирпича, как-никак... Квадратура круга? Слотердаjk в своей «Сферляндии» (не путать с книгой Бюргера, это я просто так, к слову) предпочёл «Чёрному квадрату» «Чёрный круг» (того же Малевича) — он есть на одной из иллюстраций, а изображения Квадрата нет нигде. Вообще, чтобы понять, насколько сферические формы завораживают Слотердаjку, достаточно прочесть, что «в тот момент, когда Гитлер (по воспоминаниям А. Шпеера) предложил вдруг над куполом нового здания рейхстага поместить не свастику, а сферу, означающую земной шар, в этот момент», пишет Слотердаjk, «и Гитлер был философом».

Изображения Квадрата в «Сферах», по-моему, нет, но в тексте Квадрат там присутствует. Слотердаjk говорит о неисчерпаемости его интерпретаций. «Квадрат», по его словам, напоминает о тщете всех других картин и призывает обратить наконец-то свой взор к тому, что происходит не на картинах, а здесь и сейчас... Я наконец отвожу свой взгляд от экрана лэптопа и вижу чёрный квадрат. Это экран выключенного телевизора. Я вспоминаю ещё одну картину. Мне шесть или семь лет. Накануне мы переехали на новую квартиру. В прямоугольный мир новых микрорайонов. Я впервые выхожу гулять во двор. Собственно, это ещё даже не двор, потому что ещё не построены соседние дома-коробки. Двор ещё не образован,

горизонт не закрыт, и вдалеке, таким образом, виден старый город — из которого мы приехали. И вот оттуда вдруг надвигается что-то тёмное, я помню, что вначале я почувствовал, что всё вокруг сжимается... В тот день над городом на самом деле пронёсся сильный ураган, с некоторых домов сорвало крыши. Сорвало крест с Благовещенского собора. Повалило тысячи деревьев. Всё это было в старом городе, до Салтовки, куда мы переехали, донёсся только отголосок. Просто сильный ветер. Единственное, что летало в воздухе, это был чёрный квадрат. Квадратный кусок фанеры летел вверх, при этом ветер почти утих, ураган прошёл стороной, выглянуло солнце — вот почему квадрат был чёрным... Это позже я услышал выражение «пролетать, как фанера над Парижем», а над Салтовкой в тот день парила не фанера... Он как-то странно перемещался по небу, не очень быстро и не очень медленно, я смотрел на него, задрал голову, пока за мной не прибежала мама и не увела меня за руку домой. Впервые я всё это вспомнил, читая книгу Эббота. В том месте, где квадрат шепчет заклинание (я не помню, может быть, он шептал это не себе, а кому-то, кого он учил путешествовать): «Вверх, а не на север! Вверх, а не на север!»

ЧАСТЬ 2

КАСТАЛИЯ — ЭТО СИЛА НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ!

Всё началось с того, что на мой след вышел так называемый «охотник за головами» (то есть «headhunter»), который был и не так чтобы уж очень молод и неопытен, чтоб не заметить, что у всадника, за которым он погнался, нет головы... Он свято верил в силу печатного слова, и мои дипломы, в том числе те, что были подписаны Биллом Гейтсом (полученный на мейкрософтовских курсах — где мы познакомились с Манфредом), перевешивали в его сознании мои откровения. Он подмигивал мне, поднимал кружку с пивом, мы чокались, и он в ответ на очередную мою историю из цикла «Будни кибернытика» говорил, что самокритика — это гут, юмор — вообще прекрасно, но он ведь свой человек и знает, что у каждой оборотной стороны медали есть и лицевая сторона... Я уже не знал, как ему доказать, что он на этот раз заблуждается... Мы сидели всё в том же «Holy Home», познакомил нас тот же Манфред, преследуя при этом, видимо, самые благие намерения. Я сам сказал Манфреду, что пора бы мне поработать, иначе жизнь моя превратится в полный хаос. Вот только найти бы в этот раз что-то более или менее гуманное, подальше бы от всех этих серверов с их клиентами... То есть поближе к клиентам и подальше от серверов, я даже думал, что Манфред подыщет мне какую-нибудь работу с людьми, подобную своей собственной... Но нет, вместо этого он наслал на меня охотника за головами, который после пятой или шестой кружки уболтал меня попробовать ещё один раз. Так случилось, что фирма... На самом деле это одна из самых больших финансовых групп Европы, некая безличная сущность, объединяющая в себе целый ряд страховых компаний и инвестиционных фондов... И я заметил, что я в последнее время часто в разговоре воспроизвожу последнюю фразу целиком, я говорю: «Я работаю в одной из самых больших финансовых групп

Европы...» Ещё никто меня не спросил, ну и что мне с этого? Но если бы кто-то спросил, мне нечего было бы ответить, хорошо, что я сам сейчас это осознал, это на самом деле смешно... То есть это типичная ситуация, когда фирма пользуется своим лейблом, внушая всем работникам, что они должны быть счастливы тем, что в ней работают. В нашем случае это происходит на каком-то уже параноидальном уровне: просыпаясь утром и включая телевизор, чтобы за завтраком послушать новости (я всегда начинаю смотреть новости, когда начинаю ходить на службу), я слышу фразу, которая и вдохновляет меня написать ещё одну главу: «Kastalia is the power on your side!»

Не далее как сегодня утром это прозвучало в рекламном блоке CNN, до этого я слышал лозунг по немецким каналам, ну и плакаты висят по всему городу... Бредовая идея — назвать финансовую группу «Касталией»... Хотя... Как в том анекдоте про обезьяну со шкуркой банана, дуря дурой, а свои десять баксов заработала... К тому же, если вспомнить одну из пословиц моего шефа-технократа (в НИИ, в Советском Союзе) о том, что «на четвёртые сутки после того, как закрывается Касталия, перестают ходить трамваи», если это вспомнить, то нельзя не признать, что как раз в случае «Касталии», в которой я теперь работаю, эта фраза имеет буквальное значение. Даже того, что известно мне (а мне, как маленькому человеку, видна, конечно, только малая часть этого айсберга), достаточно, чтобы сделать такой вывод: если завтра, не дай бог, наша «Касталия» закроется, останутся не только трамваи в этом городе... Это, кстати говоря, проливает свет на моё нежелание пойти туда работать... То есть возвращаясь к разговору с «охотником за головами» в «Holy Home», который оказался для меня судьбоносным, я хочу объяснить, почему, узнав название фирмы, в которую он меня хотел продать, я стал отбиваться с удвоенной энергией...

Я вспомнил выступление Жванецкого в мюнхенском политехе, в аудитории-амфитеатре, стоя где-то далеко

внизу, за кафедрой, Жванецкий сказал, обращаясь к русскоязычной аудитории: «Ваша задача — помочь той стране и при этом не развалить эту!» Не знаю даже, почему именно в устах Жванецкого эти слова прозвучали для меня особенно весомо... Может быть, есть доля истины в кажущихся безумными передовицах Проханова, с которых Жванецкий не сходит*, представляя в самых разных личинах, в том числе первых лиц государства... В общем, когда я услышал, что меня предлагают устроить в «Касталию», я воспротивился ещё сильнее, потому что фраза, произнесённая в Мюнхене Жванецким, соединилась у меня в голове с пословицей о Касталии, бывшей в обиходе советских «прорабов духа», к которым в первую очередь можно было отнести моего шефа... Тут снова необходимы некоторые пояснения... Легче это сделать на примере моей прошлой работы. Кстати, там это слово приходило мне в голову совершенно спонтанно, оно просто само собой напрашивалось, когда я смотрел на своих коллег... Вот там действительно были игроки в бисер, и я не занимаюсь сейчас никаким таким «обратным проектированием», я об этом правда думал тогда, глядя на своих коллег, я писал тогда об этом в письмах в Харьков... В моём отделе на прошлой работе было 25 человек, из них 20 были практически профессиональными музыкантами.

То есть параллельно с университетом они закончили консерваторию. Среди них были пять или шесть пианистов, виолончелист, оперная певица, саксофонист, тромбонист... Я до сих пор получаю от некоторых email'ы с приглашениями на концерт, а тогда, когда я с ними работал, приглашения приходили, опять же посредством электронной почты, хотя мы сидели в соседних комнатах, почти каждую неделю... Из запомнившегося — пьеса

* Даже не знаю, нужен ли тут update в 2011 году: с одной стороны, Проханов о Жванецком давно уже вроде как подзабыл, с другой стороны, Жванецкий выступает теперь по ТВ в роли «Дежурного по стране», так что ни добавить, как говорится, ни убавить, да.

Гомбровича «Помолвка», на которую нас позвал А., потому что режиссёр привлёк к действию целый симфонический оркестр, в котором А. играл на тромбоне, периодически из одного конца сцены в другой проходила колонна музыкантов, которые что-то играли, на ходу и как бы вразброд... Сцена окружала со всех сторон трибуну, на которой сидели зрители, и действие происходило сразу во многих местах, это было децентрализованное действие... Да, но при этом все музыканты (мои бывшие коллеги) были вдобавок выпускниками физического или математического факультетов... Я помню, что физиков было больше, и среди них несколько теоретиков, выбравших своей специализацией космологию и астрофизику. Выбравших в университете, а закончив его, все они пошли программировать в ТТQ — так называлась моя прошлая контора, и, я думаю, сказанного достаточно, чтобы читатель согласился со мной, что как раз она и могла бы называться «Касталией», во всяком случае, что у меня в голове не могла тогда же не возникнуть эта ассоциация, и я это не выдумал сейчас, задним умом, глядя на несколько другие лица моих нынешних коллег... К которым я в свою очередь отношусь с симпатией и вообще взялся это писать, чтобы сделать несколько вполне дружеских шаржей... Просто это другие лица, если их сфотографировать и написать под фотографиями «жители Касталии», это вызовет смех, а если бы это было написано под фотографиями моих бывших коллег, это было бы совсем не смешно... Впрочем, вполне может быть, что скоро «Касталия» будет уже для большинства людей в первую очередь названием финансовой компании (ну, примерно как Гоголь теперь для многих молодых людей — один из участников группы «Гоголь-Борделло»), а может быть, это уже произошло, я ведь общаюсь в неурочное время в основном с жителями другой Касталии и не знаю, что происходит в сознании трезвых людей... Скорее всего, это уже произошло, и значит, карточки такие, если их сделать, ни у кого бы не

вызвали смеха... Все то есть на своих местах, кроме, естественно, меня... Так вот, ещё пару слов о Касталии, о трамваях и о моей прошлой работе... Ещё там я понял, что вполне в состоянии быть исполнителем, об этом говорит и то, что я там проработал целый год. Но чего я не в состоянии был сделать — это впустить в свою голову всю систему, которую обслуживал наш отдел. Этой системой была, по сути, вся железная дорога Германии, я не хочу вдаваться в подробности, чтобы окончательно не перегрузить этот текст... Скажем, это была система, осуществлявшая непрерывные расчёты по всем линиям железнодорожных перевозок, по всем цепочкам деньги-товар-вагоны-грузы-стрелки-семафоры-деньги-билеты-грузы... После восьми, что ли, месяцев работы меня освободили на две недели от написания довольно стандартных модулей, которыми я до тех пор занимался, и дали примерно двадцать толстых папок, обёрнутых в чёрный коленкор. В них было подробное описание системы, надо ли говорить, что через две недели я знал о ней не больше, чем тогда, когда вообще не открывал эти папки, а может быть, даже меньше... После этой «самоподготовки» мне поручили писать другие программы, ничего в них сложного не было, я их написал, но... Я не смог их отладить. Потому что не знал систему. Ну и было ещё несколько побочных обстоятельств личной жизни, которые ухудшали моё и без того не очень склонное к задачам логистики состояние ума, я не хочу на этом сейчас застревать, в общем, я ушёл из той фирмы на вольные безработные хлеба, так и не сумев впустить в свою подкорку циркуляцию немецких поездов, и, может быть, именно поэтому они до сих пор, хоть и с запаздыванием (как отмечает, немного, впрочем, преувеличивая, Владимир Сорокин в недавнем номере «SZ»... статья, по-моему, так и называлась «*Wagun kommen die deutschen Züge immer zu spät?*»*) — Сорокин

* «Почему немецкие поезда всё время опаздывают?» (нем.).

писал, что задавался этим вопросом в далёкой Японии... «Сидя в привокзальном кафе “Unter der Linden” на вокзале в Токио, думаю о судьбах Германии...»), но всё-таки ходят.

Когда пару лет назад пошла череда железнодорожных аварий, я уже давным-давно не писал программы для железной дороги, потому что какой-то недоступный моему самоосознанию защитный механизм не впустил в мою голову содержимое страшных чёрных папок... И я поэтому не мог быть тем самым стрелочником, нет-нет...

«Мастер находить оправдания редко бывает мастером в чём-то ещё». Это тоже одна из пословиц моего бывшего шефа... Может быть, мне надо было бы стать адвокатом?

Нет, вряд ли я способен вызубрить назубок все эти параграфы... Пока что здесь, на новой работе, мне не надо вникать в систему глубоко, и это радует... Ещё два-три воспоминания с той, прошлой... Там у меня была шефиня, просто руководитель проекта, молодая девушка, недавно закончившая факультет информатики. Такие «чистые» информатики у нас были на вес золота, в основном, как я уже сказал, в фирме работали выпускники физических и математических факультетов. Моя шефиня довольно быстро поняла, что я не являюсь тем, за кого себя выдаю... Хотя за кого я себя выдавал? В диалоге при приёме на работу я сказал будущему начальнику о себе практически всё.

Я умолчал только об одном обстоятельстве: что я пишу прозу. Я бы и это ему сказал, если бы не прочёл у Сомерсета Моэма такой совет: «Никогда, ни при каких условиях, при приёме на работу нельзя говорить, что ты писатель. Ни один работодатель тогда не возьмёт тебя, потому что сразу поймёт, что голова у тебя целый день будет занята совсем другим...»

Это весьма безапелляционное утверждение Моэм делает в повести «Подводя итоги», и как-то сразу веришь в это... Впрочем, у меня был шанс испытать на себе пра-

воту этих слов, когда Б., с которой я тогда был в довольно близких отношениях и которая сватала меня в свою контору, на очень пристойную зарплату (она там работала секретаршей), спросила меня (как раз в ночь перед разговором обо мне с их шефом): «Скажи мне по секрету, всё-таки ты программист, который пишет, или писатель, который программирует?»

«Постель, — пишет Хавер Мариас, — это место, где мы выдаём все свои секреты».

Вот и я, не задумываясь, ляпнул, что, конечно, я писатель, который просто вынужден иногда программировать... Я думаю, что Б. даже не говорила после этого обо мне со своим шефом. То есть я почему-то полностью в этом уверен... Так вот, моя шефиня на прошлой работе, назовём её Бапси, почти сразу меня расшифровала. «Ты на самом деле не программист, — сказала она, — правда?» Штирлиц кивнул, потому что от Бапси, как от врача, не имело смысла ничего скрывать...

Впрочем, что я писатель, я не сказал, так ведь очень может быть, что я никакой и не писатель... «Это не страшно, — сказала Бапси, — плохо только то, что мне кажется...» — «Что?» — «Что ты это не любишь... А тогда тебе будет сложно». — «Но я постараюсь», — сказал я и на самом деле старался... Бапси не понимала, как может человек выбрать искусство в качестве основной профессии (мы говорили о моих друзьях)... «Как хобби, — говорила она, — это я ещё могу понять...» В отличие от наших играющих физиков и поющих математиков, у Бапси не было никакого другого образования и никакого другого хобби, она была чисто компьютерным фриком... Не знаю, была ли у неё личная жизнь, казалось, что компьютер заменяет ей всё, *Liebe und Hass**, also beides. «*Ich hasse das Zeug!*» («Не ненавижу!») — шипела она и подносила к экрану скрюченные пальчики, готовая, казалось, разодрать своими ког-

* Любовь и ненависть, и то и другое (*нем.*).

тями всю эту «benutzerfreundliche Oberfläche» («дружелюбную пользователю поверхность») на мелкие клочья...

После этого она откатывалась на стульчике на метр или два назад и там зависала в раздумье... А потом снова подъезжала к экрану, и пальцы её начинали стучать по клавишам со скоростью, я думаю, раз в двадцать превышающей ту, с которой я выстукиваю сейчас этот текст... После того как она призналась, что давно уже меня разочаровала (это было неожиданностью, потому что до этого она в основном меня хвалила), я думал, что дни мои в ТТQ сочтены... Но Бапси, похоже, ни с кем не поделилась своими умозаключениями, и я продолжал работать: брал из электронной библиотеки какой-то модуль, делал там предписанные изменения, подгонял под это дело пользовательскую «маску», «генерировал» всё это вместе и ставил модуль обратно на виртуальную полочку. Тихая, непьющая работа, сродни вязанию, по-моему, хотя я никогда и не вязал... Если Бапси видела, что я пошёл по программному древу в ложном направлении, она предупреждала меня, при этом употребляя всегда одно и то же выражение: «Dann kommst du in die Teufels Küche rein», «так ты попадаешь прямо в дьявольскую кухню», я вспомнил это, когда мы пошли всем отделом в салон с бильярдом, и в основном зале нам с Бапси не досталось стола, и мы пошли через кухню во двор — там в подвале есть ещё два-три стола, в таких мрачноватых кельях...

Это был «Шеллинг-салон», бильiardный, ну да... хотя играют там и в другие игры — в карты, например, и в нарды, в го... и даже — в пинг-понг (но в отдельном, очень маленьком помещении — туда надо пройти через двор), ну и в шахматы, разумеется... Всё это по вечерам, хотя одна шахматная партия видна и днём — над одним из бильiardных столов на потолке застыла партия, да, чёрные и белые висят вниз головой, тысяча восемьсот... какого-то там года — партия, я не помню сейчас уже, кто играл с кем, но там всё написано...

На обложке папки с меню написаны слова Шеллинга: «...я был заворожён бильярдом — этой игрой молчаливых мужчин...»

Что само по себе трогательно, конечно, умели философы формулировать... а если ещё вспомнить, сколько молчаливых мужчин побывали здесь, то слова Шеллинга кажутся... нет, не то чтобы вещими — «молчаливых» теперь, задним числом, надо брать в кавычки, конечно, помня сколько здесь побывало поэтов и — в первую очередь — ораторов... Но, так как есть склонность у туристско-обывательской фантазии, да... в определённых местах как бы автоматически превращать известных тамошних завсегдатаев — в призраков, которые там и сейчас играют друг с другом на бильярде... Я встряхнул головой и сказал себе, что это банально и пошло — это примерно, как плавать в озере в обнимку с лебедями, ну да, или как если бы... скажем, лица этих самых бывших завсегдатаев были бы здесь нарисованы на бильярдных шарах...

В разное время здесь бывали: Рильке (кажется, он и жил года два в этом доме — выше), Брехт, Штраус (Франц Йозеф, таскал отсюда папаше пиво ещё ребёнком), Хойс (Теодор), Марк (Франц), Кандинский, Братков, Хорват, Гитлер, Ленин... хватит?

И вот, когда мы зашли с Бапси на кухню, где возле чанов суетились две крошечные сказочные старушки, зашипевшие в наш адрес какие-то нечленораздельные слова, я сказал: «Знаешь, Бапси, кажется, это и есть Teufels Küche, которой ты меня пугаешь, когда я делаю ошибки в программе...» — «Stimmt», — кивнула моя шефиня, и мы прошли с ней через двор, спустились по лестнице в келью, и там действительно был зелёный бархат, над которым висела на длинном проводе «лампочка Ильича» (немецкие театральные режиссёры, по-моему, и по сей день называют её «лампочкой Брехта»), и свет и вообще — обстановка довольно странная даже для бильярда — кий другим концом иногда натыкался на стены, и я уж со-

всем плохо представлял, как можно играть в такой — другой такой же, рядом, тесной келье — в настольный теннис, но, судя по звукам, доносившимся оттуда, в него там таки играли, да... но эти странности были уже, конечно, ерундой по сравнению с *кухней*, и, разбивая шары, я, не в силах сразу побороть эту навязчивую пошлость, всё ещё мысленно был там, где сновали карликовые старушечки, кормившие Гитлера и Ленина...

Потом уже я читал, что фюрера, тогда ещё будущего, в один прекрасный день здесь отказались кормить. Долгов к тому моменту у него накопилось в салоне нематочно — он ел там несколько лет, и уже длительное время — в рассрочку, пока терпение хозяина не лопнуло. Гитлера выставили за порог, объявив бессрочный «Hausverbot», после чего он прошёл по Шеллинг-штрассе ещё метров сто и обосновался в этой «Остерии-Италии» с её горшочками красной герани на окошках...

Так что не надо бла-бла... не надо литературщины, всех этих «столетних старушек, кормивших...» Я вообще был не уверен, что они мне не померещились, и когда мы пошли обратно (я проиграл Бапси в бильярд и так никогда и не отыгрался, потому что впоследствии мы стали ходить всем отделом в боулинг), я думал, что их там уже не будет — померещились, но они снова там были, этикие «маленькие муки», ну да... злые (по крайней мере, снаружи) колдуньи из детской сказки... ей-богу, это было немало странно всё-таки.

А вот впоследствии я их не видел ни разу, а был я там за эти годы раз пять, наверно, или шесть, и каждый раз заходил специально на кухню... Последний раз — совсем недавно, играл там в бильярд с человеком, который, хотя он здесь же — не так далеко от салона, в Швабинге, как оказалось, и родился, в салон зашёл впервые в жизни, и прочитав там на стене (там в уголке на деревянной стене висит подборка старых газет) о том, кто там бывал, позже, уже во время игры, уже прицелившись, как бы пе-

редумав вдруг бить, воздел кий вверх и задался бессмысленным вопросом: «Но почему?»

То есть почему столько и таких разных «знаковых» людей как бы сошлись тут — в одном и том же месте?

Вопрос — в общем, бессмысленный, конечно.

Я знаю только, почему в «Шеллинг-салон» заходил Сергей Братков — просто потому, что я его туда и завёл. О чём, по-моему, никто впоследствии не пожалел. Я-то уж точно — потому что Братков мне потом прислал с мейлом мою фотографию... Да и он вроде тоже нет — потому что в заголовке мейла было написано: «Какое хорошее место!»

Это была вставка сейчас, чуть ли не 10 лет спустя, ну да, я публикую — «засвечиваю» некоторые кадры «Параллельной акции» в фэйсбуке, ну то есть маленькие фрагменты, не больше странички, с какими-то фотками, подходящими, как мне кажется, к короткой фэйсбучной истории, и вот этот «short story» я «засветил» там, естественно, с фотографией, присланной Братковым...

Возвращаясь в главу как таковую (публиковавшуюся, кстати, вместе с «Путешествиями чёрного квадрата» в «Русском журнале» (бумажном препринте), но не целиком, а вот до этой страницы (включительно, то есть до слов «это я уже не вспомню, как и имён всех своих сотрудников...»).

Наверно, в этой главе не стоит переходить от моей бывшей работы к нынешней, а досказать уже всё, что я хотел, о том времени, о тех людях... Люди, как уже понял читатель, были замечательные, но... Как кто-то сказал: «Хорошо быть святым... Но о святом романа не напишешь».

Это правда: мне в сущности нечего больше сказать о замечательных во всех отношениях бывших моих коллегах. Может быть, правда, причина отсутствия у меня в памяти воспоминаний о каждом из них конкретно связана ещё и с тем, что я тогда гораздо хуже знал язык. А они ещё

к тому же разговаривали на гораздо более сложном языке, чем язык моих нынешних сотрудников... Я опять-таки не хочу никого унижать за счёт кого-то, просто там, в ТТQ, говорили на языке, напоминавшем студенческие капустники на мехмате, это была непрерывная игра слов, что, согласитесь, для человека, который и так, как правило, не знал половины слов, участвовавших в игре, было не по силам. *Ich war also überfordert**.

Конечно, к работе это не имело прямого отношения, хотя из-за моей тогдашней языковой недостаточности меня не могли подключать к нашим клиентам-железнодорожникам непосредственно, ко всяким там «горячим линиям»... Но это вроде было и необязательно, всегда было кому взять трубку и без меня. Хуже было то, что я выбывал из игры словами во время кофейных пауз, которые у нас иногда продолжались и два часа, и больше. Кроме того, через день были «шампанские» паузы: если кто-то делал ошибку и при этом генерировал модуль и ставил его обратно в библиотеку, он должен был купить шампанское... Пенопластовый потолок в кухне на нашем этаже был весь во вмятинах от пробок... В общем, это было не худшее время, я помню, как, глядя на гудящий интеллектуальный улей, представлял себе, что они едят в свободное от кофейных пауз время не программы для поддержания системы ЖД Германии, а, скажем, гиперроман... Я думаю, наш отдел бы очень хорошо справился с таким поручением, само устройство программной библиотеки, которую они там у себя создали, инспирировало подобные фантазии... Модули обладали своеобразной иерархией, наивысшими в которой были так называемые «абстрактные».

Каждый программист обозначался двумя буквами, которые не всегда совпадали с его инициалами, просто мы знали эти обозначения наизусть... Если покопаться, мож-

* Это превосходило мои возможности (*нем.*).

но увидеть определённое сходство с моим текстом, nicht wahr? Есть у меня несколько абстрактных модулей, есть так называемые «шаблоны» («темплейты»), более низкие по иерархии, есть какая-никакая база данных...

Но я что-то ещё хотел поведать о бывших коллегах... Да нет, всё то же, это была как бы компания мехматовских отличников, к которой я ещё со второго курса в университете имел очень косвенное отношение. То есть я тоже был отличником, но, может быть, ещё и потому, что учился на отделении механики, я проводил с этими людьми всё меньше и меньше времени, а потом вообще расстался с ними на тринадцать лет — пока не встретил их в ТТQ, только теперь они все заговорили по-немецки... В них было что-то доброе и детское (как и в наших вечно юных мехматовских мальчиках), их тянуло быть в коллективе, играть в шарады и в шары (в боулинге), или в хоккей на роликах, или ездить вместе в горы... Надо признать, что с моими нынешними коллегами я стал пить ещё больше, чем с художниками, тогда как с программистами ТТQ мы вели здоровый образ жизни. Мы с ними ходили в горы, однажды я, правда, чуть не разбился, когда мы полезли на Бенедиктинскую стену, но «чуть» не считается, зато хорошо было, отдышавшись, пройтись потом по длинному узкому плато, с которого видишь сразу обе стороны мира, с одной — бесчисленные вершины до горизонта — это Австрия, а с другой — почти идеальную плоскость, на дальнем краю которой — тот самый Мюнхен...

Есть и другие отличия между теми и этими коллегами, несколько более глубокие, но об этом трудно сказать в двух словах, а может быть, и в двадцати главах об этом не скажешь. Будем посмотреть. Кто это так говорил? Тоже на работе, ещё в Союзе... Нет, это я уже не вспомню, как и имён всех своих сотрудников... Зато можно попытаться вспомнить один из первых рассказов, если не первый, написанный как бы с натуры, так же, как я собираюсь писать сейчас, сидя в «Касталии». Он не вошёл в «Школу

кибернетики», и в периодике его нигде не было, поэтому я его окину сейчас свежим взглядом и помешу здесь, а то он уже два раза пропадал, последний раз его нашёл в архиве мой коллега из другого цеха, писательского: «And the song from beginning to end, I found again in the heart of a friend». Здесь это не совсем точно, потому что писатель и редактор (журнала «Союз писателей») Юра Цаплин, конечно же, не знал этот мой первый рассказ by heart, просто он у него был в архиве. Через несколько дней я изменил конец, который в предыдущем варианте был не то чтобы совсем плох... Ну, просто плёнка начинала там крутиться в обратную сторону, Лера ехала на своей доске не под гору, а, наоборот, вверх, а я, легкомысленно расставшись со своей вменяемостью, бежал за ней следом и кричал, чтобы она немедленно остановилась, потому что я её, представьте себе, люблю.

КАНАТНАЯ ДОРОГА

Зарплату выдавали трёшками. Замусоленными жирными, и, судя по запаху, давным-давно скисшими. Получив свою порцию, Лера кинула её в нагрудный карман и долго не могла потом понять, откуда исходит запах.

— Что принимаешься, — спросила её Галя, с аппетитом поедая свой завтрак, — хочешь бутерброд? Я всегда к концу дня голодная.

— Нет, спасибо. Ты знаешь, не могу понять, что-то так пахнет... Как с помойки.

— Галлюцинации. У тебя скоро не такое начнётся. Нельзя же так, целый день не разгибаясь. Тебе что за это, зарплату повысят?

— Так получилось. Шеф попросил. Через три минуты звонок. Ты не хочешь со мной прогуляться? Кофе выпить?

— Хочу, но не могу. Лерочка, я бегу, у меня сегодня такое... Хочешь булочку, осталась свеженькая?

Лера шла мимо заваленных солнцем витрин, изредка покусывая усыпанную родинками булку и оглядываясь по сторонам красными глазами. Её обдул ветер, вырывавшийся из метро, и запах на минуту рассеялся, а потом она снова его услышала. И вдруг поняла, в чём дело. Она достала деньги и, брезгливо сжимая их двумя пальцами, подумала, что хорошо бы их выкинуть. «Всё равно это не деньги. Деньги не пахнут, денег нет и не будет. На бутерброды хватит аванса, а эти надо куда-то деть». Она вышла из перехода прямо к магазину «Спорттовары». Лыжи, коньки, гантели, лодки... короче, сплошное издевательство... а вот возьму и куплю, — подумала Лера и сказала:

— Дайте, пожалуйста, вот это.

— Что?

— А вот это, — она показала пальцем.

Войдя в парк, Лера перекусила тонкий шпагатик, открыла коробку и извлекла из неё красную доску.

— Тётя, можно покататься? — подскочил к ней мальчишка. Он почему-то не сомневался, что ему не откажут, и уже протянул руки.

— Можно, только я первая.

— Вы?

Лера спокойно, как бы со знанием дела, стала на доску и поехала. Сначала со скоростью пешехода, потом она стала ускоряться и вскоре исчезла. Мальчик нашёл её на боковой дорожке, лежащую возле кирпичного забора. Он вскочил на доску и, выехав на главную аллею, крикнул:

— Помогите тёте! Там тётя разбилась!

— Как разбилась? — поинтересовался сидевший на скамейке старичок, не отрывая глаз от шахматной доски.

— Упала. Вон там, — махнул рукой мальчик.

— Откуда?

— С Луны, — сказал мальчик, толкнулся ногой и уехал. Пенсионеры подобрали Леру и поставили на ноги. Она покачала головой, и резкость вернулась. Но когда старичок взял её за руку, она закричала и стала сползать на

землю. «Перелом-перелом, врача-врача», — заговорили вокруг.

— А вот же как раз больница, — весело сказал старичок и показал на забор.

— Так это ж обкомовская, — фыркнул другой старичок.

— Ну так что, что обкомовская? А если человек руку сломал? Сейчас перестройка, нечего заборами отгораживаться. Пошли, пошли, я им покажу обкомовская-обломовская, — и он потащил Леру за здоровую руку.

Медсестра вроде бы даже обрадовалась неожиданному развлечению.

— Следуйте за мной, — сказала она, и Лера пошла за ней следом по огромному коридору. Медсестра завела её в кабинет, сказала врачу, в чём дело, показала ему язык и не ушла после этого, а села в уголке, чтобы посмотреть травматический спектакль. «Конечно, потерпевшая влюбилась. Конечно, Гошенька — красавчик. Чёрная борода, умные глаза в благородной оправе. А ей за тридцать, инженер, или что-то в этом духе. Пергидролевая блондинка. Какая-то прибитая. На доске намылилась кататься! Кто-то у неё есть, вернее, она у кого-то, это тоже на ней большими буквами написано — такая табличка с надписью “Запасной вариант”. Но Гоше это и на фиг не нужно, так что можно спокойно сидеть и тащиться, как в театре», — думала медсестра. Врач смотрел Лере прямо в глаза и щупал руку. Так нежно, что не мог добраться до боли, хотя боль была почти на поверхности. Он со своими пальцами жил в другом слое, бескостном и мягком. «Надо сделать рентген, — сказал он, — так я не могу понять, есть перелом или нет».

Леру просветили и сказали, чтобы она ждала результата в кабинете врача. Сестра ушла, и Лера пошла сама, свернула не туда и заблудилась. Она не помнила номер кабинета и не знала, что теперь делать. В коридорах больницы никого не было. Она побродила по холлу среди растений, села в кресло и сразу захотела спать. Ша-

гов не было слышно, и Лера открыла глаза, только когда врач сказал:

— Где вы ходите? Снимок давно принесли, нет никакого перелома. Идёмте, вам сделают повязку.

Он привёл её в кабинет, оставил на попечение сестры и вышел. Лера чувствовала себя так, как будто её в чём-то разоблачили. Она достала пудру, но тут её позвала сестра и начала перевязывать руку. Один Лерин знакомый заметил, что Лера всегда, когда злится, начинает пудриться. «Мне даже кажется, что на самом деле всё наоборот — ты носишь с собой порошочек злости». Рассказав ей о своём наблюдении, этот знакомый исчез.

— Раньше надо было пудриться, — сказала медсестра, — теперь поздно. Темно, — и она чиркнула ножницами. Лера чуть не задохнулась. «Двигатель внутреннего сгорания, — думала она, выходя из больницы, не в силах успокоиться, — даже сигарету мне не зажечь». Сигареты лежали в сумке, но рука теперь была на привязи. Лера медленно брела по аллее, подбрасывая носком туфли опавшие листья. Ещё не совсем стемнело, но горели фонари, и на асфальте лежала густая чёрная сеть. Сеть вдруг начала шевелиться, и у Леры закружилась голова. «Пора домой, — подумала она, — включу телевизор. Всё равно день пропал, петляй не петляй». Она услышала скрип и постукивание где-то вверху, подняла голову и увидела, что по небу перемещаются кабинки.

Бока кабинок были тускло подсвечены, а внутри они были чёрными, как будто каждая везла порцию темноты. Несколько человек проплыло навстречу, и больше никого не было. Лера смотрела вниз на тёмные еловые волны и тихонько бормотала: «Баба Яга я, Баба Яга, и ступа у меня есть, только метлы не хватает. А вот и ребёночек, баю-бай». Она ласково поглаживала забинтованную руку. Потом стянула с волос резинку, запрокинула голову и, глядя на круглый клейкий месяц, медленно закрыла глаза. Дойдя до конца, кабинка нырнула в машинное отде-

ление, и Лера очнулась в чём-то подобном комнате страха в Луна-парке, только теперь не было никаких вспышек света, никто не выскочил из гроба, не застучал костями, кидаясь на неё с объятиями. Кабинка развернулась и поехала назад. И от этого простого манёвра у Леры возникло прочное ощущение, что и время потекло в другую сторону.

Весь следующий (никто кроме Леры ведь не знал, что тот же самый) день у неё на лице появлялась смущавшая сослуживцев улыбка. Больше она ничем себя не выдавала. Ей принесли чертёж, который она накануне переделывала, и сказали, чтобы она вернула ему «первозданный вид». Она стала молча чертить в другую сторону. И только когда Галя вошла в комнату с серым холщовым мешочком, села за стол шефа и стала вынимать пачки денег, Лера, не выдержав, промолвила:

— Это вчера...

Галя внимательно посмотрела на неё и сказала:

— Это — надбавка.

— Мне же не дали...

— Тебе никто и не даёт.

Через пять минут к Лере подошла Варвара Александровна и протянула ей пахучую стопку трёшек.

— Что это?

— Ты мне занимала. Спасибо, Лерочка.

— Не за что.

Лера оглянулась по сторонам. Вокруг неё были наклонные лица сотрудников. За окнами сонно ворочались два башенных крана. Сполохи сварки освещали тёмное обложное небо. Она перевела взгляд на свою руку, повернула её ладонью вверх. Голубая полоска вены у Леры переходила с запястья на ладонь и там продолжалась в виде линии жизни, похожей на русло пересохшей речки, увиденной сверху, с очень большой высоты.

ВЗГЛЯД НА РЫЦАРЕЙ БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

Когда мне не хватает немецких слов, я использую английские. Это ни у кого не вызывает протеста, кроме разве что моего «соседа по пальме». Стоит мне в разговоре употребить какое-то английское слово, как Франц отрыгает взгляд от экранной рутины, смотрит на меня ртутными глазами и... чеканя каждое слово, говорит:

— Я прошу не забывать: мы находимся в Германии.

«Если выбирать между красными и коричневыми, то тогда уже пусть будут коричневые», — буркнул он однажды после того, как полистал утреннюю газету.

После чего встал и вышел из комнаты, ему понадобился свежий воздух.

Франц — крупный, плотный мужчина предпенсионного возраста. В молодости он как-то долго служил в бундесвере, лет семь или восемь... Вспоминает это время Франц с ностальгической тоской. Непонятно, зачем он вообще ушёл из армии. Может быть, дослужился бы до генерала. А так должен сидеть целый день перед компьютером, да ещё в компании человека, о происхождении которого Франц старается просто не думать.

Как-то он в ответ на вопрос, откуда я взялся (вопрос задал кто-то из вошедших к нам членов руководства «Касталии»), поспешил вместо меня ответить: «Он — восточноевропейец».

Мне не очень-то по душе пришлось это определение: я им не «осси» и не «весси», — подумал я, — это овчарки есть восточноевропейские...

«Осси» (то есть бывшие гэдээровцы) для Франца, кстати, по-своему симпатичны, он говорил, что хотя они все ужасные шаровики и тунеядцы, но ввиду тамошнего расцвета неонаци он переменял отношение к ним. До этого он их всем скопом презирал за то, что они «ни черта не хотят делать, а он должен платить на них налог — на

поднятие восточных земель». Но оказалось, что всё ж таки не зря.

После того как в газетах началась кампания по дискредитации крайне правых, направленная, в частности, на запрет NPD (Национально-Демократической, суть фашистской, партии Германии) Франц умолк. Он перестал делать мне замечания, когда я вставлял в свою речь английские слова, кроме того, он затеял как-то в моём присутствии разговор со своим приятелем «с другой пальмы», который явно придерживается тех же взглядов, что и Франц. «Если бы Адольф победил, мы бы жили сейчас хуже, — сказал Франц и глянул на меня, — ничего хорошего бы не было...»

А потом он так же громко — чтобы долетело до моих ушей — сказал об Арафате: «Я удивляюсь, как они садятся за стол переговоров с убийцей! С убийцей нельзя вообще вести никаких переговоров...»

После того как процесс в конституционном суде в Карлсруэ против NPD провалился (просто оказалось, что почти всё руководство этой партии состояло из так называемых «V»-людей, то есть из агентов ведомства по защите конституции (Verfassungsschutz), Франц не то чтобы вернулся к прежним своим высказываниям... Нет, так далеко он пока не возвращался, и в разговорах его гнев направлен в легитимное здесь и сейчас русло — против Америки и Англии, против «англосаксонского варварства». «Представьте себе, пацаны, — обратился он к нам не далее как давеча, — прихожу я вчера в биргартен, а там за соседним столиком — английская семья. Целая семейка, да, и все они громко разговаривают на английском! Нет, вы только подумайте, какая неслыханная наглость, они приезжают к нам в Мюнхен, они идут в биргартен, сидят там и разговаривают по-английски, чёрт подери!» Видно было, что в глазах Франца нет на земле большего святотатства...

Но оставим на время старину Франца в покое, обратим взор к другим членам трудового коллектива. Или для

начала обедём взглядом наше замечательное пространство. Оно представляет собой зал с высоким потолком, с блестящим паркетным полом, но главное — с пальмами. Пальмы здесь являются не просто украшением, они *структурируют* пространство, как пробелы и комментарии — наши программы...

По всему залу расставлены пальмы, вокруг каждой — по три рабочих места, то есть компьютера... Никаких перегородок нет, никаких там «кьюбиков», кибиток, и в то же время никто никому не мешает... Мне вначале казалось, что пальмы не натуральные или что по стволам — под их густой шерстью — вьются провода, но нет, я пощупал ствол, и под этой густой жёсткой шерстью там ничего не оказалось. Ни лиан, ни проводов. Кажется, этот вид пальмы называется... Нет, не вспомнил... Но кажется, что в названии есть слово «футурус». Или «фортунус»... Ещё забавно, что в немецком есть идиома «это меня забросило на пальму», означающая «это меня страшно возмутило», и вот, значит, я периодически представляю себе, как бы это было буквально в наших условиях...

Кроме меня, Франца Крюгера и Кристофа Шатке, сидящих под одной пальмой, в нашем зале сейчас присутствуют ещё по меньшей мере двадцать человек.

Кристоф — абсолютная противоположность Франца. Он англоман, или точнее, он косит под американца, героя какого-то боевика, он даже говорит на своём родном немецком с интонациями бруклинского гетто...

Он пришёл позже, чем я, и Франц так же точно пробовал делать ему замечание, но Кристоф его послал.

Причём употребив то же самое выражение, из-за которого Франц и решил напомнить ему, где мы находимся.

Кристоф, работая, часто бормочет себе под нос, в основном это одна и та же фраза: «Go away!», в первый день Франц ещё не знал таких подробностей о своём новом коллеге, кроме того, он, очевидно, хотел показать мне, что его претензии к чистоте немецкой речи распространя-

ются не только на меня, но на всех без исключения. «Прошу прощения, Кристоф, — сказал Франц, — но я хочу напомнить: мы находимся на территории Германии».

Кристоф изумлённо поднял к нему глаза, секунду посидел с открытым ртом, заорал: «Go away!» и снова нырнул в свой экран, а Франц... взмыл на пальму.

Кристоф выписывает из США фильмы на DVD на языке оригинала, у него есть обширная фильмотека и домашний кинотеатр с биммером и огромным полотном-экраном.

Он смотрит весь трэш, который производит Голливуд, у нас уже было с ним два спора по поводу того, как можно «такое смотреть», и это напомнило мне, конечно, Чигракова из «Чёрного квадрата», не говоря о том, что, когда Кристоф подсказал мне решение одной задачи такими словами: «просто берёшь всё и сводишь в ноль» (имелся в виду нулевой столбец матрицы, на который её самое надо было умножить), это напомнило мне о супрематистах с их «0.1», и лозунгом «Сведём всё в ноль!».

Но я на время притушил свои чувства к голливудской продукции и всегда принимаю приглашения Кристофа посмотреть у него в домашнем кинозале очередной блокбастер, так что самобытный философ Чиграков был бы мною доволен. Кристоф выписывает фильмы из Штатов не только из-за желаний видеть «оригинальную версию» (Кристоф говорит, что до недавнего времени многие фильмы в Германии подвергались «обрезанию», особенно всё, что касалось сцен насилия), но ещё и потому, что так он может заполучить их на полгода раньше.

Благодаря Кристофу я впервые узнал, что весь мир поделён на секторы, которые отличаются друг от друга тем, что в них в разное время поступают в продажу те же самые фильмы.

Если бы не Кристоф, я бы вообще никогда не посмотрел такие шедевры мирового кинематографа, как «Государственный преступник номер один» и т. п.

— Никак не пойму, враг ты или друг, — как-то сказал Франц в начале нашего знакомства.

Когда же в газетах началась волна разоблачений коричневых, и Франц стал молчалив, я однажды повторил эти слова, переадресовав их ему... Он рассмеялся и сказал:

— Ну конечно же, друг!

Я помню, как он вводил меня в курс дела. Дело, которым мы все тут занимаемся, — это программы для страхования машин. Франц показывал мне, как устроены марки диалоговой системы страхового агента. При заполнении первой возникающей маски нужно было указать всевозможные данные... Франц выбрал в качестве марки машины — «хорьх»... Потом надо было указать цену, и Франц поставил: «100 000».

— Это же очень старая машина, — удивился я, — неужели она может столько стоить?

— А ты обратил внимание, что мы поставили в графу «тип машины» — «коллекционный»? Ты хоть знаешь, кто ездил на «хорьхе»?

— Нет, — сказал я.

Франц выпрямил спину, расправил плечи, посмотрел мне прямо в глаза и, выдержав некоторую паузу, сказал:

— Адольф Гитлер.

Я молча пожал плечами.

— Я надеюсь, ты знаешь, кто это такой? — сказал Франц.

— Нет, — сказал я, — кто это?

Франц смотрел мне в глаза, как будто пытаюсь что-то понять, при этом он сам побледнел.

— Гитлер, — произнёс он, наконец, — это величайший преступник всех времён и народов!

Мы с Францем даже не сразу поняли, что Кристоф явился к нам не просто так, а в качестве непосредственного начальника. Играющего тренера. Кристоф очень сильный программист, иногда у меня возникает вопрос, на кой чёрт вообще нужны фирме такие вот люди, как

Франц, который не знает отличия, скажем, между «процедурой» и «функцией», или я, который это знал ещё в четырнадцать лет, вот только с тех пор познания мои в области программирования дальше так и не продвинулись...

Можно сказать, что я ещё двадцать пять лет назад опережал сегодняшнего Франца на один шаг, но по сравнению с теми световыми годами, которые отделяют нас обоих от Кристофа, этот шаг является величиной бесконечно малой.

Я немного утрирую, преуменьшая свои теоретические знания и практический опыт Франца, но это только если рассматривать нас с ним в отдельности. Если же вместе с Кристофом, то я прав на все сто процентов, и мои знания и опыт Франца — бесконечно малые величины. Всё это объясняет тот факт, что Франц не может высказывать в адрес Кристофа никаких замечаний или претензий. То есть это объясняется не только служебной субординацией, но безнадежным отрывом в скорости мыслительных процессов. Франц с неизъяснимой грустью взирает в течение дня на стол Кристофа, заваленный бумагами, которые усеяны коричневыми — кофейными — пятнами и кругами, потому что Кристоф пьёт кофе, не отрывая глаз от экрана, и ставит чашку прямо на распечатки... Когда-то Франц попытался в очень мягкой форме, добродушно так, поинтересоваться, почему Кристоф предпочитает сидеть за таким столом. Кристоф ответил серьёзно. Он сказал, что он на самом деле так странно устроен, что для полноценной работы ему *нужно*, чтобы вокруг него был хотя бы какой-то минимум беспорядка. Почему-то это способствует его вдохновению. Хаос как *Eregungsobjekt*? (слово, означающее что-то вроде «катализатора творческого процесса», в пандан «Голубому салу» В. Сорокина, где оно часто употребляется, можно тут ещё вспомнить, что у Бальзака всегда, когда он писал, лежали в ящике стола гнилые яблоки — ему необходим был их запах), ну чёрт его знает, шутил он или всерьёз го-

ворил, может, и шутил, может быть, ему просто лень следить за бумажками, вытирать со стола кофе, подкладывать под чашку специальные кружочки... Однажды, придя на работу, я даже видел, как Франц втихую вытирает стол Кристофа. Уборщица делает это раз в неделю — протирает столы, но Франц не в силах был больше терпеть это зрелище.

— Я просто не могу на это смотреть, — сказал Франц, — душа болит.

В этот момент он мне был даже как-то по-своему симпатичен.

В нарочитой неряшливости Кристофа есть что-то показное.

Ну, как сидеть с ногами на столе...

Странно, что в одном «треугольнике», то есть под одной пальмой, сидят два таких антипода... Антипята, ну да, и я — в третьей вершине равнобедренного треугольника, посередине... Я не могу сказать, что Кристоф мне ближе, чем Франц. Даже при том, что у меня нет никаких иллюзий насчёт того, как выглядели бы наши с Францем отношения при другой ситуации в этой стране или в этом мире... Тем не менее смешной, туповатый и сентиментальный Франц, рассказывающий в сотый раз о том, как «янки засовывают в микроволновку кошечек на просушку», мне не то чтобы... Просто я отдаю себе отчёт, что он мне ближе по уровню развития некоторых участков коры головного мозга... Если не верить, конечно, что «глупость — это не отсутствие ума, а другой ум». Так мы говорили в своё время о гуманитариях, но даже если это и верно, я ведь так и не стал гуманитарием, да и сложить свою голову в экран и думать, что будешь умней... Я тоже больше не смогу, нет.

Пора, наверно, перестать посыпать голову пеплом и обернуться к другим сотрудникам, благо нет ни стен, ни даже перегородок, как в американских «кубиках», вокруг нас как будто размноженный зеркалами тот же са-

мый компьютерно-пальмовый треугольник, в вершинах которого — другие люди, если, конечно, существуют другие умы, а не один на всех ум и одна глупость... Один за всех и все за одного... Наш рабочий сектор состоит из восьми человек, начальник — Кристоф Шатке. Мы довольно часто собираемся в восьмером за другим столом — в биргартене (зачастую в «Хиршгартене» — в «Оленьем саду»), или, в случае дождя, в какой-нибудь «штубе», погребеке, в старом трактирчике с крышей. Кристоф невысокого роста, Франц примерно моего, все остальные выше меня. То есть рост моих сотрудников колеблется между двумя метрами и метром девяносто... Такі собі «хлопчики»... Все они при этом довольно прилично упитаны, и хотя сам я немалых размеров, в их присутствии (не тогда, когда они сидят под другими пальмами, а когда мы с ними за одним столом, заставленным «масами», то есть литровыми кружками) я чувствую себя каким-то малышом, моллюском...

Мне каждый раз кажется странным, что эти мальчишки помещаются в свои BMWушки.

У всех в нашем секторе BMW (не считая меня), у Франца — единственного — не машина, а мотоцикл с верхом, но тоже BMW, то есть как бы отрезанный от BMW ломоть, на котором он ездит на работу «bei jedem Wetter!»*.

У всех остальных — полностью закрытые жестяные коробочки с бело-синим шахматным кружочком на капоте, в которых они перемещаются на огромной скорости и вне зависимости от содержания алкоголя в крови. Все они любят тяжёлый рок, как правило, если меня кто-то подвозит, в машине гремит «Металлика» или что-то в таком духе. Быстрее всех ездит Кристоф, причём в ситуациях, когда машины впереди смыкают свои ряды и лишают его возможности их обогнать, Кристоф задирает голову вверх и ревёт, как раненый зверь. Точно так

* При любой погоде! (Нем.)

же он ревёт в случаях обнаружения ошибок в программе, неважно, ошибки ли это его подчинённых или его собственные.

— Может, я пропущу? — сказал я. — У меня на вечер были другие планы.

— Go away, — сказал Кристоф, — I mean, come on, fuck. It's out of fucking question at all. (Что в данном контексте означало примерно: «Пиздуй туда и не пизди».)

— Всё заказано, на каждого персонально, — сказал Кристоф, — будет всё руководство. С какой это стати ты не пойдёшь? Я ведь спрашивал всех три недели назад, ты тогда ответил «да»!

— Ладно, я же не знал, что это так важно, — сказал я.

— А пропуск ты сегодня случайно не забыл? — сказал Кристоф. — Пускать будут по пропускам.

— Я забыл, — сказал я, — как назло.

— Тогда вот что: выйди из здания и снова войди, — сказал Кристоф, — утром они тебя пропустили, потому что узнали, а теперь там другой охранник, он даст тебе временный пропуск. Он тоже годится для рыцарской еды («Rittersessen», — сказал Кристоф).

— Чего-чего? — сказал я.

— Ritters Fr-gessen, — прорычал Кристоф («Fressen» означает «жратва»), — ну что я тебе буду рассказывать, сам всё увидишь!

Я спустился на лифте, вышел из здания, немного побродил по улицам, позвонил С. и сказал ей, что поход в «Каммершпиле» (театр) на сегодня отменяется. Потом я вернулся в здание, на проходной вахтёр действительно молча, без всяких лишних вопросов выдал мне временный пропуск — магнитную карточку. Которая отличалась от моей постоянной только тем, что на ней не было фотографии. Ну и фамилии тоже не было, это был как бы пропуск человека без имени и без лица. Наши пропуска одновременно являются и продовольственными карточками (Fresse — это, кстати, ещё и «физиономия», «мор-

да»), их можно «заряжать» деньгами в специальных автоматах в кастальской «кантине» (столовой), наверное, и такой вот «безликий» пропуск можно было зарядить, но я в тот день уже не хотел есть, и кроме всего прочего — нас же ожидала «большая жратва». Это я предполагал, зная уже достаточно о вкусах и нравах «кастальцев». Но то, что нас ожидало в действительности, превзошло все мои представления.

Мы немного опоздали с Кристофом, поэтому когда нас, после того как мы предъявили пропуски (мой не вызвал у охранников и тени сомнения, как будто... там был мой истинный облик), провели сквозь парусиновые сени в гигантский шатёр, там все или почти все уже сидели на своих местах, и это совершенно баснословное зрелище заставило меня пожалеть, что у меня нет фотоаппарата.

В огромной палатке (величиной, скажем, с павильон на Октоберфесте или советский киноконцертный зал) сидели тысячи программистов «Касталии».

Программисты «Касталии» — а это тысячи людей, работающие в разных достаточно далеко удалённых друг от друга зданиях, в разных частях города, — в этот день все вместе были собраны в палатке, возведённой на поляне возле штаб-квартиры. То есть за сотней-другой бесконечно длинных столов сидело просто-таки неисчислимое множество кастальских программистов, при этом не то чтоб ни у кого из них не было лиц... Но каждый был повязан большой белой салфеткой, фактически фартуком, начинавшимся сразу же под подбородком, а программист, на котором остановился мой опешивший взгляд, натянул шутки ради эту салфетку и на лицо, растопыренными руками пугая свою соседку.

Ряды этих белых человеческих холмиков уходили в бесконечность.

Над многими виднелись совершенно голые, отполированные вершины. Оказалось, что в Касталии гораздо больше лысых программистов в цветных очках, чем я ду-

мал, пока мои знания о них не распространялись дальше нашего здания.

Нет, ну не подходит это зрелище для передачи его вербальным способом, я чувствую, что сигнал не проходит... Просто я подумал, всё это увидев, в первый момент, что *ich bin nicht ganz dicht* (я не в своём уме), фартуки-салфетки были такие большие, что напоминали скорее смирительные рубашки, тут же на входе в шатёр нам с Кристофом повязали такие же... После чего подали чашу для омовения рук, я хотел было сказать, что руки-то связаны, но, попробовав пошевелить ими, понял, что они свободны. После этого нам в руки дали охотничьи рожки, и мы с Кристофом выпили из них что-то похожее на медовуху. Только после этого нас препроводили к столу.

На столе не было никаких тарелок, никакой еды, перед каждым программистом лежали только два предмета: деревянная доска для резки хлеба (я ещё не знал, что доска предназначена и для всего остального) и нож с деревянной же рукояткой. Я взял его в руку, нож был серьёзный. Совершенно новый, рукоятка пахла свежей древесиной, лезвие было длинным и сильным. Скорее это был не нож, а кинжал, кортик...

— Мы пропустили вводную часть, — сказал Кристоф, пошептавшись с Маркусом — Небольшой экскурс в историю средневековой кулинарии, вопросы рыцарского рациона... Всё, что нам предложат, было изготовлено в точности по рецептам какой-то легендарной придворнойстряпухи, жившей в XVI веке. Ну или в XV, я думаю, для тебя это не играет большой роли, как и её имя. В общем, суть в том, что рыцари в то время ели и пили до тех пор, пока не падали под стол. Под столом они дрыхли, дрыгая во сне ногами, потом вскакивали на коней и ехали дальше рубиться. Баланс калорий таким образом соблюдался, но вот как мы с тобой будем сжигать эту сверхкалорийную пищу, я понятия не имею. Я просто был уже на подобном действе, но не в таких масштабах... Кстати, я те-

бе говорил, что мои предки производили отменное вино, а потом один из них продал завод, и кто-то до сих пор делает это вино, я видел бутылки с моей фамилией и семейным гербом...

Оказывается, рыцари всё ели ножом. Еда лежала на деревянной доске. Иногда они помогали себе хлебом. С этим несложно было справиться, особенно вначале, первые блюда представляли собой заячьи и ещё какие-то... Может, и соловьиные — паштеты, ну да... Пиво разливалось в маленькие глиняные кружки, тёмное молодое кройтер-пиво с необычным вкусом, хлеб был тоже не простой, немного тминный и в целом отменный, и, поедая третий или четвёртый бутерброд, я поймал себя на мысли, что в средние века было совсем не так уж и плохо...

Если бы я знал, сколько нам предстоит блюд, я бы так не налегал на закуски. Когда принесли суп, я спросил одетого в красный камзол «слугу», как можно есть суп ножом.

— Не ножом, а стилетом, — сказал он, — это стилет. Но суп едят не стилетом — суп выпивают прямо из пиалы. А потом куски мяса едят руками, — всё это он сказал с очень серьёзным видом, и я не стал, выпив суп, колоть куски мяса стилетом, а сразу сделал, как он сказал, — отправил их себе в рот вот именно руками...

Кроме официантов и официанток в красных и зелёных камзолах и парчовых платьях тут и там сновали кучки бродячих фокусников, вагабундов, миннезингеров, или майстерзингеров, или чёрт его знает, кого... Они бряцали на лютнях, пели песни, казавшиеся вполне аутентичными, иногда освежали кого-то из гостей с помощью деревянной штуки, похожей на гребень, — с её помощью они брызгали в лицо осоловевшего рыцаря холодной водой...

Выпито уже было очень много, хотя кружки в средневековье были маленькими, не чета современным, но пили их одну за другой, а как только замечали, что кувшин пуст, делали знак слуге, и тот приносил новый.

— Go away! — кричал кому-то Кристоф. — Go away!

Официантка подумала, что это он ей, и хотела было пройти мимо, но Маркус схватил её за руку и сказал, что Кристоф кричал это не ей и вообще в его устах это значит совсем другое.

— А что это значит? — спросила красивая средневековая подавальщица, ставя кувшин на стол.

— О, это имеет бесконечное число значений. Вплоть до признания в любви.

— Go away! — закричал Кристоф.

Я подумал, что Кристоф сейчас похож на янки из Коннектикута при дворе короля Артура. И сказал ему об этом. Он рассмеялся.

— Auf die Gesundheit! — сказал Франц и поднял кружку. Ещё в начале трапезы он сообщил нам, что в средние века германцы не говорили «Prosit», а только «На здоровье». «Странно, — подумал я, — а в России до сих пор... Что, конечно же, не означает, что в России сейчас средние века, которых раньше не было...» Я вспомнил, как в советское время один француз преподавал в Харьковском университете, и после первого своего посещения Москвы, отвечая мне на вопрос, что ему больше всего там понравилось, он сказал: «То, как ваш государственный флаг в XX веке подошёл к вашей средневековой архитектуре...»

— Смотри на Франца, — прошептал мне на ухо Кристоф, — нет, ты только посмотри на него, это же всё как будто специально для нашего пассажира, я никогда не видел, чтобы у него были такие добрые глазки. Он разомлел. Он в своей тарелке! Как будто мы все тут у него в гостях, скажи?

— Мне кажется, он бы с большим удовольствием перенёсся в несколько другое время...

— Одно другое не отменяет. Да вообще, всё это ерунда. Если бы Адольф не был зажат («verklemmt»), — сказал Кристоф, — ничего бы не было, никаких этих бредовых его идей... Если бы он мог каждую ночь трахать новую тёлку, никакой войны вообще бы не было, поверь мне. Ты зна-

ешь, что у него было одно яйцо? И от этого сбои потенции. Сейчас всё этим объясняют, не смейся, это серьёзно, все остальные его аффекты, так что не надо думать, что это какая-то тёмная там злая сила, метафизика...

Услышав это, я поневоле вспомнил, что не так давно Кристоф, тоже по пьяни, после десяти, что ли, кружек в биргартене, начал рассказывать мне о нюансах своей либидозной сферы...

— Знаешь, — сказал он, — а я ведь никого никогда нормально не трахал, кроме жены. С которой познакомился ещё в школе, и переспал с ней скорее из любопытства. И так всю жизнь с ней это и делаю. А с другими не получается никак, да и не тянет... Скажи мне, я ненормальный, да? Нет, честно? Как ты считаешь, это нормально?

— Ты абсолютно нормален, Кристоф, — сказал я. По-моему, я ещё процитировал то место из «Доктора Фаустуса», где муж, попробовавший в городе изменить жене с «девкой», терпит фиаско, возвращаясь, стучит на собственную жену, и её сжигают, объявив ведьмой — она-де его заколдовала...

Но странно было то, что теперь тот же самый Кристоф выводил весь Третий рейх из одного яйца... фюрера. Я подумал, что это на него так влияет безумная обстановка, да и вообще он уже пьян, но Кристоф, как будто видя мои мысли, серьёзно сказал:

— Поверь мне, я знаю, о чём говорю.

— Верю, — сказал я. Я не стал ему, конечно, напоминать о его недавних откровениях, я только усмехнулся про себя, подумав, что логические построения, при помощи которых Кристоф не то чтобы попытался оправдать, но как бы призвал понять Адольфа, таким образом (если бы я напомнил Кристофу его же слова трёх- или четырёх-недельной давности), рассыпались бы в пух и прах.

Кристоф, впрочем, ещё не так стар, ему нет и сорока.

Но он уже точно не станет Гитлером.

Он, по его словам, вообще не собирается стареть.

В сорок лет он покончит с жизнью. Такой у него план. Он даже рассказал нам своими словами — как именно. — Я бы хотел сброситься с моста. Нет, послушайте... Я хотел бы стоять на мосту с длинноногой красивой тварью. Притянуть её, крепко прижать её к себе на прощанье, потом оттолкнуть, сделать шаг, перепрыгнуть через перила... Хорошо бы ещё, чтобы за мной осталось миллионов десять долга! Вот так я всё это себе представляю...

— Я одного не могу понять, — сказал Франц, — почему ты хочешь оставить долг? В чём тут смысл? Это же будет на твоих близких...

— А в том-то и дело, — сказал Кристоф, — что мне это уже будет абсолютно по сараю!

Сосед справа от меня куда-то ушёл, а потом и следующий за ним, наверно, пошли к своим знакомым коллегам из других зданий. Большинство белых холмиков было по-прежнему неподвижно (включая меня самого), но были и свободные электроны, некоторые программисты переходили то есть из ряда в ряд, подсаживаясь к своим привычным собеседникам, или, наоборот, непривычным... Рядом со мной вдруг оказалась женщина в синем дырндл.

— Откуда ты? — спросила она, я сказал, что из Украины. Несколько минут мы обменивались стандартными для меня вопросами: чем отличается украинский язык от русского и т. п.

— У меня есть одна подружка из России, — сказала женщина, — очень хорошая подружка. Но знаешь что странно? Она ужасно суеверна. Не свистеть, с утра не петь, от свечи не прикуривать... Просто какой-то ужас! Что, все русские такие?

— Почти, — сказал я, — но я не такой. Вот я сижу тут и ем с ножа. А в России это плохая примета.

— А что она означает?

— Я не помню. Наверно, что кого-то не станет... А может, просто к драке, которая неизвестно чем кончится...

— Да? Но ничего, ты кушай, кушай... Настоящий рыцарь должен есть с ножа!

Девушку сорока лет в синем платье, которую какими-то ветрами занесло за наш стол, звали Лорой. Она сказала, что не могла больше слышать, как её сослуживцы обсуждают «Формулу-1», и решила немного прогуляться по залу. В ней было что-то приятное, домашнее, я бы охотно продолжал с ней беседу, если бы не почувствовал вдруг, что ещё немного, и я лопну. Просто лопну, в буквальном смысле, как люфтбаллон... Блюд к тому моменту мимо нас, а точнее — в нас, прошло немеряно, между мясными (целые поросята на огромных деревянных досках) шли такие же огромные подносы, но с сыром всех оттенков и степеней прочности, потом опять какие-то паштеты, перепёлки... Поэтому я вынужден был извиниться перед девушкой, я встал и пошёл искать уборную, где после малоаппетитных, но неизбежных в таком случае действий мне стало существенно легче, я вымыл руки, лицо, но когда я вернулся в зал, Лоры за нашим столом уже не было. Более того, я не нашёл её и в зале, как ни искал, и тогда, не попрощавшись со своими коллегами, я направился к выходу, надеясь догнать её по дороге к метро. Хотя — кто сказал, что она пользуется метро... Но, может быть, машина стоит рядом...

За пределами шатра шёл ливень, я отшатнулся назад, один из охранников указал мне на высокую железную корзину, из которой, как клюшки для гольфа, торчали рукоятки зонтиков. Я взял один, раскрыл. Он оказался большим и очень добротным. Надо ли говорить, что на нём готическими жёлтыми буквами было написано «KASTALIA».

«Касталия, — бормотал я, тщетно ища в мокрой темени (впрочем, были просветы, край обложного неба казался близким, а время оказалось не таким уж и поздним) синее платье, — это сила на твоей стороне, Касталия — это крыша над твоей головой...» Я не был у Кастальских

вод, не видел муз воочию, но здесь из бочки пена бьёт, и всё такое прочее! — уже почти напевал я себе под нос кантату «Весёлые нищие», подходя к станции метро, которая (станция) здесь оказалась надземной. Я был не столько пьян, сколько переел и чувствовал себя плохо, хотя и не так катастрофически, как до посещения клозета. Мне было жаль немного, что синее платье я так и не нашёл, я бормотал про себя какие-то слова...

Цум байшпиль, бушевала глаукома, чума, холера...

Был ли это пир во время чумы? Но девы Розы... Или Лоры... Мы не выпили дыханье.

Но самое обидное — это то, что я потерял, забыл в электричке замечательный кастальский зонт. Я давно уже страдаю своеобразной болезнью — я сплошь и рядом теряю зонты, средняя продолжительность жизни одного моего зонта редко бывает больше одного месяца. Часто это бывает один-два дня... Покупаю, раскрываю, куда-то еду и — забываю. В электричке, в кафе. В кафе иногда ещё можно вернуться, найти... А недавно я ехал по эскалатору и в то же время раскрывал очередной зонт (в отличие от кастальского, он был складной), и у него оказался такой хороший механизм, такая то есть сильная пружина, что, распахнувшись, он одновременно вылетел у меня из рук, пролетел два или три метра, приземлился в раскрытом виде на ступеньки соседнего эскалатора и поехал в обратную сторону.

ЧТО-ТО ВРОДЕ КВАРТИРАНТА

Прежде чем он попал в моё повествование, я встречал его однажды в компании друзей.

И потом ещё раз, случайно, в городе... В квартире моей он прожил всего четыре дня, после этого я его, так сказать, попросил. Он бы, конечно, был не прочь жить у меня и дальше, а в повествование, я не думаю, чтобы он уж

слишком стремился... Скорее наоборот, узнав, что я по жизни кое-что стараюсь записывать, он слегка встревожился.

Но попробуем по порядку. Первый раз я встретил его в «Эгон-баре», в компании знакомых художников. Звали парня Геша, он был родом из украинского городка Л.

Он всё время мотался туда и сюда, что-то привозил, что-то увозил, надо было полагать, что-то на этом зарабатывал. Всё это я узнал от него самого, когда он на время у меня поселился. До этого, за полгода примерно, я встретил его в городе. «Привет, — сказал он, — старичок! Узнаёшь меня? Мы пили вместе в этом, как его... В “Эпигоне”, помнишь?»

Мне не понравился его панибратский тон. Но я сказал, что я его помню. «Я уезжаю, — сказал он, — а тут такой концерт будет... В общем, слушай сюда, группа называется Coins Dance, ты такого не слышал вообще никогда...»

Я хотел сказать, что слушал эту группу, когда он ещё пешком под стол ходил, но я не успел это сказать. Назвав мне точный адрес и время концерта, Геша по-отечески похлопал меня по плечу и сказал: «Ну всё, старичок. Прости, но у меня дела. Сходи на Coins Dance — не пожалеешь».

Глядя на его удаляющуюся спину, я думал, что больше никогда его не увижу.

А если даже увижу, то сделаю вид, что не увидел.

Но всё получилось по-другому: подходя как-то к своему подъезду поздним довольно-таки вечером, я увидел, что кто-то совершает непонятные мне манипуляции с новым велосипедом моей соседки. Причём, бросив на меня короткий взгляд, лысый парень в кожаной куртке как ни в чём не бывало продолжил свою борьбу с велосипедным замком...

Вообще-то я не воспринимаю велосипедных воришек как преступников. Я понимаю, что это как бы разновидность спорта или что-то в таком роде. Но во-первых, незадолго до этого у моего сына украли уже третий велосипед,

на этот раз тот, что я ему подарил, и это дало мне почувствовать, что это, может, и нельзя сравнить, скажем, с конокрадством... но для жертвы это тоже достаточно болезненное событие.

Кроме того, соседка, велосипед которой на моих глазах пытались увести, мне с какого-то времени казалась всё более симпатичной... В общем, вовсе не потому, что я такой уже слуга закона, а скорее из-за указанных полувразумительных причин, я решил на этот раз вмешаться. «Это не ваш велосипед!» — сказал я. Я был уверен, что после этого воришка (невозможно назвать человека, крадущего велосипед, «вором», это, конечно же, именно воришка) бросится бежать... Но я ошибся. Для начала он послал меня подальше, матом, по-русски, а когда я подошёл к нему вплотную, он вдруг рассмеялся мне в лицо и... назвал меня по имени.

Тут я его узнал... Я бы узнал его и в первый момент, если бы он не сменил причёску. Теперь он был совершенно лысый... Я машинально отметил, что у него довольно красивая, не совсем обычная форма черепа... Ростом он был с меня, телосложения не так чтобы атлетического... К тому же он был очень пьян... «Слушай, проходи подобра-подзорову, — сказал он, — зачем нам этот цирк, ни к чему он нам, так что вали, старичок, давай, проходи своей дорогой...»

Я сказал, чтобы он сам валил, что это велосипед моей знакомой. «Что, твоей подружки?» — уточнил он. «Нет, — сказал я, — но какое это имеет значение... Я сказал: оставь в покое велосипед». «Хуя, — сказал Геша, — это очень классный байк. Мне давно такой заказывали. Так что вали, вали, вали...» И он попытался меня не то чтобы свалить, наверно, всё-таки, но — толкнуть, а я дёрнул его за руку, и он едва не упал... Он устоял, но этот мой незаконченный «перевод в партер» полностью вывел его из равновесия в другом смысле — он попытался меня ударить. Я отбил его руку и как-то автоматически, чисто маши-

нально, ударил его ребром ладони по шее... Не сильно... После чего он упал на землю... Я не ожидал такого эффекта, мне стало вдруг не по себе... Мне показалось, что у меня дежа вю, да... но потом я понял, что это на самом деле было со мной — в детстве, я вспомнил: двор, наш огромный двор, рядом ещё незастроенный микрорайон, только фундаменты домов, катакомбы, в которых мы играем в индейцев. Самые главные предметы: томагавки, луки, стрелы, ножи... Там же, среди белых фундаментов и чёрных котлованов, мы метаем ножи в деревья, кто-то подарил мне, или я выиграл на спор, какую-то волшебную стрелу, она очень лёгкая, из бамбука, с каким-то необыкновенным наконечником, она летает немыслимо далеко, неважно, какой у тебя лук, даже если самый простой, малейшее вздрагивание тетивы посылает её к горизонту... да, эта стрела летает как-то совсем по-другому, чем у всех, такого нет ни у кого... Я запускаю её в воздух, на этот раз прямо возле нашей девятиэтажки, и все бегут вслед за ней, а я за ними следом. Первым до неё добегают Алик Твердохлебов, сосед с четвёртого этажа, он хватается мою стрелу и... со смехом ломает её об колено. Оказывается, она совсем не такая твёрдая, как я думал... Он ломает её, как спичку. Добегая до него, я бью его ребром ладони куда-то в шею, и он валится на землю как подкошенный. Этого я не ожидал, я просто в ярости ударил его, и всё, зачем же так падать, мне кажется, что он притворяется... Из подъезда выбегает его отец, мчится ко мне, хватается меня и начинает трясти, повторяя: «Кто тебя этому научил, кто тебе показал этот удар? Ты понимаешь, что ты наделал? Нет, ты мне скажешь, кто тебе это показал, ты мне скажешь, скажешь...» Всё это странно, я думаю о том, что ему следовало бы схватить своего сына прежде всего, я же никуда не убегу, никуда не денусь, а сын его лежит на земле, а он вместо этого пытается вытрясти из меня какие-то признания... Мне нечего ему сказать: «Никто, — кричу я, — мне ничего не показывал. Вы с ума сошли! Я про-

сто его стукнул за то, что он сломал мою стрелу, отпусти-те меня!» Я не помню, чем это тогда кончилось, встал ли Алик Твердохлебов сам... Да, по-моему, он сам поднялся, и это успокоило его отца... Мне действительно никто никогда ничего такого не показывал, это была чистая слу-чайность, если Алик вообще тогда не притворялся...

И вот я обо всём этом передумал тридцать три го-да спустя, глядя на неподвижно лежавшего на земле Ге-шу. Он, я почти что был в этом уверен, — работал на пу-блику. Хотя публики-то никакой и не было... Всё равно, он просчитал всё, что будет, и это его вполне устраива-ло. «Кто его знает, — подумал я, — а если я действительно и тогда и сейчас случайно попал в какую-то точку... Что с ним делать? Вызывать врача? В итоге меня ещё и поса-дят... Лучше занести его в дом, сделать какие-то компрес-сы... Если что, позвать соседку, ту самую, у которой он пы-тался украсть средство... передвижения... Не поэтому, ко-нечно, просто она студентка медицинского, что-нибудь да... придумает...» Я уже взял при этом Гешу под мышки и поволок к подъезду. Это было нелегко: «Кончай притво-ряться!» — сказал я, но он на это никак не прореагировал, и мне ничего не оставалось делать, как тянуть его даль-ше, заносить в подъезд, а потом и в квартиру. Благо я жи-ву на первом этаже.

Таким образом Геша попал ко мне в дом. Где он тоже не сразу пришёл в себя или не сразу перестал валять ваньку, какое-то время он лежал на моей тахте совершенно не-подвижно, я щупал пульс, прикладывал к его лбу мокрое полотенце... «Как это похоже на то, что тогда было с Твер-дохлебовым, — думал я, — кто-то говорил мне, что в се-рьёзных драках весь секрет в так называемых эпилепто-идных состояниях, но больше я ничего про это не знаю, слышал звон, но не знаю, где он... И к кому это относит-ся, к жертве или... К преступнику. Или в этих состояни-ях нет разницы...» Вот такой в голове у меня проносился полный бред, из-за того, что эпизод был связан с тем, дру-

гим, с детством, я заметил, что это как-то сковывает и моё тело, что я пребываю в каком-то оцепенении... Я даже подумал, что вот сейчас мы с Гешей поменяемся местами, и я буду лежать неподвижно, а он тем временем обчистит мою квартиру. Хотя тут же я вспомнил, что квартира моя так чиста, что дальше просто некуда.

То есть красть у меня нечего, а так как на душегуба Геша как-то совсем не походил, даже в лысом варианте, то и бояться мне было нечего...

Я не знал тогда, что Геша будет представлять для меня другую угрозу — прямо противоположную. Не то, что он мог что-то вынести из квартиры, было опасно, а то, что он мог туда внести.

Через пару дней после вышеизложенного инцидента Геша стал предлагать внести в мою квартиру различные бытовые приборы. «Как ты можешь так жить, — начал он, — у тебя же ничего нет. Давай я к тебе поставлю компьютер, классный такой телевизор, музыкальный центр...» Я не могу сказать, что запретил ему вносить в дом что бы то ни было, потому что сразу заподозрил в происхождении этих предметов что-то неладное. Как я уже говорил, велосипедные воры не являются для меня полноценными преступниками, а Геша на следующий день вообще показался мне совершенно мирным юношей, не имеющим ничего общего с профессиональной преступностью. Ну напился, пытался поехать на чужом велосипеде, подумаешь... Так что мой строжайший запрет на внос в квартиру всяких там антикварных факсов или микроволновок объяснялся скорее моими эстетическими принципами, я не люблю превращать квартиру в склад. Меня вполне устраивает простор, который у меня наблюдается в обеих комнатах.

Придя в себя и держась попеременно то за шею, то за голову, Геша для начала попробовал меня шантажировать. Мол, он сейчас позвонит в полицию и скажет, что я его избил, если...

Он не закончил эту фразу, додумав, однако, эту глупую мысль до конца. «Шучу, — сказал он, — даже если бы я был такой гадиной... Ты меня так ударил, что нет же никаких следов. Кто тебя этому научил?» — «Да никто меня этому не учил, чёрт возьми, просто я, дурак, понимал, что ты притворяешься, и всё равно тащил тебя в дом. Надо было там и оставить». — «Ну, это был бы риск, а зачем тебе рисковать... Ладно, скажи мне, могу я у тебя недолго пожить?» — «Что-что?! — сказал я. — С какой это стати?»

Геша принялся мне рассказывать о том, какая у него тяжёлая жизнь на нынешнем этапе. Что он живёт в каком-то ужасном бомжатнике, что от соседа его по комнате так воняет, что он не может там спать... «Мне вот-вот дадут нормальное общежитие, — сказал он, — это вопрос нескольких дней...» Как-то ему удалось меня убедить, «красть у меня нечего, мешать он мне не будет, в отношениях с С. у нас пауза, отношения, если буквально перевести это с немецкого, — “поставлены на малый огонь”, так что... пусть поживёт. Несколько дней, почему бы и нет, — подумал я, — живи и давай жить другим...»

Я долго не писал и даже не читал этот текст, пока неделю назад не перечитал его весь, после чего начал его снова писать... Текст растёт, как говорят строители, «на скользящей опалубке», из самого себя и дорос, как мне кажется, до таких «высот», что необходимо сделать одно заявление.

Все названия организаций, все имена упоминаемых в «Параллельной акции» людей и сами эти люди с этого момента не имеют к реальным лицам и организациям никакого отношения. Совпадения случайны. Мир есть представление и воля к власти. А вся власть уже отдана воображению.

Ещё через три дня. Странно, стоило ли открывать рукопись, чтобы сделать это дурацкое, жонглёрское заявление.

Я вспоминаю, что меня понесло тогда и дальше и я чуть не начал переделывать «Путешествия Чёрного квадрата». Фаршировать её цитатами типа: «Дао круглее круга и квадратнее квадрата...» Ужасно подходит, согласитесь, даже не перечитывая ту главу, или «интермедию»... Но что-то мне помешало тогда, я не помню, а потом я прочёл «Der Untergeher»* Томаса Бернхардта, и мне захотелось перевести из этого романа фрагмент, привить его, что ли, к моему тексту, как вакцину против цитат, или как дереву прививают — ветку от другого дерева... Кажется, это называется «окулировкой», но нет, вакцина здесь больше подходит, то есть яд против цикад цитат, цикута, муха цеце...

У меня что-то не получается, наверно, разучился, я ведь давно уже не переводил с немецкого... и теперь, когда я попытался, на выходе получился какой-то банальный текст, я не знал, как передать это «sagte er, dachte ich», «sagte er, dachte ich», которое в тексте звучит как приглушённая клавиша, или запавшая клавиша, то есть, по идее, совсем не звучит, но почему-то звучит всё-таки — как педаль рояля, такой же отчётливый тупой стук: sagte er, dachte ich, не переводить же как «так он говорил, — думал я», это же никакой тогда не войлок...

Я думал было вообще это опустить, но без постукивания текст превращался в бессмысленный ропот, в тривиальное стариковское воркование, и я оставил затею — понял, что мне больше всего понравилось именно это «sagte er, dachte ich», вот несколько строк: «Всех великих мыслителей мы заперли в книжных шкафах, из которых они, навечно приговорённые к тому, чтобы быть смехотворными, смотрят на нас, sagte er, dachte ich. Днём и ночью я слышу жалобные завывания великих мыслителей, которых мы заперли в книжные шкафы, этих “титанов духа”, головушки которых сморщились за стеклом до совер-

* Идущий ко дну (нем.).

шенно смехотворных размеров, *sagte er, dachte ich*. Все эти люди допустили роковую ошибку, совершили капитальное преступление... в духе, и за это наказаны — заперты в шкафы раз и навсегда. Для того, чтобы они там задохнулись, — вот в чём заключается правда. Наши библиотеки — это тюрьмы, в которые мы упекли наших мыслителей. Канта, конечно, в одиночную камеру, так же, как Ницше, Шопенгауэра, Паскаля, Вольтера, Монтеня — всех великих в одиночки, остальные пусть сидят в общих, но и те и другие — на веки вечные, дорогой друг, навсегда, до скончания времён, вот ведь в чём правда. И горе тому из них, кто попытается совершить побег, он сразу же будет пойман, он будет, так сказать, обезврежен, высмеян, вот как обстоят дела на самом деле, человечество знает, как защитить себя ото всех так называемых великих мыслителей, *sagte er, dachte ich*. Дух, где бы он ни появился, будет сразу же обезврежен и заперт, и, естественно, на нём сразу же поставят клеймо “бездуховность”, *sagte er, dachte ich*, глядя на потолок гостиной».

Переведя этот отрывок, я попытался вернуться к пылящемуся южному роману, произвёл там кое-какие работы, а сюда совсем не заглядывал, пока несколько дней назад не нашёл в своём почтовом ящике письмо.

Письмо произвело на меня довольно очень сильное впечатление.

Я никогда бы не взялся писать детектив, я, по правде говоря, не помню даже, когда я читал последний раз детектив, по-моему, это был роман Гришэма, и первую главу я прочитал с удовольствием — про мальчишек, которые случайно стали свидетелями того, как человек попытался покончить с собой при помощи шланга, надетого на выхлопную трубу, да, он просунул другой конец этого шланга к себе в кабину и собирался таким образом угодеть, но мальчишки помешали ему, они тихонько сняли шланг с трубы, а он там сидел и чего-то ждал.

Но со второй главы пошли такие типичные, штампованные описания действующих лиц, то есть детектива, адвоката, бандита, что мне стало ужасно скучно...

Короче говоря, я мало того что не писал детективы, я к тому же их не читал, поэтому, найдя у себя в ящике письмо от Геши, которое выглядело так, как будто Геша переписал его из детективного романа, я, можно сказать, впервые за долгие годы погрузился в детектив, да.

На этот раз не с начала, а где-то, наверно, с середины... Я не знаю, вернулся бы Геша на эти страницы, не случись с ним эта история. Думаю, что нет. Его проникновение в мой дом было достаточно подробно описано, а больше, в общем, нечего было сказать, Геша прожил у меня четыре или пять дней, пока я его не попросил...

Конечно, это было не очень вежливо с моей стороны, но, во-первых, мне нужна была вся квартира (я не мог себе представить мирное сосуществование С. и Геши, особенно в моё отсутствие, она видела его один раз, и он её чем-то разозлил... впрочем, от ненависти до любви у С. один шаг, и это мне как раз и нравилось меньше всего, я не хотел, придя домой, застать... не уверен сейчас, что моё воображение простиралось так далеко, чтобы рисовать такие картины, но причина, я думаю, в общих чертах ясна, да), во-вторых, судя по многочисленным звонкам на его мобильник, я был далеко не единственный Гешин знакомый в этом городе, далеко... Так что, провозжая его до двери, я не испытывал особых угрызений.

Я не думаю, что Геша вернулся от меня в бомжатник. Я даже не уверен, что этот бомжатник вообще существовал, а не был придуман Гешей специально для моего воображения... И в-третьих, хотя он и был эти дни тише травы, которую он курил... Его самокрутки потрескивали, да, а вот сам Геша, особенно после второй затяжки, был сравнительно молчалив.

Впрочем, в последний день и самокрутки были бесшумны, он раздобыл где-то довольно правдоподобный

гашиш, который он называл не иначе как «пластилин», и уговорил меня принять участие.

Надо сказать, что Геша вообще был щедр и всё время предлагал вместе с ним «дунуть», но я принял его приглашение только в последний или в предпоследний день. Геша после этого отнюдь не затормозил, куда-то он ездил, что-то предпринимал, какой-то вокруг него разворачивался пластилиновый мультфильм... А я впал в состояние свехлени.

Я не пошёл на работу, позвонил и сказался больным, провалялся весь день на кровати...

На циновках, на подушечках, в чайхане... То ли в Бухаре, то ли в Коктебеле, где теперь тоже стоят эти настилы... В Бухаре чай, прежде чем пить, несколько раз переливают из чайничка в пиалу и обратно... Как я сейчас — из пустого в порожнее... Ну потому что нет ничего пустопорожнее нашего сознания...

В общем, я впал в состояние свехлени. Это когда десять раз подумаешь прежде, чем открыть глаза, — только для того, чтобы сразу же их снова закрыть...

Вот так я и лежал, слушая Гешин новый диск Coins Dance, их совместный концерт с Хамсином, параллельно наблюдая работу своего внутреннего рисовальщика, который там в темноте... Потом я решил, что пора бы что-нибудь пожевать, включил конфорку электроплиты — с тем, чтобы подогреть на сковородке какую-то еду, так я думал, но на самом деле я включил другую конфорку, на которую перед этим поставил электрический чайник, просто случайно, на секунду, и забыл его там. Подойдя через пять минут к плите, я увидел, как зелёный пластмассовый чайник прямо у меня на глазах меняет свою форму... Я подумал, что меня просто глючит. Что это у меня теперь свой — пластилиновый мультфильм.

Почувствовав запах, я понял, в чём дело, но вместо того, чтобы оплакивать чайник и думать, как я буду очищать от расплавленной пластмассы конфорку, я начал смеять-

ся. В этот момент позвонил Геша, я пошёл открывать ему дверь, так и не выключив плиту. Геша вошёл в квартиру и сразу надвинул футболку на нос, по его словам, в квартире нельзя было находиться, и мы пошли с ним в парк, где я долго сидел на скамейке, глядя на быстрый поток воды.

Рядом с моим домом течёт Вюрм, замечательная горная речка, о которой можно было прочесть ещё в учебнике географии — для шестого класса. Когда я это вспомнил, я перестал сомневаться, снимать ли эту квартиру, мысль о том, что ещё в шестом классе я узнал о реке, которая будет протекать у меня за окном, показалась мне чем-то приятной.

Вюрм — древняя река, она течёт со времени последнего оледенения, то есть больше полутора миллионов лет, и, глядя на её прозрачный стремительный поток, очень хорошо всё это вспоминается, в смысле, страницы школьных учебников, я хотел сказать... В общем, я не могу ничего плохого сказать о Геше. Сообщая ему, что с завтрашнего дня мне нужна вся квартира, целиком, я ожидал услышать фразу, которую он приговаривал эти дни по поводу и без повода: «Сейчас, хозяин, покурим и пойдём». Но Геша ничего такого на этот раз не сказал, он кивнул и сказал, что всё правильно, мы ведь так и договаривались, и на следующий день его в квартире уже не было.

Какое-то время он каждый день звонил мне на работу, а потом — как отрезали, перестал звонить, и когда я сам позвонил ему через месяц, мне ответил незнакомый голос.

Никакого такого Гешу голос не знал и просил не звонить больше по этому номеру. Надо было полагать, что Геша отказался от телефона и номер дали другому человеку. Это было странно немного, но мало ли.

Странно было то, что он так резко перестал звонить. Но я объяснял это тем, что Геша поехал на родину или ещё куда, по правде говоря, я уже совсем забыл о Геше

к тому моменту, когда нашёл у себя в ящике его письмо. Не знаю, специально ли, или просто потому что не было других чернил, но письмо было написано красными буквами — как будто кровью. Крупный, совсем детский почерк. *«Мне больше не к кому обратиться, я больше никого не знаю в этом городе, — писал Геша, — я прошу тебя заплатить за меня пять тысяч залога. Ты же меня знаешь, выйдя на свободу, я очень быстро заработаю эти деньги и тебе отдам. Если ты не заплатишь их, я покончу с собой. Потому что меня здесь страшно избивают. Я не могу тебе передать словами, каким мучениям я здесь подвергаюсь. Меня недавно перевели в камеру, где сидят русские. Настоящие уголовники. Они непрерывно бьют меня и обзывают жидом. Вот телефон моего адвоката, позвони ей, пожалуйста, иначе я вскрою себе вены, повешусь или откушу язык».*

На конверте стоял совсем не тюремный обратный адрес, какая-то незнакомая фамилия. Наверно, письмо пересылали мне через вторые руки, — подумал я.

Прочитав, первое, что я сказал себе, было то, что я не буду платить за Гешу никакого залога.

Во-первых, у меня просто не было этих пяти тысяч — физически, потому что всё, что я зарабатывал, у меня так или иначе улетучивалось к концу каждого месяца.

Я, конечно, собирался стать нормальным Bürger'ом и начать делать хоть какие-то сбережения, но я всё время откладывал это на потом.

Во-вторых, Геша сидел не в русской тюрьме и не в украинской, а в немецкой. Которая заочно представлялась мне чем-то вроде санатория. Сидел, скорее всего, по делу... А что у мальчика богатая фантазия, так в этом я уже мог убедиться. Он ведь едва не обвинил меня в избиении младенца... Выбрасывать на ветер пять тысяч, брать в банке из-за этого кредит, влезать в долги... Нет, я точно решил ничего этого не делать.

На следующий день я не позвонил адвокату, я не стал ни о чём рассказывать С., когда мы стояли с ней на мо-

стике через Вюрм, глядя на гипнотический поток стеклянной воды, и она спросила меня, о чём я сейчас думаю. Скажи мне, кто твой друг... С., впрочем, прекрасно знала, что Геша мне никакой не друг, а в буквальном смысле свалившийся на голову квартирант.

Через два дня Геша явился мне во сне. Лицо его представляло собой сплошное синее месиво.

Подробности сна я не запомнил, когда я проснулся, они улетучились, но вот это ужасное фиолетовое лицо застряло где-то на периферии сознания и стало преследовать меня днём.

И я решил позвонить адвокату, чтобы, по крайней мере, выяснить, как всё это обстоит на самом деле.

Мне ответил женский голос, и после приветствия голос спросил меня сразу, без обиняков — буду ли я платить за Гешу залог?

Я сказал, что у меня нет денег, просто я хотел узнать, как он там себя чувствует.

— Как вы думаете, его действительно избивают сокамерники? — спросил я, — такое возможно в немецкой тюрьме?

— Я думаю, да, — сказала фрау Шустер, — вы что, даже не хотите посетить вашего друга?

— По правде говоря, не горю желанием. А что он сделал? За что его посадили?

— Это не телефонный разговор.

— Хорошо, тогда вот что я могу вам сказать по телефону. У меня в данный момент нет этих пяти тысяч. И единственное, чего бы мне хотелось, это чтобы его перевели в другую камеру. Потому что он сидит с русскими уголовниками, они его избивают и обзывают жидом.

— А что, русские — антисемиты? — оживлённо поинтересовалась фрау Шустер.

— Как вам сказать... Не все, конечно. Но есть. Особенно в определённых слоях общества, из которых, вероятно, и происходят эти уголовники...

— Ах, вот оно что. А вы, я так понимаю, думаете, что в Германии нет антисемитизма?

— Я не знаю, есть, наверно... Не в этом дело, то есть я не хочу вступать в дискуссии по этому поводу...

— Так вот я вам могу совершенно точно сказать, чтоб вы знали. У нас в Германии тоже есть антисемитизм!

Эту последнюю фразу адвокат произнесла с нескрываемой гордостью. Я почувствовал, что с этой бабой что-то не так... То есть ещё до того, как я познакомился с ней живьём, в её офисе... Но что мне было делать? Не я ведь её выбирал, а Геша. А может быть, наоборот, это она его выбрала (об этом я подумал, когда она несколько раз довольно-таки мечтательно повторила «Хенадий, конечно, очень красивый мальчик, очень...»), во всяком случае, мне оставалось либо вешать трубку (я очень хотел это сделать, но синее лицо всякий раз останавливало меня. А что, если он на самом деле покончит с собой?), либо идти до конца. По возможности, до той черты, за которой мой счёт в банке стал бы равняться минус пяти тысячам...

— Послушайте, я не хочу вступать с вами в дискуссию на тему, кто больше любит евреев, ок? Я хочу только, чтобы вы приняли к сведению, что вашего подзащитного избивают, и предприняли какие-то усилия, чтобы его перевели в другую камеру. Это ясно, да?

— Да, — сказала адвокат, — я этим займусь. А теперь я вас спрашиваю последний раз, вы не хотите посетить своего друга? Он, по-моему, очень на это надеялся.

— Понимаете, — сказал я, — это, конечно, не лучший момент для такого рода признаний. Но факт остаётся фактом: Геша никакой мне не друг. Я общался с ним несколько дней, не по собственному желанию. О подробностях, хоть вы и адвокат, я уж лучше промолчу.

— Но он тем не менее считает вас своим другом. И он... Как бы это вам сказать. Он так построил свои показания, что на вас не упала ни малейшая тень...

— На меня?! — закричал я. — Что это значит?

— Не кричите так, вы же на работе?

— Да нет, я вышел из здания. Я в Английском саду, и вообще, я взрослый человек и знаю, что я делаю. Повторите, что вы сказали!

— Послушайте, у меня нет сомнений, что вы не имеете никакого отношения к делу Геши. И у полиции их нет. Но если бы Геша говорил по-другому, отвечал немножко иначе на поставленные ему вопросы, тогда... кто знает, кто знает...

— То есть вы хотите сказать, что я должен быть ему по гроб благодарен за то, что он меня не оклеветал?

— Хотя бы, — сказала адвокат, и вот тогда я подумал: «Какое счастье, что я не дал ему поставить у меня в квартире ничего из того, что он мне предлагал, вот оно, счастье-то...»

— Давайте сделаем так, — сказал я, — я нанесу ему визит, если вы мне это устроите. И решу, что делать, на основании своих, так сказать, личных впечатлений.

— Ок, — сказала адвокат, — приходите ко мне в офис... А впрочем, я могу послать вам по почте пропуск, разрешение, там всё будет указано, адрес тюрьмы, точное место и время свидания.

— Договорились.

— Очень приятно было с вами побеседовать, — сказала фрау Шустер бархатным голоском, — я надеюсь, мы ещё встретимся.

Я вернулся в здание «Касталии» и как раз успел на планёрку. На которой обсуждалась тема Bereichsausflug-a. Что значит «вылазка всем отделом», но не на природу, то есть не обязательно в горы, а в другой город или даже страну... Я уже знал, что к таким вопросам подход в этой стране более чем серьёзный... В сущности, на прошлой работе мы только это и обсуждали на еженедельных планёрках — куда поедем на четыре дня Пасхи. В конце концов поехали всем отделом в Венецию. Здесь же речь шла о местах более отдалённых. После нескольких таких со-

вещаний стало ясно, что фирма собралась потратить на эти цели довольно приличную сумму. Неважно, зачем это нужно, списать с налогов, наверно... Важно, что нам соби́рались сделать дорогой, серьёзный подарок, мы могли выбрать любой курорт и отправиться туда все вместе на четыре дня. И это даже не в счёт отпуска! Это был королевский подарок, я понимал, что если мы потратили на решение подобного вопроса полгода на прошлой работе, где нам на всё про всё выделялось значительно меньше средств, то здесь это будет решаться ещё более сложно. Я не принимал участия в споре, мне было всё равно, главное, чтобы к морю, а так как и всем остальным хотелось к морю и за это можно было не волноваться, я на планёрках просто дремал, пропуская все эти географические диспуты мимо ушей.

Но тут я вдруг включился, услышав, что Бригитта выдвинула интересное — главное, очень оригинальное решение — поехать в Касталию. Касталия, по словам Бригитты, это такая курортная деревенька на Сицилии. Кристоф сказал, что он не уверен, но кажется ему, что посёлок с таким названием находится не на Сицилии, а на Крите, они стали спорить, а Доменик тем временем заглянул в интернет (это напомнило мне слова Паскаля о человеке, который знает истину... Что это как если двое спорят, сколько сейчас времени, а у третьего, который при этом присутствует, в кармане лежат часы) и увидел, что существует как одна деревня, так и вторая. После чего коллектив разделился примерно пополам. Половина была за Сицилию, половина за Крит. И все при этом за Касталию. Во время голосования я почему-то решил поддержать идею Сицилии.

На следующей планёрке оказалось, что все места в обеих деревнях уже заказаны другими отделами нашей закавыченной Касталии. Идеи носятся в воздухе, особенно по коридорам служебных помещений... После изнурительных дебатов мы решили, что полетим на

Сардинию. Я уже не помню, кто первый выдвинул эту идею... Ах да, это был Доменик, проехавший предварительно всю Сардинию на мотоцикле — так он провёл две недели своего отпуска, и, по его словам, с этим островом ничто не может сравниться. Сумма, которая выделялась на поездку одного сотрудника, странным образом равнялась пяти тысячам. Это было как раз то, что нужно было заплатить, чтобы отходить ко сну, не волнуясь, что снова увидишь расплавленную Гешину физиономию... Я вообще-то с трудом мог себе представить, как можно потратить за три дня такую сумму, и охотно предпочёл бы взять её наличными. А там бы я уже подумал, платить залог за Гешу или потратить эти деньги в течение месяца на той же Сардинии... Но об этом, конечно же, не было и речи, нам был заказан пятизвёздочный отель в скалах и три дня каких-то дорогостоящих развлечений. Всё про всё — пять тысяч на брата... Что касается залога, то я решил решать, платить его или нет, только после посещения Геши. Если бы нам выдали эти деньги наличкой, может быть, я и отнёс их адвокату (случайное совпадение двух чисел внушало мысль, что за Гешу вступился кто-то свыше... А кто может быть выше, чем руководство Касталии?). Короче говоря, я не то чтобы влип в историю... Синее лицо после того, как я пообещал посетить Гешу в тюрьме, перестало мне являться, в ящике у себя я нашёл ещё одно письмо, в котором был указан телефон и просьба позвонить по этому телефону и рассказать девушке, как можно добиться свидания с ним, познакомиться её с его адвокатом... Что-то ещё там было, целая серия ценных указаний. Позвонив по указанному телефону и описав девушке ситуацию, я услышал примерно следующее:

— Никакого Гешу я не знала и знать не хочу!

И после некоторой паузы:

— Знаешь, в чём его беда? Он никогда как следует не получал пиздюлей! Можешь ему так и передать, — сказа-

ла девушка и повесила трубку. При этом я ничего не говорил ей про уголовников, про избиения... Очень может быть, что я разговаривал с персонифицированной судьбой Гены Столешникова, которая и так всё знала... На свидании со мной Геша сказал, что теперь он только и думает об О., мечтает создать с ней семью, завести детей.

У меня язык не повернулся повторить ему то, что она сказала, просто язык не повернулся, и всё...

Да, но вместо синего я увидел абсолютно нетронутое лицо здорового розового цвета, на нём не было ни единой царапинки... Прочитав во взгляде удивление, Геша попробовал сосредоточить моё внимание на кончике своего носа, он поднёс туда палец и сказал:

— Посмотри на мой нос. Помнишь, какой он был? А теперь он куда смотрит? Они свернули мне нос. И это ещё не всё. Если бы я разделся, ты бы такое увидел...

Я не знаю, что бы я увидел, если бы Геша разделся, но нос у него был тот же самый, а невидимый невооружённым взглядом перекосящий, если и был, то имел, очевидно, место с самого рождения, как и у большинства людей.

Некоторым людям отоларингологи предлагают выравнивать перегородку с помощью операции, считая, что неровность является причиной хронических гайморитов... Но я не стал это говорить Геше.

— В чём тебя обвиняют? — спросил я.

— А разве адвокат тебе не сказала?

— Нет. Она сказала, что по телефону не хочет об этом говорить. По-моему, ты ей очень нравишься.

— Да, кажется что-то есть...

— Ну так пообещай, что трахнешь её, как только выйдешь на свободу. Потому что денег у меня нет. Даже если бы я горел желанием заплатить за тебя.

— Для начала мне ведь нужно выйти. Послушай, ты же меня знаешь...

— Я тебя знаю? Ну как ты можешь такое говорить? Я даже не знаю, из-за чего тебя сюда посадили!

— Это неважно. Я ничего не сделал... А они хотят сделать из меня крёстного отца русской мафии... Ну да, прикинь.

Я не смог сдержать смех. Геша — крёстный отец?

— И при этом залог всего пять тысяч?

— Это не залог, — сказал Геша, — я просто сначала не понял, из-за языка...

— А что это?

— Это первый взнос. Гонорар фрау Шустер... Они пытаются навесить на меня десять краж со взломом. Которые я не совершал. Но они говорят, что там мои отпечатки пальцев... Берут на пушку. Или я мог случайно в одном месте оказаться... Но я всё вспомню и объясню...

— Ты прямо как Штирлиц, — сказал я.

— Точно-точно, — сказал Геша, — а тебе надо встретиться с русской пианисткой. Если ты поговоришь с ней по душам, она заплатит. У неё дико богатый муж, это для неё такие копейки...

— Это — та, которой я звонил?

— Да.

— Я сильно сомневаюсь, что она заплатит за тебя хотя бы копейку.

— Не говори так. Оксана теперь весь смысл моей жизни, старичок. Я не могу без неё, я только о ней всё время думаю. Когда я выйду, она разведётся с мужем, и мы поженимся... Это точно. Но пока я сижу, это только мечты. Послушай, я тебе написал правду. Я попал в ад, и если ты или Оксана за меня не заплатите, я удавлюсь.

— Ты это серьёзно?

— Более чем.

— Но ты же только что сказал, что это не залог.

— Ну и что, без этого взноса Шустер не будет ничего делать. А так она добьётся, чтобы меня перевели в одиночную камеру. Это раз. А во-вторых, я не знаю, как ты, честно говоря, я думаю, что при твоей работе и ты тоже... Но Оксана уж точно в состоянии заплатить за меня залог...

— Который теперь составляет?

— В десять раз больше того, что я думал. Но для неё это не деньги, поверь, что...

Я покидал тюрьму с тяжёлым сердцем. У меня было ощущение, что Геша сидит по уши... Даже не в дерьме, это было бы полбеда... В трясине. В дерьмовой трясине, которая всасывает его постепенно, и по-хорошему нужно было бы протянуть парню руку... Но откуда у меня такие деньги? 50 000 я уж точно не мог раздобыть. После нескольких телефонных разговоров с адвокатом я понял, что она взялась за Гешино дело именно потому, что он еврей. В голове у фрау Шустер был определённый образ, не очень оригинальный, а главное, я думал, что такие образы заселяют головы совсем других людей, не получивших вообще никакого образования... Но вот и фрау Шустер была уверена, что все евреи сказочно богаты и, как только она возьмётся за это дело, на неё буквально посыплется еврейский золотой дождь.

Через несколько дней возле моей террасы остановился джип цвета маренго, из него вышла девушка с причёской MTV. То есть волосы у неё были красного цвета, остальное — это были ноги, что называется, от шеи, может быть, такому впечатлению способствовало то, что она была в чёрном комбинезоне. Это была Оксана, она сказала мне с порога:

— Я привезла деньги. Пять тысяч, как вы говорили.

Я сказал, что за это время сумма залога изменилась, а пяти тысяч хватит только на адвоката, да и то на первый взнос...

— Вот и хорошо, — сказала Оксана, — первый взнос. А там посмотрим на её поведение. И на его — я имею в виду засранца... И если бы я даже заплатила залог... Хотя сам посуди, откуда у меня такие деньги? Так вот, он бы тогда сбежал в другую страну. Европа без границ... Ищи его тогда свищи. Зачем же за это ещё и платить, а? Логично? Нет, пусть он полежит в камере хранения. Напишет мне ещё парочку подобных писем, тогда я подумаю...

— Он вам тоже написал? Почему же вы не говорили? Послушайте, Оксана, а зачем мне брать ваши деньги, передавать их кому-то... Не проще будет, если вы сами отнесёте их адвокату?

— Нет. Я не могу светиться. По разным причинам... Это тебя не касается. У меня есть муж, и вообще... Геша сказал, что вы это сделаете. Друг он вам или не друг, неважно, вас просят просто передать деньги из рук в руки. Разве это так сложно?

На следующий день я позвонил фрау Шустер и сказал, что хочу заплатить за Гешу залог. Наличными. Она стала объяснять, как мне найти её офис.

— Это возле кафе «Виктория», возле Штахуса. Вы, конечно, знаете это кафе?

— Не помню. Но я найду, вы не беспокойтесь.

— Вы знаете, что владелец кафе — еврей?

— Нет, — сказал я, — вот этого я уже точно не знал. А какое это имеет значение? Я, знаете, просто поражаюсь вашей осведомлённости...

Мы договорились о встрече на следующий день, положив трубку, я подумал, что фрау Шустер всё-таки немного не в себе... Ещё и поэтому, когда я на следующий день принёс деньги, а она взяла их и небрежно бросила в ящик стола, я сказал, что хотел бы получить что-то вроде расписки.

Фрау Шустер ответила, что сейчас не может мне ничего такого дать, потому что она должна передать эти деньги полиции — в качестве залога, а тогда уже она отдаст мне копию их расписки...

— Но Геша сказал мне, что это не залог, — удивился я, — он сказал, что это часть вашего гонорара.

— У вашего друга...

— Да никакой он мне не друг!

— У вашего знакомого проблемы с языком. Я двадцать раз ему объясняла, что это залог и ничего кроме залога. Это никак не связано с моим гонораром... Ну, то есть

в случае, если обстоятельства за это время изменились и у следствия какие-то появились новые данные... Но пока ни о чём таком речи не было... Я считаю, что они просто берут его на пушку. Так вот: только — я подчёркиваю — только в случае, если деньги всё равно не будут приняты в качестве залога, я, так и быть, возьму их в качестве первой части аванса... Ну что вы на меня так смотрите? Вы мне не верите? Вы что, думаете, я украду ваши деньги?!

— Понимаете, деньги не совсем мои... И мне бы хотелось каких-то... что ли, гарантий.

Фрау Шустер вдруг выскочила из кожаного кресла и выбежала из комнаты. Что-то в её облике наталкивало на мысль, что она находится под действием порошка... Но это было не моё дело, я хотел всего лишь получить какую-нибудь расписку и после этого забыть о фрау Шустер до конца своих дней... Она вбежала в комнату, теперь уже не одна, теперь она тащила за руку какого-то мужчину в сером костюме и в галстуке. Судя по табличке на дверях офиса, там принимал ещё один адвокат, и, так как ни одного посетителя я в коридоре не заметил, это, очевидно, был коллега фрау Шустер. Который, судя по всему, очень хорошо знал её характер. Он подмигнул мне и сделал жест свободной рукой, который означал, по-видимому, призыв отнестись к его коллеге по возможности толерантно. Он покорно просеменил за фрау Шустер в центр кабинета, где она, не выпуская его руку, чтоб не сбежал, другой рукой указала на меня.

— Вот он, — громко сказала фрау Шустер, — думает, что мы собираемся прикарманить его денежки! Ну что ты, Олаф, на это скажешь, а? Он думает, что мы возьмём его пять тысяч и сбежим!

— Я... — начал было я, но фрау Шустер резко махнула рукой и...

И вдруг она изобразила рукой самолётик! То есть кисть фрау Шустер с оттопыренными в стороны мизин-

цем и большим пальцем полетела по комнате, сделала зигзаг... Мы оба, я и её коллега Олаф, смотрели на всё это со страхом, потому что фрау Шустер, едва поспевая за своей рукой, несколько раз покачнулась...

— Ха-ха, он думает, что мы смоемся с его пятью тысячами. Хо-хо, мы их положим в чемоданчик, сядем в самолёт и полетим на Канары. Да? Или на Ибицу. Так ты думаешь? Или на Сардинию, мы найдём, куда... И вот, когда мы будем уже подлетать к острову, двигатель у самолёта остановится... И самолёт рухнет в море. А с ним и мы с тобой, Олаф. А с нами и его денежки! — кисть фрау Шустер вдруг резко спикировала вниз, а за кистью последовало и всё остальное, то есть сублимное, облачённое в зелёный текстиль тельце фрау Шустер рухнуло на пол. После чего наступила тишина. Первым над ней склонился Олаф, а потом и я подскочил, мы оба стали щупать её пульс, на запястье, на шее, где-то на лодыжке... Мы вдвоём перебирали сухожилия фрау Шустер, как будто играя на ней в четыре руки какую-то сонату... Пульс в результате нашёлся — он был аллегро, но всё-таки в пределах разумного. Мы вместе подняли её и перенесли на кушетку, напоминавшую психоаналитическую. Как знать, может быть, фрау Шустер именно на ней исповедовала своих клиентов... А может быть, просто сама отдыхала от дел. Теперь во всяком случае она лежала на этой кушетке, и, судя по спокойствию, с которым всё это воспринял Олаф, особой неожиданности для него в этом не было.

— Ничего страшного, — сказал он, — бывает.

Я не стал задавать лишних вопросов.

— Плохо только то, что мне нужно бежать, — сказал Олаф, — у меня неотложная встреча. И хотя это не впервые, оставлять её сейчас одну...

— Хорошо, я останусь. Тем более что мы с ней не договорили.

— Я буду вам весьма признателен.

— Посижу, подожду, пока она очнётся. Если что, вызову скорую.

— О, только не скорую. Никаких скорых, я вас очень прошу.

— Почему? Я не хочу брать на себя ответственность. А что, если она возьмёт и... коньки отбросит?

— Понимаете, фрау Шустер терпеть не может врачей! Она даже не застрахована.

— Как это?

— А вот так. Она говорит, что это ей не нужно. Так что ради бога, никаких скорых, ок?

— Договорились, — сказал я, про себя подумав, что буду действовать в соответствии с обстоятельствами.

— Простите меня, — сказала фрау Шустер, — это от переутомления. Слишком много дел.

Она встала с кушетки, отряхнула пиджак. Стол и в самом деле был завален папками. Указав мне на самую высокую стопку, фрау Шустер сказала:

— Вот это всё дела выходцев из Восточной Европы. Россия, Украина, Румыния, Болгария... Вот ограбление оптики, вот банк... А вот дело вашего приятеля. Я думаю, что он на самом деле виноват разве что в скупке краденого. А на него хотят навесить десять краж со взломом... В общем, вы видите, сколько у меня работы, поэтому бывают срывы. Это нервы, ещё раз извините...

— Да ничего страшного, — сказал я, — вы теперь в порядке?

— Знаете что? Давайте мы спустимся вместе, а то ещё грохнусь на лестнице, вот смеху-то будет... Вы спешите? Может быть, зайдём в «Викторию»? Мне в таких случаях бывает полезен пастиш...

Меня вполне устраивало, что мы сидим молча, она всё время была занята — разводила пастиш водой, отпив два глотка, она сразу подливала воду из синей ванночки со льдом,

очевидно, помимо аниса в этом было что-то для неё успокаивающее, я думаю, в самом этом процессе постепенного растворения, переливания... А я пил своё пиво и думал о том, что мы отправляемся на Сардинию через два дня. После фантазий фрау Шустер мне почему-то было немного... Я никогда не боялся летать самолётами, никогда не был суеверным, но упоминание Сардинии в потоке её бреда всё же произвело на меня некоторое впечатление... «Адвоката далеко заводит речь...» Я, впрочем, был не уверен, что правильно расслышал. Но *почти* уверен всё-таки я был — что среди островов она упомянула и этот... И потом, эти неразменные пять тысяч, так и непонятно было до конца, для чего они были предназначены... Кстати, — только тут я вспомнил, что фрау Шустер так и не дала мне расписку... Напоминать ей об этом после всего, чему я был свидетелем, я не решился. И полёт на Сардинию стоит те же пять... И кто знает, что это с ней было в кабинете, может быть, что-то вроде эпилептического припадка, в котором прозревается будущее... Правда, она не корчилась, пены изо рта не было... Но всё равно, это был транс. И не был ли самолётник, который она изображала рукой... Не занималась ли фрау Шустер в кружке авиамоделирования... Стыдно признаться, но я несколько раз возвращался к этим мыслям... Сначала сидя с фрау Шустер в кафе «Виктория»... И потом сидя у иллюминатора «боинга», который в тот момент делал разворот над Корсикой... Глядя, как накренилось море и коричневый фрагмент суши, я вспомнил маленькую руку фрау Шустер, спикировавшую в паркет...

В кафе, когда она выпила пастиш и затеяла разговор на еврейскую тему, я прервал её и рассказал один непридуманный эпизод.

Я добирался домой после какой-то вечеринки, было очень поздно, и мне надо было пересесть из метро в автобус на станции «Westfriedhof» («Западное кладбище»).

Последний в расписании автобус стоял на остановке, в нём никого не было, даже водителя. Передняя дверь при

этом была открыта, двигатель работал. Ничего сверхъестественного в этом не было, водители иногда оставляют так автобусы на пересменке или просто если надо сходить по нужде на конечной. Напротив виднелась высокая кладбищенская стена, ворота, а с другой стороны, обернувшись, я увидел фасад здания, в котором производятся траурные церемонии. Это было написано на фасаде: «Trauerhaus», равно как и то, что не такие уж они и траурные... «Не плачь из-за того, что он ушёл, а смейся при мысли, что он однажды *был*» — было там написано... Шёл мелкий дождь, но было так тепло, что я не спешил заходить в автобус. Я оглядывался по сторонам, пытаюсь увидеть в темноте водителя, который, по идее, мог прохаживаться, разминая суставы, где-то неподалёку.

Но вокруг не было ни души. Взгляд мой скользнул по забору, который с двух сторон упирался в Дом траурных церемоний — надо было полагать, что за забором тоже было кладбище, как и с другой стороны дороги, а остановка, таким образом, была между двумя частями кладбища... Но взгляд мой различил за ветвями деревьев вывеску на заборе, и я прочёл: «Dantebad. Badespass das ganze Jahr!» Что означало: «Бассейн имени Данте. У нас вы можете получать удовольствие от плавания круглый год!» Одна из ветвей заслонила мне букву «b» в слове «DantebAd», кроме того, автобус, который, согласно расписанию, уже должен был отправиться, по-прежнему стоял у ворот кладбища — без водителя, с открытой дверцей...

Надо сказать, что мой рассказ (в котором я не придумал ни одного слова и не переставил ни одной буквы) уже на этом этапе несколько оживил фрау Шустер, она превратилась в маленькую девочку, которая в пионерили какие тут теперь лагеря для детей — слушает страшилки на ночь... Да, я подумал, что мой рассказ до этого момента и в самом деле напоминает то, что мы рассказывали перед сном в пионерлагере. Только там, насколько я помню, был таксист, а тут, значит, водитель автобу-

са... Откуда-то из-под земли (то ли из метро, то ли из-за ворот кладбища — я его заметил только когда он уже стоял рядом), вынырнул человек, совершенно не похожий на водителя автобуса. На нём не было синей формы, брюки и рукава рубашки были закатаны, он был в каких-то комнатных тапках на босу ногу... «Привет» — весело сказал он, подсаживаясь ко мне.

Мне к тому моменту уже надоело стоять, и я сел на железное решётчатое сиденье, скреплённое с тремя-четырьмя такими же. Мы разговорились. Он сказал, что он родом из Восточной Германии, немного знает русский. Ну, то есть совсем немного, хотя он собирается его — свой русский — совершенствовать. Я машинально кивнул, мысли мои были заняты простыми вопросами: «где этот чёртов водитель? может быть, что-то случилось? не пора ли вызывать такси?»

— Я специально для этого даже купил фотоаппарат, — сказал человек.

— Для чего? — не понял я.

— Вы меня не слушаете...

— Простите, я просто беспокоюсь, куда пропал водитель. Уже десять минут, как мы должны были поехать, это последний маршрут...

— Ну, загулял. Бывает. Все мы люди, — сказал он по-русски, а потом снова по-немецки:

— А может быть, вы поведёте?

— У меня нет прав, — сказал я.

— Ну, тогда я поведу, — засмеялся человек, — давайте немного подождём ещё, если не придёт, я сяду за руль, так что не беспокойтесь... Так вот, я говорю, «Nikon» я купил, чтобы фотографировать памятники Ленину. Для этого я и еду в Россию. На целый месяц, во всех городах хочу сфотографировать памятники Ленину...

— Я понял, понял, — сказал я, — хотя вы вроде бы говорили, что хотите язык подучить.

— Одно другому не мешает!

— Я русский бы выучил только за то, что на нём... — сказал я по-русски. Он хохотнул и сказал:

— Идёмте, я поведу автобус. — Я уже понял, что это и есть водитель, он просто решил немного разыграть меня.

Я вошёл вслед за ним в автобус, сел где-то посередине салона, но он, нажав на газ, стал звать меня к себе — ему хотелось продолжать разговор. Он мне уже успел надоест, я сказал, что я устал, и остался сидеть на своём месте. Но он настаивал, просил, махал рукой, автобус при этом как-то необычно разгонялся... Я встал и подошёл к водителю, подумав, что в перевёрнутом ночном мире, в котором я очутился, надпись на кабине «не разговаривайте с водителем во время поездки» надо читать наоборот... В общем, я пересел на переднее сиденье и сделал вид, что я слушаю.

— ...поэтому я не голосую ни за тех, ни за других. Это абсолютно одно и то же... Мне что нужно? Чтоб было что пожрать и чтоб дороги были хорошие.

— Но это же и так есть? — сказал я.

— Э, нет, мой друг. Ты просто не знаешь, как это должно быть на самом деле. Я тебе скажу, когда у нас будет хорошо. По-настоящему хорошо. Знаешь когда?

— Когда?

— Когда не будет еврея! Пока есть еврей, ничего хорошего не предвидится, это я тебе говорю...

Автобус ехал на очень большой скорости, водитель в расстёгнутой рубашке, в домашних тапочках, казалось, пританцовывал за рулём, вставал, как будто ему хотелось поднять автобус на дыбы — как это делают всадники или мотоциклисты...

— Вы сказали ему, кто вы? — поинтересовалась фрау Шустер.

— Нет. Я подумал, что это не лучший момент для таких признаний. К тому же автобус в тот момент подъезжал к моей остановке... Я уже подходил к дому, когда он

промчался мимо меня с криком «До свиданья!» Причём кричал он на русском.

— Он кричал сквозь открытую дверь?

— Нет, он кричал в микрофон, переключив его на внешний громкоговоритель... У всех автобусов установлены на крыше громкоговорители... Да, я тоже об этом не знал, никогда не слышал, чтобы ими пользовались, — ни до, ни после.

БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО, БЕЗБАШЕННЫЕ НЕМЦЫ

С тех пор я больше не видел ни Гешу, ни фрау Шустер.

Но несколько раз я вспоминал о них. Например, сидя в самолёте, который переносил весь наш отдел на Сардинию.

Настроение у меня при этом было приподнятое, и мысль о Геше и его адвокате как-то плавно перешла в песню «Вежливого отказа», которую я и стал тихонько напевать себе под нос: «С озябших крыш обрушилась весна... Как старой деве но-о-овенький плэйбой...»

Я вспомнил почти детскую ручку фрау Шустер, избражавшую пикирующий самолётик, когда «боинг» сделал довольно резкий манёвр над Корсикой... Ну да, это я уже где-то писал... «Мне утро там, где ты уже не спишь... Ласкаешь небо ма-а-а-ленькой рукой», — напевал я, думая о том, что надо переписать предыдущую главу, если не заново, то по крайней мере добавить к ней несколько картин... Посещение тюрьмы описать подробнее, это же интересно — немецкая тюрьма, нет? Гигантский серый забор, железобетонный, мощная сторожевая башня... Вообще, попытаться сделать это центром дальнейшего повествования... А то что же получается, только я сказал Геше, что он герой («Ну ты герой», — сказал я, прощаясь с Гешей), как он взял и исчез из моей повести, как-то я его

«дешево продал», нет? А может быть, как раз о нём и следовало бы писать... И не надо было бы даже прерывать все эти предыдущие связи с контемпорери-артом: я вспомнил, что в коридорах тюрьмы висят картины, под которыми указаны не только названия и фамилии их авторов, но там всегда присутствует ещё одна фамилия... Как бы это перевести на русский? «Воспитатель посредством искусства», ну да.

В этой тюрьме заключённых стараются исправить с помощью преподавания им изящных искусств... И тогда же у меня появилась такая идея: Геша пишет картину, которую вешают в коридоре тюрьмы. Кто-то из мафиози, или не обязательно мафиози, чуть что, сразу... Просто состоятельный человек, коллекционер, посещает своего друга или родственника — в тюрьме, ну а что, в ожидании свидания он прохаживается там по коридору, случайно замечает на стене Гешину картину и вдруг... загорается страстным желанием её купить.

Тюремное начальство сообщает об этом Геше, тот не теряется — важничает и назначает высокую цену... Естественно, цена равняется как минимум залог, который он должен заплатить за освобождение себя из-под стражи, — покупатель после некоторых колебаний соглашается, и Геша таким образом выходит на свободу, после чего растворяется в воздухе объединённой Европы...

Я помню, что мне поначалу понравилась было эта идея, ведь это напоминало автобиографию Гессе, который нарисовал картину на стене камеры и в неё сбежал — в картину, я пересказывал это в первой части... Это мне понравилось, в самолёте я вообще почему-то вдруг озаботился *связностью*, в том числе и между собой, — двух частей «Параллельной акции»... Хотя тут же мне в голову пришла другая мысль: Геша хочет исчезнуть, но фрау Шустер убеждает его, что, занимаясь живописью, этой «легитимной формой безумия» (прекрасное определение, которое я слышал в кафе из уст фрау Шустер), Геша может зара-

ботать намного больше, чем какими-то сомнительными левыми махинациями... Она уверяет его, что ему грозит только денежный штраф, а не тюремное заключение. Он соглашается, но на суде оказывается, что она просчиталась. Гешу снова сажают в тюрьму, он становится настоящим евро-художником и евро-зеком... В общем, я за полёт многое передумал о «Параллельной акции»... И тогда же я передумал написать этот сюжет. По многим причинам.

В том числе потому что мне вообще перехотелось делать этикие кунштюки...

Заточать персонажей в камеры, освобождать их оттуда, раскручивая до уровня культовых кюнстлеров (например, до уровня Йорга Иммендорфа, с которым всё сейчас происходит с точностью до наоборот: он давным-давно стал знаменитым, а теперь только его захотели посадить в тюрьму за аморалку и кокаин, которым он якобы посыпал проституток... При этом врачи говорят, что жить художнику осталось от силы полгода, но, несмотря на это, над ним устроили показательный процесс... Говорят, это «реванш чиновников»... То есть то, что Иммендорф — великий художник, только разжигает их злобу... Бульварные газеты... с этими их «стенограммами процесса над Йоргом Иммендорфом»... «Проститутка, вызванная в суд, заявила... Подсудимый Иммендорф сказал... Адвокат сказал... Проститутка на это сказала...»), в общем, это же столько мороки... Нет-нет, вся эта ЖЗЛ меня явно не прельщала, я подумал между прочим, что знакомые художники могут и обидеться, потому что при описании Гешиных полотен я наверняка бессознательно что-то опишу из их работ — я-то ведь не художник, и откуда же мне ещё брать картины, как не у друзей... а кто-то из них решит тогда, что стал в какой-то мере прообразом...

Впрочем, последнее было маловероятно, и вообще я понимал, сидя в самолёте, что веду себя как умная Эльза, но ничего не мог с собой поделать...

А если не делать из Геши художника, то тогда вообще непонятно было, как дальше развивать его образ... Нет-нет, я понял, что Гешина тема себя исчерпала.

Поэтому я закрыл лэптоп и стал листать газету — свежий номер «SZ»... А там я наткнулся на рецензию на книгу Манфреда Фойгта, название которой («Мы все должны стать маленькими Фихте! — Враг евреев в качестве предтечи культурных сионистов») напомнило мне об истоках параллельной акции... Идеи Фихте, оказывается, вдохновляли так называемых «культурных сионистов», а так как — напомним, что с Фихте... Но проще всего перенести сюда отрывок из 1-й части: *«...из которого тем не менее нельзя определённо узнать, что такое “параллельная акция”. Определения её весьма расплывчаты, кажется, всё начинается с цитаты из Фихте, которую приводит графу Лейнсдорфу его секретарь и которую его сиятельство не принимает в качестве определения, то есть патриотизм он не хочет делать краеугольным камнем движения. Оно пока что просто должно напомнить всему миру о существовании духовных ценностей. Мне нравится это словосочетание, напоминающее и о существовании параллельных миров и об акционизме, с которого начался этот текст. Что касается Музиля, то он вообще всё время где-то присутствовал на периферии сознания...»*

О происхождении «параллельной акции» я, кажется, ещё ни разу не вспоминал во второй части, мой текст чуть не стал стохастической системой...

А это такая система уравнений, которая забывает свои начальные условия... Скорее я сам представляю собой подобную систему, а заодно и схоластическую... Но так как я в то же время представляю собой всё-таки и систему открытую (по определению), то начальные условия вполне могут вернуться, скажем так, через форточку.

В самолёте я прочёл всю статью в «SZ» и даже перевёл из неё отрывки. Мой текст в этом смысле подобен челове-

ку, он у меня (или я у него) тоже открытая система. Вот, я вставляю сюда газетные вырезки: «Во время Первой мировой войны, в 1916 году некто Наум Гольдман опубликовал в Мюнхене брошюру под названием “О мировом значении и назначении еврейства”. Гольдман увидел “глубинную, сущностную параллельность” (“eine tiefe Wesensparallelität”) в “представлении национального способа мышления”, а именно: “в представлении о том, что некая определённая, Мировым Духом ли, Гением истории, Божеством — или как ещё обычно называют Высшую Сущность — назначаемая миссия становится причиной и смыслом национального бытия”. “Во всей философской литературе, — согласно Гольдману, — не было мыслителя, который по духу и способам своего мышления был бы ближе к еврейским пророкам, чем Фихте...”»

Имелась в виду речь Фихте «Обращение к немецкому народу», произнесённая в 1808 году.

Согласно Борису Хазанову, когда мы говорим об антисемитизме, нельзя забывать три вещи. Во-первых, антисемитизм бессмертен. Во-вторых — он вполне может сделаться смыслом чьей-то жизни. И третий пункт: всё же не стоит его преувеличивать.

Я вспомнил третий пункт, когда на следующей странице «SZ» увидел статью о другой недавно вышедшей книге — «Les penchants crimineles de l'Europe démocratique»*. Статья называлась «Европа стала глубоко антиеврейской». Там было много цитат, автор рецензируемой книги Жан-Клод Мильнер был представлен как лингвист и психоаналитик, ученик Лакана**.

* Склонность к преступности демократической Европы (*франц.*).

** Тут надо заметить, что мой герой читает заметку в 2003 году или даже раньше. А в 2008-м я прочёл «Параллакс» Славоя Жижека, написанный им в 2006-м (точнее, изданный, но я думаю, зазор между написанием и публикацией у сверхлитератора почти нулевой), и увидел там те же самые цитаты из книги Мильнера.

«В самом слове “еврей”, — писал Мильнер, — в каждую эпоху концентрировалась некая гетерогенность, мешавшая субъекту получить желанный выкуп».

И там же далее: «В свете психоанализа Лакана еврей предстаёт как тот, кто стоит на пути к неограниченному и не отягощённому ничем удовольствию. Существование еврея прямо связано с Законом. Современность обещает людям исчезновение Закона, всё кажется легко изменяющимся, вплоть до главных постулатов Жизни. Различие между полами, между родителями и детьми, всё это в современном мире расплывается... Но еврей, в силу того, что они обязаны изучать Закон, неустанно поставляют в мир всё то, что современности кажется атавизмом. Современность не хочет больше никаких запретов, напротив, она хочет полностью отделить желание от вины, послушание от приказа. А еврей, согласно Мильнеру, воплощает в себе незыблемость Закона...»

Прочитав это, я вспомнил, — к сожалению, не дословно, чьё-то стихотворение в русской газете, выходившей в Аугсбурге. В стихотворении описывался променад между фонтанами на Максимилиан-штрассе, где все радуются жизни и смешиваются друг с другом, итальянцы с турчанками, негритянки с сербами и т. п. И вот только... «Лишь подозрительный еврей с извечной спутницей своей...» Нет, я не помню стихотворение наизусть, но слова Мильнера напомнили мне эту сценку.

Жан-Клод Мильнер, в отличие от неизвестного мне аугсбургского поэта, отнюдь не шутил.

В его книге были рассуждения о том, что объединение Европы стало возможно только после массового уничтожения евреев: «Только поверх еврейских могил смогли протянуть друг другу руки Де Голль и Аденауэр».

«По ту сторону слов, по умолчанию, в основе всей конструкции Европейского Союза лежит не что иное, как лагерь смерти...» — я перенёс эту цитату в свой текст, по-

сле чего отложил газету в сторону... Точнее, я сложил её несколько раз и засунул в сеточку на переднем сидении.

Я не совсем понимал, что, собственно, хотел сказать Жан-Клод Мильнер. Наверно, надо было бы прочесть его книгу, но она была на французском, никаких указаний на перевод в статье не было, и вместо чтения первоисточника приходилось пока что довольствоваться лаконичным пересказом его «лаканизмов», хотя и шутить и каламбурить тоже как-то не хотелось... Во всяком случае, при таком изложении эти мысли казались достаточно бредовыми... Почему это Объединённая Европа основана на могилах евреев? Потому что Гитлер хотел её объединения? Но мало ли кто этого хотел? А нынешние наци, кажется, наоборот, этого не хотят и набирают очки в народе в том числе потому, что выступают за выход из Евросоюза... И здесь путаница отнюдь не кончается, потому что еврей как препятствие на пути к вечному кайфу и беззаконию... Это тоже как-то не вписывается, мягко говоря, в представление о евреях рядового бюргера... Вспомнить эти плакаты: «Judentum ist Verbrechen»*, с которыми маршировали толпы по Мюнхену... Ну, пусть это было давно, но вот и совсем недавно, во время скандала с денежными аферами CDU, выяснилось, что вымышленные владельцы невымышленных счетов в банках, через которые прокручивались партийные денежки... Или это были фиктивные спонсоры, неважно, в общем, эти «мёртвые души» тоже были евреями. Буквально по принципу «если бы евреев не было, их следовало бы выдумать». Ну что может быть лучшим доказательством того, что представления бюргеров не сильно изменились? Ведь это было сделано специально — чтобы в случае чего направить следствие по ложному следу, мол, раз евреи, значит, какие-то там махинации... Я понимаю, конечно, что «Закон» у Мильнера имеет другое значение, библейское, но...

* Еврейство — это преступность (нем.).

Может быть, потому, что в Союзе, откуда я родом, процесс секуляризации стал тотальным и слово «еврей» отнюдь не вызывало в сознании граждан некий образ человека в чёрном, склонившегося над Талмудом... Может быть, и поэтому.

Нет, мне вообще трудно было согласиться с выводами Мильнера, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться его рецептами.

«Первая обязанность еврея сейчас состоит в том, — писал Жан-Клод Мильнер, — чтобы отделаться от Европы. Не в том смысле, чтобы её полностью игнорировать (такое могут позволить себе только США), а в том, чтобы до конца узнать Европу. Ясно увидеть её такой, какой она была: преступной в соответствии со стоявшей перед ней задачей, и такой, какой она стала, — преступной как бы по забывчивости, по недосмотру...»

Я допускаю, что не сегодня-завтра может оказаться, что Мильнер был прав, этого во всяком случае нельзя исключить, но...

Пока что я снова открыл лэптоп и после того, как — на всякий случай — перенёс сюда несколько цитат из двух прочитанных в «Süddeutsche» статей.

То есть на случай, если у меня в голове всё это сложится во что-то вразумительное.

Но это ни во что конкретно пока что не складывается, только вертится в голове: «Армяне лучше, чем грузины». — «Чем?» — «Чем грузины».

Людвиг Витгенштейн вышел из себя и долго не мог успокоиться (я читал об этом в чьих-то воспоминаниях), когда кто-то в его присутствии начал плохо говорить о немцах.

В Германии в тот момент правили нацисты, но Витгенштейн был тем не менее категорически против обобщений.

«Немцы ничем не хуже, чем англичане!» — вскричал он. «Чем?» — «Чем англичане».

«Всё остальное, то есть такие, как у вас, представления — это удел простейших, примитивных людей. Вам это не к лицу, — сказал Людвиг Витгенштейн, — стыдитесь».

Поздно вечером, в номере. Я перечитал всю эту еврейскую политинформацию и подумал, что я сам себе противоречу, как всегда — после того, как я решил не упоминать всеу еврейский вопрос, я только об этом и говорю... Нет, это, конечно, очень важная тема, и, как всегда, актуальная, но в этой главе мне бы хотелось справиться с другими, чисто визуальными задачами или по крайней мере поставить их — перед собой...

Все мои коллеги здесь с большими чёрными фотоаппаратами, затворы которых щёлкают непрерывно...

Я единственный без камеры, и вот теперь, сидя в номере... Может быть, стоит всё-таки изменить название? И даже не главы, а вообще всего текста. Ну, например: «Летняя школа визуальных искусств и другие параллельные акции». Очень даже может быть, что мы так и поступим.

Так вот, уже на Сардинии, находясь в подпитии... мои сотрудники пародировали в лицах передачу «Литературный квартет» задолго до того, как вышел роман Вальзера «Смерть критика» с его «двойным вымыслом»... и в прессе разыгрались все эти страсти, это я помню точно... Поэтому их (моих коллег) нельзя обвинить ни в плагиате, ни в юдофобии. Скорее они были похожи на школьников, подсмеивающихся над своим учителем: «Mein lieber Freund Günter Grass! Alles ist gut in deinem neuen Buch... Aber warum ist es trotzdem... so grässlich?»* — говорил Кристоф голосом Райх-Раницкого...

Да, вот так они примерно *грассировали*, разыгрывая в лицах участников «квартета»... Aber nicht grassierend...

* Дорогой мой друг Гюнтер Грасс! Всё в твоей новой книге хорошо... Но почему оно всё такое мрачное? (Нем.)

То есть довольно беззлобно. А потом мы разошлись по номерам, и больше ничего в тот вечер не было.

Как не было, а... То, что ты имеешь в виду, было во второй вечер. Или в третий.

Какая разница, всё равно эти три или четыре вечера уже перемешались у меня в голове, как вещи в сумке, которую я забрал из бюро находок.

Однако ты уже совсем забежал вперёд...

Короче говоря, в какой-то из сардинских вечеров я услышал стук в дверь.

Нет, ты при этом не лежал в постели, а сидел ещё за столом с лэптопом.

Да, скорее сидел, чем лежал, согласен, потому что потом пришлось раздеваться, значит, я всё-таки был перед этим во что-то одет, ночью ведь из распахнутого окна веяло прохладой...

А за дверью никого не оказалось. Облако дыма, которое я не столько даже увидел, сколько узнал по запаху... То есть, почувствовав запах, я что-то рассмотрел и в воздухе, дымок... Я вышел из номера, придерживая дверь рукой.

Ну, бывает, постучали и убежали в другой номер, — подумал я и хотел вернуться в комнату. Но в дверь опять-таки постучали. Кто-то невидимый ломился в мою открытую дверь.

Я не то чтобы испугался... Но было, честно говоря, неприятно, барабашка, Poltergeist... Пока наконец я не понял, в чём дело. Отвернув дверь от стены, я увидел там Ингу, нашу практикантку. Она улыбнулась мне, показала потухшую сигарету и сказала: «Hast du Feuer?»* «Feuer» — это огонь, Инга имела в виду зажигалку...

Хотя кто её знает, что она с самого начала имела в виду, я вспомнил, как на работе она однажды стреляла зажигалку у Карстена. Быстро так оглядев его с ног до голо-

* У тебя есть огонь? (Нем.)

вы — просто-таки взглядом прощупав, она сказала: «Hast du eigentlich Feuer in deiner Nase?»

Что буквально означает: «Есть ли у тебя в штанах огонь?» Карстен изумлённо на неё уставился, Инга расхохоталась, стукнула его в грудь и сказала: «Ich meine ein Feuerzeug, natürlich, was hast du denn gedacht, du Mistkerl!»*

Закрывая дверь номера, я подумал, что она (дверь) похожа на двери кабинок для переодевания в Volksbad'e**.

Это такой бассейн в Мюнхене, рекламой, или, я бы сказал, девизом которого является: «Плавать, конечно, можно везде, но так красиво только у нас!» Точнее было бы перевести «среди такой красоты». Я был там один раз, вместе с С., и когда мы прочли там ещё одну надпись... Она висела над кабинками для переодевания: «Входить двум людям в одну кабинку запрещается!» Когда мы это прочли, нам ужасно захотелось.

Прямо как дети малые... И хотя это было не очень удобно, мы с С. совершили в кабинке некие тихие безумства... Похожие на первый опыт такого рода в кабинке для переодевания, только не деревянной, а железной... Местами ржавой, в приморском посёлке Сочинской области... Я сейчас даже вспомнил имя девушки, Ася её звали. Похоже, для неё это вообще было первое прикосновение... И она делала это не глядя — дёргала мой член, отвернувшись в сторону... Она смотрела поверх железной стенки, в сторону моря... Как будто там что-то можно было увидеть... Было уже темно... Или нет, ещё были сумерки... Ася была высокая девушка с маленькой головкой и длинной красивой шеей...

Сыграв со мной в прятки (wie gesagt***: я нашёл её в коридоре между стенкой и отворённой дверью), Инга и в

* Я имела в виду зажигалку, конечно! А ты что подумал, мерзавец? (Нем.)

** Дословно «народный бассейн» (нем.).

*** Как я уже сказал (нем.).

номере какое-то время продолжала в том же духе. Для начала она предложила показать стриптиз. Непонятно было, шутит она или всерьёз. Наверно, шутит, — подумал я и сказал, чтобы она не морочила мне голову. Тогда она обиделась, или сделала вид, что обиделась, и, оглянувшись по сторонам и увидев открытое окно, влезла на подоконник, сделала шаг и оказалась снаружи. Мой номер был на нулевом этаже или даже в углублении.

Я подумал, что, если она не шутит? Настойчивость, с которой она хотела показать мне стриптиз, могла означать, что ей нужна практика... Потому что чем кончится её практика в «Касталии», неизвестно... Похоже, что ничем, и как придётся зарабатывать дальше... Кто знает, может, и стриптизом... Я вспомнил, что мой знакомый художник Бернд Заутер сказал мне недавно по телефону, что устроился работать на телевидение. Когда я узнал, на какой канал... Он сам сказал, на каком канале завтра его смотреть... А это был канал, который передаёт исключительно сцены стриптиза, и женского и мужского. Так я думал, но оказалось, что по этому каналу днём показывают и другие передачи. Включив телевизор в назначенное время, я увидел Бернда более чем одетым. Я никогда его не видел в костюме и в галстукке, на экране же он был при полном параде, стоял за кафедрой и рассказывал, как учит детей рисовать... Но Инга, которая говорила мне что-то о своих знакомых всё с того же канала, могла бы, наверно, не только стоять там за кафедрой...

Она вошла в комнату — на этот раз прямо из окна, я её подхватил... За талию, которой не то чтобы совсем уже не было... Но никакого стриптиза не было, это точно... Мы сразу стали срывать друг с друга одежду... Что-то я порвал, то ли шорты, то ли трусики... Инга сказала «macht nichts»*, а потом, когда на нас совсем ничего не осталось, кроме тонкой резиновой плёнки, которую она

* Ничего страшного (нем.).

каким-то образом успела натянуть на мой член... Прежде чем я успел натянуть её...

Ты, это самое... Ты просто имей в виду, что так теперь никто не выражается... Ты бы ещё сказал «её самоё»...

Ладно, можно по-другому... Допустим: «Мы такими же резкими рывками, как перед этим одежду, срывали с себя страсть...»

На ja... Тебе точно пора сделать upgrade словаря...

Я старый солдат и не знаю слов любви... Ну, то есть остальные слова, которые я знаю, ещё хуже... И что, по-твоему, мы срываем с себя... Когда на нас ничего больше не остаётся?

Мало ли... Кто — что... К примеру: «Она на мне срывает свою злость»...

Правильно, на тебе... А это «с себя», понимаешь?

Но одежду вы ведь срывали друг с друга... А ты пишешь, что страсть вы срывали так же, как одежду...

И друг с друга тоже... Ладно, хватит...

— Тебе хорошо? — спросила Инга.

— Да, — сказал я, — и даже не просто хорошо... Знаешь, какой лозунг висит на Volksbad'e?

— Какой?

— «Плывать можно везде...» — всё это я произносил, глядя живот Инги. Он был мягкий и вполне сдобный.

— Может, здесь и останемся, — мой палец остановился в ямке её пупка, — на Сардинии? А?

Инга ничего не ответила и даже не открыла глаза... В тот момент меня уже совершенно не смущала её полнота.

На Сардинии, впервые представ перед нами без костюма (Инга всегда носила на работу брючные костюмы), она в первый момент вызвала у нас разочарование.

Инга оказалась тайной толстухой... Она явно поддевала под свой костюм на работе какие-то специальные рейтузы и прорезиненные корсеты... Делавшие её гораздо более стройной, чем она была в действительности. Ещё

и поэтому, когда утром она вдруг предложила отколоться от коллектива и провести день в гостинице, я отнёсся к этому без особого энтузиазма...

Нет, она была всё же не совсем бесформенная и по-своему аппетитная, молодость и всё такое... Главное — приятный голос... Отличное владение колоратурой европейки...

Но всё-таки голос — это не всё... А мне казалось, что Инга намерена ограничиться в общении со мной вот именно разговорами... О бессмысленности жизни.

Это была её любимая тема, и она признавалась, что ей особенно нравится говорить об этом со мной...

Но мы, на мой взгляд, уже достаточно об этом поговорили, во время кофейных пауз...

А когда я один раз предложил пойти ко мне домой, Инга отказалась. В общем, частично увидев, а частично вспомнив различные подробности, я предпочёл поехать вместе со всеми, а не оставаться с Ингой на целый день в гостинице.

Помимо всего я плохо понимал, почему нельзя этим заниматься в более конвенциональное время. Я хотел её об этом спросить, но вовремя вспомнил, что она ничего такого мне и не предлагала напрямик.

Не потому ли, что ночь — это время Карстена?

Эта мысль вдруг вывела меня из умиротворённого состояния.

Карстен вообще действовал мне на нервы, это был очень неприятный субъект, и я не мог понять, как Инга может с ним...

А что она с ним?

Ну, по крайней мере, она с ним флиртowała...

— Почему ты вчера не захотел остаться в гостинице? — спросила Инга, как бы читая мои мысли и одновременно проводя рукой по моему бедру. — А? Я тебе не нравлюсь?

— Ну что ты. Я просто не знал, что у тебя на уме. Помнишь, я предлагал тебе зайти ко мне после работы?

— Это было как-то нагло, мы ещё только познакомились... И у меня тогда не было настроения, я волновалась из-за этой проклятой практики...

— А я же не знал. И потом, я думал, что мы поедем на море. Кристоф обещал мне, я не думал, что он меня обманет...

— Значит, море для тебя важнее, чем женщина?

— Ну при чём тут женщина!

— Ты что, не считаешь меня женщиной?

— Что ты, что ты, — я обнял Ингу, — просто ты в тот момент была не женщиной, а вероятностью женщины. И при этом не очень большой... Меньше двадцати процентов...

— Процентом чего? Женщины?!

— Да нет же, Инга. Вероятности того, что ты дашь. Я так думал, я так тебя оценил...

Инга рассмеялась и сказала:

— Не верю. Просто я тебе не нравлюсь.

— У меня есть шанс доказать тебе обратное, — сказал я и положил ладонь на её лобок.

Тут произошло непредвиденное, Инга, к моему удивлению, сразу же начала кончать, как ни по-дурацки звучит эта фраза... Она то есть начала корчиться в совершенно однозначных судорогах... Я хотел убрать оттуда руку и пустить в ход другую конечность... Но было поздно, Инга явно кончала мне в руку и держала её своей рукой, чтобы я её не убрал...

Мне вдруг показалось, что она рожает, а я не пускаю младенца, прижимая ладонь к его темечку... Толкаю его обратно, в утробу... Всё это время я даже не пробовал ввести туда палец... Пальцы были соединены вместе, и я нажимал ими на влажную вагину...

И одновременно на лобок — ладонью той же руки...

Лобок у Инги был бритый, и всё это было достаточно приятно... Когда она замерла и замолчала, я отнял руку и, помогая себе ею... То есть той же рукой, наконец-то ввёл член...

Ты прав, это на самом деле архаично звучит, лучше тебе об этом вообще не писать...

Даже сам по себе «член»... Член политбюро...

Тот иначе склоняется: «ввёл члена политбюро в курс дела»... Но: «ввёл член в тело курсистки...» Эти идиотские выкрутасы... Сейчас приходят в голову, наверное, потому что наши тела переворачивались... Мы меняли положения... «Сначала он вошёл в её положение, потом она вошла в его положение...»

А потом Инга ещё раз кончила... Теперь уже почти синхронно со мной...

Всё это время она была так активна или, как бы сказать... Подвижна... И требовательна... Что в голове у меня появилась глупая мысль... Инга недавно забеременела, — подумал я, — и решила выбить клин клином... Есть такой способ, по крайней мере в России, а какая в п..ду разница?

Сам не знаю, почему мне в голову пришёл этот бред... Ну, когда-то было у меня что-то подобное, в прошлом, как я потом узнал... И что-то в припухлости её сосков мне напомнило... Но тогда уже поздно было бы пытаться сорвать, да и потом, может быть, у неё и всегда была такая грудь, я же видел её впервые...

Наверно, просто с какого-то момента из головы у меня не шёл Карстен... Вот я и подумал, что Инга забеременела от Карстена, потом поссорилась (Инга не раз говорила мне, что она не хочет иметь детей и что мужчину, который умудрится сделать ей ребёнка, она убьёт на месте. Карстен до последнего момента был жив-здоров, но девичьи слова тоже ведь не надо принимать слишком буквально) и решила меня использовать...

Это был бред, который надо было просто выкинуть из головы.

Dance me to the children, who are asking to be born, — напевал я по дороге в ванную...

Это была неприятная мысль, что тебя так вот используют, но, повторяю, совершенно немотивированная, я то

есть понятия не имел, да и сейчас не имею, была ли Инга беременна, — не надо переоценивать мужскую интуицию.

— Можно тебя о чём-то спросить? — сказал я.

— Конечно.

— Ты это делаешь с Карстеном?

Да, это был бестактный вопрос, я сам не знаю, как я его задал. То, что мы лежали в тот момент в одной постели, вовсе не давало права задавать такие вопросы. Может быть, её детский косячок всё-таки повлиял... Он был с запахом пионерского костра... И что-то там разыграло... Инга, впрочем, и не подумала обижаться. Но в ответ сказала такую странную вещь... Я, конечно, сам виноват... Типа: «Ну ты ответил!» — «Ну ты спросил!»

— Вот и он меня спрашивал о тебе, — сказала Инга, — вы *оба* себе что-то выдумываете...

— Как это? — сказал я. — Что значит — *оба*? Что ты хочешь этим сказать?

— Два дурака... Понавыдумали себе чёрт знает что... — пробурчав это, Инга на короткое время уснула. Я знаю, что на короткое, потому что я тоже уснул ненадолго, а когда я проснулся, Инги в номере не было. Я встал... Но хватает уже этих «я встал», «я потянулся», «я натянул»... Последнее, впрочем, могло бы лечь в основу этой главы... Глава вообще выросла бы тогда до романа, который назывался бы... Скажем, «Однажды на Сардинии»?

Нет, это название уже где-то было... Да, точно, один знакомый немецкий литератор (учивший меня немецкому в Гёте-институте — он там зарабатывал себе на чернила) написал, мягко говоря, эротический... Или, если называть вещи своими именами, «мягко-порнографический» роман «Однажды на Ибице». Чтение этого произведения существенно расширило мой запас... немецких слов... и выражений... Вообще я воспринял его как продолжение занятий, которые в Гёте-институте к тому моменту закончились... Оценивать как-то иначе этот роман я бы не

стал, но ведь и М. написал его с вполне определённой целью: он выставил своё творение на конкурс жанровой литературы клуба «Бертельсман»... Кстати, едва не выиграл приз, вошёл, кажется, в последний тур... Вполне солидную сумму мог отхватить, что-то там около 200 000 евро...

Я бы тоже попробовал, если бы только Инга на Сардинии не произвела на свет эту удивительную словесную конструкцию. Видимо, фраза меня так поразила (если в неё хорошенько вдуматься, подходишь к Ничто на такое близкое расстояние, что... Что?), что я не смог удержаться от соблазна повторить её в тексте... А после этого превращать эпизод с Ингой во что-то большее уже не представляется возможным... Вот какой зародыш, или точнее — зародыш чего, я тогда почувствовал в Инге. Недаром Ватикан (в лице кардинала Ратцингера) на днях так яростно выступил против деконструкции... Как разве что ещё против абортов.

Ну и правильно сделал, потому что в результате... «почти ничего не остаётся (у меня), ни самой вещи, ни чистого объекта, ни чистого субъекта...»

Это — Деррида в исполнении Кортасара, герой рассказа которого («Дневниковые записи для рассказа») переводит отрывок из сочинения Деррида...

Тем более что больше у нас с Ингой ничего не было, ни до, ни после, и если я только что вспомнил имя «Ася», то ещё через двадцать лет, если даже я доживу, я вряд ли вспомню имя Инги... Понятно, что в тексте её имя изменено... А какой толк тогда, спрашивается, через двадцать лет от этого текста?

Я, впрочем, несу уже полную белиберду... При чём тут имя? «Что в имени тебе моём?»

«Что в вымени тебе моём?»

Йозеф Ратцингер объявил Жака Деррида виновным в создании того способа мышления, который привёл человека к ситуации, когда он (человек) стал рубить ветку, на которой сидит...

Я в этом не уверен, но не стоит сейчас всерьёз... Кто-то из немецких философов потом выступал, говорил, что Ратцингер просто не понимает суть деконструкции... К тому же, обвиняя Деррида в безверии, Ратцингер попросту забывает, что корни деконструкции находятся как раз в религиозной традиции... Правда, в другой — талмудической...

«Что такое деконструкция, в двух словах?» — спросили Деррида в Америке... Но это можно воспроизвести только на английском... «What is deconstruction in a nutshell?» — спросили Деррида в Америке. «Always, when you see the nutshells, you should try them», — ответил Деррида.

Игра слов, «in a nutshell» — это и «в ореховой скорлупе», и «вкратце, в двух словах».

Ну, а остальное понятно, все раскалывали грецкие орехи... Орех об орех, сжимая оба в руке...

Ну да, ну да...

Орешек знания твёрд, но все же
Мы не привыкли отступать.
Нам расколоть его поможет
Киножурнал «Хочу всё знать!»

Последнее reality-show, которое я видел перед отъездом на Сардинию, называлось «Гонки спермы». Нет-нет, я не пытаюсь, вопреки собственным заявлениям, писать порнобоевик, чтобы выставить его на конкурс «Бертельсмана», «Гонки спермы» — это название реального телешоу, которое я видел перед поездкой на Сардинию. Оно зародилось в Голландии, оттуда пришло в Германию, скоро, наверно, докатится до Украины.

Сначала в девушку заколачивал один участник состязания, потом другой, после чего на экране возник окуляр микроскопа, и мы стали смотреть, чьи сперматозоиды быстрее и ловчее...

Я вспомнил об этом, когда мы с Ингой плавали в бассейне, по краям которого гуляла свадьба... Там у них был

даже фейерверк... А мы плавали в бассейне, как не люди и даже не золотые рыбки... Мы были бестелесными соглядатаями, просто слоями воды, монадами... Лёжа на воде, смотрели, как светящиеся сперматозоиды бегают по чёрному небу... Сиреневый догонял белый... Огоньки были с такими хвостиками... И я сказал Инге, что это напоминает реалити-шоу... У меня на глазах были очки... В которых хорошо видно под водой, а в воздухе не очень... Потому что мокрые стёкла...

Были такие водяные линзы, в самых первых моделях телевизоров... Вот там примерно мы с ней и лежали — художники сейчас любят в антикварные телики вставлять плазменные экраны, оставляя только старый корпус, — вот что-то в этом роде... я ощущал в тот момент... и я думал об этом не писать, потому что глава затянулась, но уже лучше это пересказать здесь скороговоркой... Иначе я и вправду могу загореться идеей жанрового произведения... Скажем — «Огненные ночи Сардинии», а?

Фейерверк был устроен в честь чьей-то свадьбы на третий или четвёртый вечер...

Я не хотел об этом сейчас писать ещё вот по какой причине... Бойкий тон, который я взял, как-то не соответствует моему тогдашнему состоянию... На самом деле то была грустная поездка... О причинах я ещё скажу... Хотя дело не только в том... О чём я ещё скажу... Просто я страшно устал от этого «отдыха»... Столько пить в такую жару... Эпизод с Ингой был сам по себе хорош... И меньше всего я хочу здесь... Как это сказала поэтесса Д., прочитав роман нашего знакомого... «Это — сплошной монолог, — сказала она, — который представляет собой не что иное, как нытьё интеллигента, которого, беденького, в очередной раз насильно затащили в постель...»

Да, мне уже приходилось слышать от читателя предыдущих глав, что все эти якобы чужие высказывания о якобы чужих манускриптах я пишу сам, имея в виду свой же собственный. Что это такая превентивная само-

критика, считая белыми нитками... Лёгкий самосуд, который я себе учиняю, вместо того чтобы выставить всё как есть на строгий суд читателя...*

Что я могу сказать... Я мог бы назвать фамилии, адреса, явки... Но не буду это делать.

То, что люди говорят заглазно о произведениях других людей, — последнее, что можно выдавать, разве только под пыткой или психотропными веществами... Наши заочные критики ведь не пишут статьи, просто говорят, что думают, не предназначая это для ушей автора... Просто потому, что не каждый способен выдержать правду о самом себе... Ну ладно, не «правду о самом себе», но всё же правду... Правду о том, что о тебе говорят...

И всё же, зачем был нужен этот очередной «ах какой пассаж» о том, что это — не ахти какая проза? Тебе не кажется, что это не самосуд, а самодурство? Я, конечно, понимаю, что всё твоё произведение скреплено этими ложными фахверками... Но если фахверки ложные, то как они могут что-то укреплать? Может быть, ты их путаешь с ложной скромностью?

Нет, я скажу тебе, что напоминает твоя «самокритика», все эти вставки, которые по объёму уже приближаются к собственно тексту. Они напоминают формально нерешаемые предложения математической логики. Когда ты посылаешь кому-то письмо, в котором написано «Это не стоит читать», это похоже на классическое «Это предложение ложное», и ты таким образом рискуешь попасть в бесконечный цикл... Как это чуть не случилось с тобой

* 4.09.09 А на днях, читая «Доктора Фаустуса», дойдя до вот этих слов Цайтблома: «Ах, я пишу плохо! Страсть всё сказать за один раз переполняет мои предложения, уводит их слишком далеко от мыслей, для фиксирования которых они начинались... И я правильно делаю, что сам себя критикую прежде, чем это успевают сделать читатели», — я понял, что вот он, «удар со стороны очередного классика» (в оригинале «Ich tue gut, die Kritik dem Leser vom Munde zu nehmen»).

в начале главы, когда ты заикнулся на еврейской теме... Ты понимаешь, что там чуть не воспроизвёл парадокс Эпименида... Заменяв жителей Крита на евреев, ты чуть не сказал: «Все евреи лжецы».

При этом нужно, конечно, сказать, что ты — еврей...

Мне впервые это сказали, когда мне было шесть лет. Я был в Донецке с бабушкой, в гостях у родственников. Я помню, что тётя взяла меня на вылазку, куда она поехала вместе со всем своим отделом. Bereichsausflug, на ja... Я бегал по лесу со своим троюродным братом и ещё какими-то детьми.

И кто-то из них научил всех нас песенке «Евреи, евреи, везде одни евреи!» И мы её весело так распевали хором, пока над нами не склонилась мама одного мальчика. «Прекратите, — громко зашептала она, — немедленно! Вокруг полно евреев! Не смейте больше это петь!»

«Так ведь это же мы и пели, — подумал я, — что вокруг одни... Странно, всё это очень странно...»

Я решил спросить об этом у бабушки. Первое, что я спросил, когда мы пришли домой, было: «Кто такие евреи?» Бабушка сидел за столом с дядей Фимой, родным братом моей бабушки. Я тоже сел за стол и задал вопрос. Бабушка, казалось, обдумывает ответ...

Много лет спустя в каком-то фильме Вуди Аллена я видел такую сценку... Один персонаж говорит другому, что он ему сейчас скажет, что такое «еврей» на самом деле. После этого он молча что-то рисует на листике, а потом показывает этот листик своему визави, но так, что зритель ничего не видит...

Бабушка и дядя Фима в ответ на мой вопрос ничего не рисовали, но задумчиво смотрели на меня какое-то время... А потом дядя Фима сказал:

— Евреи — это люди.

Этот ответ меня не удовлетворил.

— Но кто именно? Кто эти люди?

— Тебе что, нужен пример? — спросил бабушка.

— Да, — сказал я, — мне нужен пример.

— Ты, — сказал дедушка, — ты — еврей.

— Я?! — я оборвал их смех этим криком. Они смеялись, но я сразу понял, что ответ был серьёзным, какие-то полуслова, полутона, которые я слышал до этого вполуха, не обращал внимания, что-то такое непроявленное, всё это вдруг сложилось в совершенно чёткую картину... Я ничего не знал о евреях до этой минуты, как я уже сказал, я даже не знал, кто такие евреи. Мне было пять или шесть лет.

— Но это же поразительно! — сказал дядя Ефим. — Он что у вас, дожил до шести лет, не зная, кто такие евреи?

— Он не спрашивал, — пожал плечами дедушка. — Почему ты плачешь? — спросил он меня.

Слёзы текли не изнутри наружу, а наоборот, как будто я попал под невидимый со стороны солёный дождь. Я не мог объяснить почему. Дедушке и дяде Ефиму долго не удавалось меня успокоить, они наперебой уверяли меня, что все нации равны, я помню, что дядя Ефим даже зашел «Интернационал». Но я ничего не мог с собой сделать, я убежал в другую комнату и там ревел.

Сейчас я могу, конечно, это объяснить. То, как шептала над нами незнакомая женщина «прекратите, вокруг полно евреев»... Шептала, чтобы мы не пели «вокруг одни евреи»... Выдавало какую-то ужасную тайну. Что существует какой-то стговор... Что слова имеют какие-то другие смыслы... Когда б и впрямь не красть детей... Я очень долго плакал тогда, дедушка и дядя Фима сильно волновались. Мне кажется, что это было похоже на мою реакцию на прививку от чёрной оспы — у меня была, можно сказать, экзотическая реакция, температура больше сорока одного градуса, врач сказал, что такая реакция бывает в одном случае из десяти тысяч.

Но что ты хочешь этим сказать? Что если бы тебе не сказали, что ты еврей, ты мог бы заболеть коричневой чумой? Нет, я никогда не считал, что мир разделён на евреев и антиевреев. Или я так думал только в тот момент —

когда мне было шесть лет и мне впервые сказали, что я еврей. Но откуда я мог знать тогда, кто такие антисемиты? Такого слова я уж давно не знал. То есть я не подумал, а *почувствовал...*

Но куда-то меня опять занесло... Листаем наш словарь: эпидемии, Эпименида парадокс... Да, теперь то, что касается самокритики... Я перечитал последний такой абзац, хотел его стереть, но вслед за ним тогда захотелось стереть «фахверки» и во всём остальном тексте, заодно и в первой части «Параллельной акции», потому что по замыслу эти две части должны были быть в свою очередь параллельны... Честное слово, единственная причина, по которой я это не сделал, была боязнь, что тогда всё вообще развалится, и не просто развалится, а завалит меня, и мне придётся строить весь текст заново. А мне хочется его закончить как есть, так что пусть уж он растёт и дальше, как сказали бы строители, «на скользящей опалубке», даже если она порой становится слишком уж скользкой...

Вспомни: в Рыбацком квартале в Ульме можно увидеть сильно перекошенные дома, сплошь испещрённые красными фахверками, благодаря которым они, собственно, и стоят.

И, кстати, стоят они так пятьсот лет... Так что не надо ничего трогать... Я хотел вычеркнуть идиотический абзац про фамилии, адреса, имена, явки, но вместо этого решил, что если назвать явки, не называя ни адресов, ни фамилий... Абзац может немного ожить, хотя я нико-го и не выдам.

Например, друзья друзей... Я цитировал в первой части высказывания Манфреда о произведении вечно наступающего всем на ноги Г., которое заочно действительно представляется мне похожим на мои побеги от жанров... Но это же не моё произведение!

Я его даже не читал, и Г. его не читал, по крайней мере вслух на тех посиделках, да он тогда его ещё и не начал писать...

Правда, как-то раз он читал нам отрывок — только нам двоим, в каком-то баре, где кроме нас никого не было, и, закончив чтение, Г. сложил тетрадку и почти сразу ушёл, куда-то он спешил в тот вечер...

— И как тебе? — спросил меня Манфред после некоторой паузы.

— Я плохо воспринимаю на слух, — сказал я, — к тому же на немецком...

— Да ещё и на таком немецком, — улыбнулся Манфред, — честно говоря, мне не очень. Zu blumig («кучеряво», «цветисто»), и потом... Отдаёт нафталином. Смешно, к примеру, слушать написанные с пафосом строки о том, что по-настоящему Г. любил только одну женщину, имя которой он сохраняет в тайне...

— Манфред, что здесь такого смешного? — прервал его я.

— Хотя бы то, что он при этом уточняет, что имя её уже было названо выше, как бы предлагая угадать... У которой кольцо — обручальное... То есть настоящее — как в легенде, рассказанной Лессингом в «Натане» про трёх сыновей...

— Ну, знаешь, это достаточно далёкая ассоциация, масонская притча о трёх монотеистических религиях и признание Г... И потом: если в тексте Г. в самом деле столько слоёв... Что же здесь плохого?

— Это только один пример, я же читал другие куски, и там была масса чудовищно нелепых моментов, которые я не хочу разбирать... Если бы я был критиком, я бы написал разгромную статью, причём с наслаждением, граничащим со сладострастием. — Манфред засмеялся, а потом добавил: — Впрочем, если Г. напечатает эти свои «Aufzeichnungen des letzten Mannes», это кто-то непременно сделает вместо меня.

— Название, однако, не без претензии... Напоминает Рильке, а с другой стороны Бланшо...

— Да тут, по-моему, и без всяких напоминаний... «Последний мужчина», tja, das muß ich dir sagen... Но, в об-

щем-то, ты прав, всё вперемешку... Таков и сам текст — как название, нулевой при очень больших претензиях.

— Ты никогда не говорил ему об этом?

— Нет, конечно. А зачем?

— Ну как же, подсказать товарищу, что сбился с пути... Друзья же всё-таки.

— Послушай. Фрэнсис Бэкон — художник говорил, что homo sapiens способен воспринимать критику в свой собственный адрес. Но не в адрес своих произведений. Потому что самого себя он считает чем-то пластичным, чем-то, что всегда ещё можно исправить, а вот свои произведения, напротив, чем-то жёстким, уже принявшим форму, застывшим, схватившимся... Так что: именно потому что друзья, я не могу сказать ему, что все эти его постельные сцены — жуткий китч, что ноль-дистанция между автором и рассказчиком даёт ноль и в сумме... И что я вообще-то не люблю копаться в чужом белье и слушаю всё это, можно сказать, просто из вежливости.

— Мне кажется, это нечестно.

— Что нечестно?

— Молчать.

— Что же тут нечестного, Алекс? Зачем мне ссориться с Г.? Он иногда бывает очень мил, с ним хорошо встретиться... Примерно раз в полгода...

— Ну ладно, это твоё дело... Знаешь, слова Бэкона напомнили мне об одном литовце, которого известный тебе фотограф считает своим учителем. Он делал снимки с такой интересной экспрессией, я бы сказал, очень давно, ещё в шестидесятые, в СССР... Я видел его единственный альбом, когда был в гостях у Михайловых. Борис до сих пор очень высоко ставит его — как художника. Человек был эксцентричный, мягко говоря. Например, какое-то время держал у себя в доме живого льва... Он мог себе и такое позволить, потому что через него проходили какие-то чуть ли не правительственные литовские заказы, государственные, в общем, «Bildströme» (потoki кар-

тин), что-то такое, и по тем временам он был просто богат. А потом к нему как-то зашёл его приятель, и Луцкас — так звали фотографа — стал показывать ему свои последние работы. Приятель поглядел на них, поглядел, а потом возьми да и скажи: «Прости, старик, но, честно говоря, эти мне что-то не очень нравятся». Реакция Л. на эти слова была, скажем так, не совсем адекватной: он схватил со стола хлебобрезку и загнал её в своего приятеля по самую рукоятку. То ли в горло, то ли в сердце, я точно не помню.

Как говорится, в состоянии аффекта — сразу же после этого он как бы очнулся, вызвал скорую... которая довольно быстро приехала, и врач зафиксировал, или — засвидетельствовал, — смерть. После чего Л. сам выбросился из окна, и тоже насмерть.

— Неужели всё это правда? — сказал Манфред.

— Я думаю, да, — кивнул я и, почувствовав, что эта странная история заводит мысль Манфреда в какой-то тупик, вспомнил и то, что добавила Вита Михайлова после того, как Борис рассказал мне о Луцкасе: «Мы всегда рассказываем эту историю, когда к нам заходят новые люди, — прежде чем показать им свои работы». Манфред рассмеялся, но потом вдруг снова стал серьёзным, снял очки, чтобы их протереть, и...

— А куда делся лев? — спросил он.

— Какой лев? — спросил я.

— Ну лев. Ты сказал, что он держал в доме льва.

— А, ну не знаю, он вроде недолго его держал... Это была другая семья в Союзе, совсем в другой республике, которые долго держали льва дома, их звали Берберовы... А почему ты вдруг вспомнил вообще этого льва?

— Да так, вспомнились слова из одного апокрифа... «Счастливым будет человек, который съел льва, но горе тому льву, который съест человека».

Потом какое-то время мы с Манфредом ходили на собрания небольшого литературного кружка, в который вошёл Г., как будто подозревая, что Манфред ему чего-то не

договаривает... Ну, или ему вообще понадобилось на каком-то этапе литобщение, шесть-семь человек, все они были филологи, некоторые ещё учились в университете, некоторые недавно закончили, и раз в месяц собирались на чьей-то квартире возле Остбанхофа и ночь пролёт читали друг другу свои тексты. За исключением меня и Манфреда, разумеется, мы были там на правах гостей, слушателей и дегустаторов — каждый приносил с собой вино, получался неплохой букет букетов... Я ничего не читал, потому что тогда ещё ни одной моей строчки не было переведено на немецкий; Манфред — потому что он вообще ничего не пишет, являя собой показательный пример *Lebenskünstler*'а*. Собственно, он и посетил эти посиделки всего три раза, а я, как и на курсах, где мы с Манфредом познакомились, задержался чуть подольше... Но в этом случае вот именно: «чуть».

Было ещё не так поздно, когда Манфред уснул на свободной тахте, никто его не будил — из деликатности, при том что он довольно громко храпел, и это явно омрачало автора-декламатора... По-моему, Манфред проспал тогда до утра, его не разбудила даже музыка...

Там была девица, читавшая свой рассказ под мини-мал-техно... Ну да, ставила она его при этом не слишком громко, фоном...

Впоследствии оказалось, что она читает на каждом посиделках один и тот же рассказ.

Под ту же самую музыку.

После того как это повторилось в третий раз, я в очень мягкой форме... спросил, зачем она это делает.

«Ты хочешь добиться определённого суггестивного эффекта?» — попробовал я ответить за неё, потому что для неё мой вопрос был полной неожиданностью.

Она так искренне и сильно удивилась, что я за неё немало испугался. Бывают такие заикливания, когда че-

* Жизнетворца (*нем.*).

ловек не замечает, что сто раз повторяет одно и то же, например, под воздействием... Да ну, мало ли что бывает и что на кого и как действует.

Но всё оказалось ещё проще. Подумав, Е. сказала: «Во-первых, это мой единственный рассказ. Во-вторых, каждый раз кого-то нет, и наоборот, есть какие-то новые люди, которые могли не слышать...» Я хотел сказать: и в-третьих, смотри во-первых? Но вместо этого спросил, не могла бы она меня подвезти — она собралась уходить, и я тоже был уже вполне готов покинуть чтения, транспорт ещё или уже не ходил, а Манфреда с его машиной на этих посиделках уже не было.

В машине Е. продолжала пребывать в состоянии глубокой задумчивости, вызванной моим вопросом, я имею в виду вопрос «Зачем ты читаешь это столько раз», потому что другой мой вопрос — «Не хочешь ко мне зайти и продолжить...» — она, по-моему, даже не расслышала, не знаю, был ли причиной тому вопрос первый...

«И вот, когда она на следующих чтениях стала снова читать тот же самый рассказ...» — Манфред рассмеялся, услышав мой отчёт, и мы с ним тогда окончательно сошлись во мнении, что лучше пить с художниками... И ещё лучше теперь оставить линии фахверков и workshop'ов... Иначе я начну уже даже не переводить, а пересказывать — чужие тексты, например, рассказ Е., я вот вспомнил, что он назывался «Schnittstelle» — «Интерфейс», но я уж точно не буду его пересказывать, энтшuldigун.

Или совсем короткий рассказ Г., дописавшего уже свой роман (и где-то он должен вскоре выйти), о том, как он ходил каждый день в зоопарк и смотрел там на какого-то зверя. Пока однажды не поменялся с ним местами... Я сказал — там же, на посиделках, — что рассказ напоминает кортасаровского «Аксолотля». Сказал совершенно зря, потому что Г. Кортасара не читал и всё равно обиделся... Ладно, в любом случае пора это кончать, иначе могут

начаться ещё и не такие рокировки... Так что продолжим собственную бесхитростную летопись от слова «лето»... Художник от слова «худо»... Литератор от слова «литр», а что, сейчас, по-моему, так и говорят: «литра», — так что всё срослось...

На третий сардинский вечер Инга снова постучала ко мне в дверь, но на этот раз она а) не играла со мной в прятки, б) не пыталась устраивать в моём номере стриптиз, с) не дала. Последнее я было объяснил для себя начавшимися менструациями, но спрашивать не стал, а когда выяснилось, что Инга зовёт меня плавать в бассейне, я всё же стал склоняться к версии деконструкции.

В свою очередь, я на этот раз отказался курить с ней траву, что объяснялось моим нежеланием добавлять к выпитому за день... Слишком много выпито было за этот день, сердце слишком часто делало «тук-тук», и какой-то ещё поверх всего этого smoke мне был совершенно не нужен... Я и так казался себе мумией, заспиртованной и высушенной жёстким сардинским солнцем... Я уже говорил, что вся эта поездка меня так притомила, что, прилетев в Мюнхен, я потерял свою дорожную сумку. Просто забыл её на остановке, приехал без неё домой, на следующий день не мог понять, куда она делась...

Самое замечательное, что ещё через день я забрал её из «фунд-бюро», то есть из бюро находок, и всё в ней было в целости и сохранности — прямо как воспоминания, которые я сейчас забираю — из бюро находок...

Ну, может быть, в памяти не совсем так... Вещи сохранились всё-таки лучше, в сумке всё было, ничего не исчезло, главное — лэптоп был на месте...

В сумке был такой же хаос, как в твоей памяти... Который ты же сам и учинил — в сумке... Кроме того, фрагменты этого текста уже и так были в сумке, потому что там же лежал лэптоп, так что они были и на жёстком диске, и в твоих размягчённых мозгах... Бывают матрёшечные

сны, а у тебя матрёшечный делириум... Лобок-лубок, фахверки-фейерверки... Короче говоря, на Сардинии я устал. Но я помню, что, несмотря на страшную усталость от раблезианской пьянки, на третий день мне всё-таки хотелось...

Хотелось завершить бессмысленный день, хаотические движения автобуса, копошение собственных мыслей в траве острова... одним махом семерых забивахом... Почему семерых?

Кажется, это из игры в городки.

Но Инга была как кремь. Что-то там внутри у неё щёлкнуло, я думал, что у неё начались эти дела, но она звала меня в бассейн, и это было бы совсем уже странно... Хотя на самом деле теперь существуют такие прокладки, что позволяют женщине... Но я тогда был такой варвар, что ещё даже не знал об их существовании... И снова в голове у меня замаячил призрак Карстена... Ох уж мне эти белые воротнички... и другие прослойки...

Инга предлагала покурить прямо в бассейне, там, по её словам, совсем никого не было, но я отказался и от *smoke on the water*, единственное, на что мы оба были таким образом согласны в тот вечер, был просто «фрай-бад», то есть открытый бассейн.

Инга знала дорогу, она уже успела туда прошмыгнуть прошлой ночью, или утром, она мне говорила... Мы спустились по лестнице, по сторонам которой были чёрные заросли... как называются эти кипарисы, которые не тянутся в небо, а растут горизонтально или наклонно...

Когда мы с Ингой сошли примерно на сто ступенек, сквозь дырочки в чёрных живых стенах стали мелькать огоньки, стали слышны голоса...

— Там кто-то есть, — сказал я.

— Ну и что? Мы поместимся, — сказала Инга.

— Только не кури... А где Карстен?

— Я же за ним не слежу. И ты оставь его, наконец, в покое.

— Да я и не...

Вот так примерно мы с ней болтали, пока не вышли из зарослей на площадку.

Там мы резко замолчали. Потому что бассейн был не просто полон... Бассейн-то как раз был пуст, в нём была вода, она была подсвечена...

В бассейне была вода и ничего кроме воды, но вокруг неё было несметное количество людей... При этом мужчины были в чёрных костюмах, в белых рубашках, а женщины в вечерних платьях... Все с бокалами...

— Свадьба, — сердито сказала Инга.

— С чего ты взяла? — спросил я. — Может, просто парти...

— Да вон же. Жених и невеста. Фата до пят... *Fick dich ins Knie!** — последние слова Инга громко выкрикнула... Я испугался, что кто-то знает немецкий... Но никто не знал или не услышал.

Инга была права, это была свадьба, не знаю, почему её справляли в таком странном месте. Хотя что здесь странного, бассейн в темноте выглядел романтично: горное озерцо, окружённое скалами... Море им, наверно, поднадоело, они же здесь живут... А прямо у скалы ещё один бассейн, с джакузи.

Я указал Инге на бурление у подножья скалы и сказал, что вот это и есть кастальский источник. Инга поморщилась и сказала, что пифии вызывают у неё омерзение. Она обозвала их всех скопом... «Расфуфыренные самки», как-то так это можно перевести на русский. Вообще, всё это, по мнению Инги, было праздником китча... Ну а что ещё от неё можно было услышать по такому поводу... Мы пошли назад... Мысль раздеться при этом скопище фраков... На глазах у Новобрачной (с большой буквы, чтобы ещё и в Дюшановском смысле, ну да)... Мне как-то даже не пришла в голову.

По дороге Инга зачем-то ещё раз озвучила концепцию... Которую я уже сто раз слышал...

* Ругательство, буквально: «сношай себя в коленку!» (нем.).

Согласно которой мачизм и женственность — удел примитивных наций...

А деторождение — то, к чему хотели свести удел женщины наци. Поэтому сама идея детей себя скомпрометировала... Во всяком случае она, Инга, терпеть детей не может. Особенно маленьких. Чем меньше, тем хуже... Не буду дальше воспроизводить все её мысли... Которые я все сразу вспомнил, когда в бассейн упала сторевшая ракета и... Инга выловила из воды — и показала мне чёрную маленькую головешку...

Да, мы всё-таки попали в бассейн в тот вечер.

Благодаря Кристофу. Поднимаясь по лестнице, мы встретили Кристофа, Бригитту, Андреаса и Карстена.

Инга сказала им, что купаться нельзя, потому что бассейн со всех сторон окружён свадьбой.

— Что значит нельзя? — сказал Кристоф. — У них своя свадьба, у нас своя. Мы за всё заплатили. В том числе и за бассейн. Идём, идём.

«У нас за всё заплочено». Какое-то жлобство, нет?

Но ты ведь тоже пошёл с ними...

Только из-за Инги. И дело даже не в Карстене, вся эта ревность была довольно-таки смехотворной, ведь я прекрасно представлял, как такое существо, как Инга, проводит свои ночи в Мюнхене... Чтобы три дня на Сардинии играть роль ревнивца... Сколько той Кубани и вообще... при чём тут Карстен?

Но всё-таки в тот момент между нами что-то было, я имею в виду Ингу, я не имею в виду Карстена... Который всё-таки тоже был между нами...

Короче говоря, я пошёл с ними. Кроме всего прочего, или это надо было сказать в первую очередь, — мне безумно хотелось броситься в воду...

Вот ты с этого и начни...

Ну да, ну да, я был отупевшим, осоловевшим, офонаревшим, ох...

Помимо бутылок со спиртным на этом острове ничего не было.

Ну разве что ещё пробковый заводик, куда нас тоже зачем-то свозили... Какой-то старожил специально вышел на работу... Сидел на стуле и резал пробки вручную... Чтобы показать нам, как это делалось в древности... Зачем нам было это показывать? Спроси меня что-нибудь полегче...

Сардиния снабжает полмира гранитом и пробками...

Но того, кто так причудливо вырезает из гранита эти скалы, нам в этот раз не показали, нет.

Возвращаясь в бассейн: ситуация была настолько комичной... Что это уже нельзя было назвать примитивным жлобством, я беру свои слова обратно, это было скорее такое мелкое хулиганство, ну да... вроде приличные люди, ведь не какие-нибудь там панки... Инга, впрочем, была чуть панковатой... Но только чуть-чуть... Скажем, слегка припанкованной... Остальные же выглядели очень солидно: степенные крупногабаритные фрицы в очках... Поэтому когда все они, то есть мы, начали раздеваться, публика пришла в такое недоумение.

Ну, естественно, пять или шесть, или сколько там нас было... Или их, потому что немцев... Хотя для итальянцев мы в тот момент были на одно лицо... Мы все были «сверхнационалистическими невежественными блондинами» — так незадолго до нашего купания в бассейне назвал всех немцев скопом итальянский министр туризма — прямо как в воду... глядел.

— Главное, чтобы практикантка не обнажалась, — сказал мне на ухо Кристоф, — иначе не избежать скандала... Всё-таки свадьба у людей, и это Италия, тут другие нравы, Ватикан и всё такое... А Инга мне говорила, что практикует ФКК*, когда я спросил на собеседовании, какое у неё хобби, представляешь?

— Представляю.

— Но здесь она ведёт себя прилично. Купальник у неё есть, она молодец... Иначе вон тот итальяшка нас бы всех

* Frei-Körper-Kultur (нем.), по-русски нудизм.

перестрелял. Ты смеёшься, а я видел, как он только что направлял на нас свою ракетницу.

КОНЕЦ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

Кажется, описаны второй и третий вечер на Сардинии, и остался, значит, только самый первый. Да, движемся в обратном направлении, это бывает... Типа: «в хронологически первый и последний хронотопически...» А не пошёл бы ты на? Нет, это тоже уже было, «остров посланных нах», в чьём-то рассказе... Ну и что, а если это как раз и мой случай?

Нет, меня послали же не на остров, а наоборот — с... но всё равно на... И всё же по порядку.

Стало быть, в первый день, прежде чем заснуть, ты вылез в окно и немного прогулялся...

В другой вечер, или в другое время того же самого вечера, это же самое действие совершил твой коллега...

Но тот умудрился ещё и сорваться со скалы... Сильно вывихнул ногу, между прочим, или даже повредил сухожилие, так что в Мюнхен его, можно сказать, транспортировали, благо в аэропортах есть эти инвалидные кресла, они стоят рядами за дверью, на всякий случай, и в одно усадили нашего «ночного альпиниста».

У меня, как, надо полагать, и у Дирка, это был первый такой опыт лунатизма, но я не сорвался, будем считать, что мне повезло.

Во всяком случае, это был первый опыт сознательно лунатизма, в том смысле что я это запомнил, а так я не знаю, может быть, я каждую ночь где-то брожу, ведомый лунным лучом, всё может быть...

Кстати, сам факт выхода Инги в окно моей комнаты напомнил мне, что был когда-то такой случай: одна барышня сняла с себя всю одежду и вышла в окно.

Это было очень давно, она была студенткой театрального училища... Или циркового? Да нет, театрального... Но

это был красивый жест, окно было не такое, как на Сардинии, а на пятом этаже старого дома... «Сталинка», высокие потолки... Полностью раздевшись, Е. пересекла комнату, легко взлетела на стол — как это делают в мюзиклах и... вышла в окно.

Это заставило меня вскочить с кровати, помчаться к окну и заглянуть в *бездну*.

Я ничего там не увидел, внизу... Но услышал смех... Я думал, что бездна рассмеялась во мне... Над пропастью не ржи, и всё такое... Ну, можно представить себе, что я в тот момент испытал.

Пока не повернул голову.

Оказалось, что будущая актриса, выйдя в окно, прошла налево по карнизу и стояла там всё это время, прижимаясь голая к кирпичной стенке... «Попа просит кирпича», — смеясь, сказала она мне...

Может быть, Инга что-то увидела... На стене моей памяти... И подсознательно повторила театрализованное представление двадцатилетней давности.

Или она увидела мои следы на белом подоконнике? И пошла по ним... Вполне осознанно.

Но какие там могли быть следы, если было сухо.

Просто открытое окно на уровне земли затягивало... И выйти в него было совсем не сложно, и цирковое — и даже театральное, образование для этого вовсе не требовалось.

Номер был на нулевом этаже, и трава за окном была на уровне подоконника.

И я просто перешёл с подоконника на лужайку, а с лужайки — на каменную площадку, потом забрался оттуда на глыбу... С неё на другую... На третью... И вот уже я сидел, или полулежал, на маленьком плато, которое существенно возвышалось над покинутым мною ложем, не превосходя его при этом по площади — как будто кровать подо мной вздыбилась и поднялась вверх...

Я ещё днём подумал, что эти полчища скал похожи на каменный шторм... Целый день мы ездили на автобу-

се вдоль нескончаемых гранитных волн, среди которых вставали знакомые с детства фигуры.

Но на родине они были уникалами... Жили в заповедниках, в строго ограниченных местах, которые по пальцам можно было пересчитать... Город Мёртвых на Кара-Даге... Долина Привидений на Демерджи... Чёртов Палец — опять же на Кара-Даге... то есть раз-два и обчёлся.

А здесь они были повсюду... Среди них было огромное множество каменных людей с птичьими головами... Которых на родине я вообще не видел... Это был какой-то безумный каменный карнавал.

Но экскурсовод обращала наше внимание на другое... Она что-то высматривала вдаль, то и дело повторяя: «Ага-Кхан, Ага-Кхан...» Указывая то налево, то направо... Как Кот в сапогах... Как крестьяне, которых кот подговорил, чтобы они на вопрос «Чьи это владения?» отвечали: «Маркиза Карабаса!»

То есть постепенно создавалось впечатление, что до появления принца Ага-Кхана на Сардинии вообще ничего не было. И никого... Ни финикийцев, ни римлян, ни каталонцев... Или все приходили и уходили бесследно, а на острове оставались трава и камни... До тех пор пока туда не приплыл принц.

С какого-то момента в речи экскурсовода замелькали, впрочем, ещё несколько фамилий: Шумахер, Берлускони...

Года за три до этого я читал в «SZ» статью о Берлускони, написанную Умберто Эко. Тогда же, читая её, я вспомнил, что в романе Эко «Маятник Фуко» были такие примерно слова: «...всё, что делает человек, он делает, чтобы найти Бога.

— А те, кто взрывает бомбы в метро, тоже таким образом ищут Бога?

— Конечно».

Я вспомнил это, когда в «SZ» прочёл объяснение, которое Эко давал причинам взрывов, периодически разда-

вавшихся в то время в разных уголках Италии. Эко заметил, что все они происходят тогда, когда в суде намечено очередное разбирательство по делу Берлускони.

«Таким образом, — писал Эко, — все газеты на следующий день заполнены сообщениями о взрыве, а крошечная заметка о судебном разбирательстве стоит где-то на десятой странице, так, что мало кто её замечает...»

Не верится, — подумал я, хотя с другой стороны... Штраус (Франц Йозеф) давал деньги на взрывы в поездах, чтобы обвинить в этом коммунистов в Испании, я смотрел об этом документальный фильм... Рейхстаг, кстати, подожгли с той же целью, если я не ошибаюсь...

А есть ведь ещё и то, «о чём даже подумать страшно»... Или нет?

Во всяком случае, я в это скорее могу поверить (в версию Эко, опубликованную в «SZ»), чем в его (точнее, его персонажа) версию из «Маятника Фуко». А теперь ещё исламисты, которые действительно могут в поисках Бога разнести всё, что душе угодно... «Чтобы лучше видеть Тебя...» И, кажется, они-то как раз и объявили охоту на Берлускони... Точно, — вспомнил я, — это же было в газетах, — они обещали замочить Берлускони прямо на его даче. Поэтому Гитти (так некоторые из сотрудников называли Бригитту. Я тоже попробовал, но она сказала «Ich bin Brigitte»). Когда она отошла, Кристоф сказал, что для того, чтобы называть её Гитти, надо проработать в отделе год. Может быть, это возрастное, потому что Гитти... Окей, Бригитте лет сорок пять, а может, и за пятьдесят) и предлагала сюда не лететь...

«По ошибке, — говорила она, — они направят самолёт не на виллу Берлускони, а на нашу гостиницу. Вот увидите», — но никто не поддержал эти её газетные страхи, решили лететь на Сардинию, да и Бригитта в итоге полетела туда же... Я вспомнил это обсуждение, как вспоминают фрагмент сна. Странно было, что я такое мог забыть, с другой стороны, я и так спал на всех этих планёр-

ках... Так можно проспаться всё на свете, — подумал я, — не спи, замёрзнешь... Берлускони похож на кота в сапоге... Сапог — Италия... Ну да, хотя вряд ли ему самому нужно что-то взрывать, чтобы отвлечь внимание... Он ускользнёт и без дымовой завесы... Маккавити, Маккавити, таинственный Маккавити... Его вы не поймаёте... Наши перемещения в автобусе, впрочем, тоже напоминают попытку ускользнуть из-под обстрела... Но мы, слава богу, больше походим на неуловимого Джо...

Потом я, кажется, снова вспомнил о статье Жана-Клода Мильнера, которую читал и даже переводил в самолёте. Как бы в виде иллюстрации к ней в памяти на этот раз всплыли кадры недавней передачи по какому-то немецкому каналу... Кажется, по ARTE... Репортаж о ночной жизни Тель-Авива... Речь там зашла о том, что ряд раввинов выступил с инициативой: ловить представителей сексуальных меньшинств и подвергать их принудительному лечению.

Видимо, говоря о Дане International, один из раввинов сказал тогда: «Ну что это за человек, если вчера он мужчина, сегодня женщина, завтра опять мужчина... Вы понимаете, что такой человек завтра запросто может превратиться в кота?!!»

Раввин как будто подтверждал тезисы Жана-Клода Мильнера о современности, в которой давно исчезли бы все границы, если бы только не Еврей.

В то же время всё это было в Израиле, и трансвеститы, и раввины, и все-все — были евреями...

И когда я пересказал увиденный сюжет филологу О. (который тоже был евреем), он искренне удивился: «А что плохого в том, чтобы стать котом?» «В самом деле, — думал я, сидя в автобусе, — что в этом плохого? Может быть, то, что кот для иудея — нечистое животное? Но раввин явно выхватил кота наугад, на его месте могло оказаться и вполне чистое... Или всё-таки то, что это был кот, имело значение?»

В каком-то прозаическом этюде Бродский описал то, как он в аэропорту, почувствовав подступающую к горлу темноту... Приближение солнечного затмения, или я не помню точно, как он это описывал, но я помню точно, как он это предотвратил: Иосиф Бродский закрыл глаза и представил себе, что он кот. Здоровенный такой котяра... И это помогло, «если бы не это, — писал Бродский, — вернувшись домой, я бы провёл остаток дней в какой-нибудь дорогостоящей психушке».

Так что периодически превращаться в кота может быть даже полезно, — сказал я себе, — хотя бы для того, чтобы съесть своих собственных мышей... А дальше мысль моя снова перескочила к Умберто Эко, к его новому роману... Потом к его старым «Травести и Бурлескони», ну и так далее.

Тем временем экскурсовод (немка, когда-то вышедшая замуж за сарда) снова указала рукой в окно и сказала «Ага-Кхан», и так повторялось до возвращения в гостиницу, которая наверняка тоже построена на деньги принца. В точности я этого не знаю, потому что экскурсовод вышла раньше, в отель автобус привёз нас самих, а когда я сказал портю: «Ага-Кхан?», он только рассмеялся мне в ответ, что могло означать как «ага», так и нет. Я уже был достаточно пьян (отсюда и чехарда мыслей в голове, которую я тщетно пытаюсь здесь отразить, читатель, ну просто представьте себе тут такую анимационную вставку: чёрного кота, скачущего по зелёному острову), на всех остановках мы что-то пили, хотя и ели тоже, надо сказать... Периодически я что-то вспоминал и обращался к Кристофу: «Море, — говорил я, — Кристоф, когда же мы поедem на пляж, а Ага-Кхан?!» Кристоф говорил, что будет мне и пляж... Вообще на Сардинии Кристоф немного видоизменился. Надо было видеть его лицо, когда он сказал в баре отеля, указывая на нас: «Всем наливать в неограниченных количествах. Всё на один счёт!» — и сделал рукой сложный начальственный-царственный жест — похожий на роспись в воздухе...

Перед ужином мы пили какой-то зелёный аперитив на лужайке перед отелем... Кристоф, Йорг, Маркус и Бригитта пародировали передачу «Литературный квартет»... Обсуждали какую-то воображаемую книгу... Всё это было немного странно... Кристоф, играющий роль Райх-Раницкого... На самом деле очень смешно... Я вспомнил, что, когда они всё это там прямо передо мной затеяли, у меня шевельнулась мысль... Что они прознали про мою «маньку», ну то есть писанину, псину бездомную... Которую я взял с собой, и даже когда я её не трогал, она всё время присутствовала, она ходила вокруг нас кругами... Смотри, смотри, только что здесь была кошка... У тебя там что, целый bestiарий?

Экскурсовод говорила, что в этих скалах появляется иногда красный олень... Но кот — это же был только образ, красного оленя никто не видел, это такой сардинский миф скорее всего, а вот моя псина всё-таки более конкретная, в том смысле, что её вполне мог заметить кто-то из сотрудников... Поэтому их театрализованное представление было не просто пародией на «квартет», но...

Всё это на самом деле напоминало сон.

Райх-Раницкий в одном из «Квартетов» говорил, что он не любит, «когда читаешь о чём-то на множестве страниц, не поймёшь, что это, зачем... Что-то вроде не так... А потом — ах, оказывается, что всё это сон! Это слишком просто, это я не люблю!»

Не потому, что мы хотим угодить «литературному папе римскому», да ведь и «квартета» его уже не существует... Была такая мысль: поместить в этот текст сон, или, наоборот, текст в сон, а в сон телевизор, а в телевизор — Райха крупным планом, чтобы он, кривя рот, говорил там: «Не люблю, когда автор описывает сон...» Но всё это детские игры... К чему нам они? И, кстати, название прошлой главы мне опять же не нравится, вообще, это искажение цитат до добра не доводит... Но суть дела всё же передаёт, согласись, так что пусть остаётся.

Потому что, если бы у тебя и родилась мысль остаться навсегда на Сардинии, никто из твоих коллег не брал бы тебя под рученьки и за собой не тащил, как в рассказе Набокова.

Напротив, тебя бы сразу же оставили в покое. Потому что в Мюнхене тебе уже не надо было выходить на работу. Вот это я точно знаю, потому что вечером у меня произошёл этот разговор с Кристофом.

Он предложил мне пройтись. Я последовал за ним, у нас у обоих в руках были стаканы, кажется, с «Jack Daniels».

— Я думал сказать тебе это по возвращении, но потом решил, что это был бы слишком большой саспенс... Для нормального муви, чересчур да... А впрочем, и так, наверное, тоже слишком театрально? Но по крайней мере хорошие декорации, да, — он усмехнулся и показал рукой на скалу...

И в самом деле показавшуюся мне уже через секунду куском декорации.

Фрагментом сардонической лепнины.

Но в тот момент я ещё видел перед собой просто скалу, я ещё даже каламбурил...

— Да, ничего, — сказал я, — здесь хорошо пьётся виски... On rocks.

— В общем, мы расстаёмся, дружище... Поверь, что это решение далось нам нелегко.

— Ты хочешь сказать, что меня увольняют?

— Да.

— Ну что ж... Честно говоря, для меня это неожиданность только постольку, поскольку... То есть я бы не удивился, если бы это произошло в первый месяц, когда ты понял, что это не моё призвание... Но потом-то, когда я вроде бы как втянулся...

— Ты втянулся, — кивнул Кристоф. Подумав, он продолжил: — В рутинную работу. В переделки, которые может делать каждый, Маркус, Франц... Дело не в том, что

это не нужно, а в том, что такие люди у нас уже есть. Были. А тебя взяли для других целей. Тебя взяли не для того, чтобы писать что тебе скажут, а для того, чтобы ты совершенствовал систему... Ты же понимаешь, что на это ты не тянешь. Кроме того, завтра я должен был бы знакомить тебя с архитекторами системы... А я, если честно, совершенно не представляю, как это сделать. Если быть откровенным, ты настолько не вписываешься в их представления... В нашем отделе всё это было даже по кайфу, ты знаешь, у нас народ простой, весёлый... Но на уровне архитекторов... Я не могу тебе объяснить всех нюансов, когда тебя брали на работу, об этом не то чтоб не задумывались... Немного сгупили... Ну и потом, думали, что ты такой крутой программист, что всё остальное, то есть твою неотмирность, прости за выражение, там, наверху, не заметят или посмотрят на это сквозь пальцы... Но когда нет ни того, ни другого, ни третьего... Тогда объяснить, почему именно ты... занимаешь именно эту должность, довольно-таки сложно, дружище. Ну вот, мне нелегко было это произнести, ты же знаешь, что по-человечески ты подошёл нашему коллективу как нельзя лучше. Cheers! Ну, что скажешь? По-моему, ты не так уж и сильно расстроен.

— Go away!

На самом деле, восстанавливая всё это в памяти, я могу сказать, что я был не просто расстроен... Я, во всяком случае, тогда же понял, почему для многих людей потеря работы сродни со смертью. Я имею в виду не только тех, для кого увольнение означает смерть — голодную — в буквальном смысле. Ведь это мне пока не грозило в этой стране с её социальной системой... Тем не менее лишение работы — это социальная смерть. И Кристоф это понимал, причём не зная, что подо мной помимо социальных страховок протянута ещё одна сетка... Вот эта — из слов... Иначе я бы разбился, упал на манеж... А так... Ну да, «если я в жизни упаду, подберёт музыка меня...» Типа

того... Не уверен, что эти строки — такая уже музыка, но факт: меня она пока удерживает, эта сетка из букв...

— Ну что? — через некоторое время сказал Кристоф.

— Да ничего. Я всё понял. Осознал. Вот только хотел спросить: что ты имел в виду, говоря о моей «неотмирности»?

— Ну ты же сам всё понимаешь. Я уверен, что ты общаешься с другими людьми, я видел, как ты смотришь на всех наших... Для тебя это был такой Trip. Magical mystery tour... Ты думаешь, я ничего не понимаю? Ну и потом... Если хочешь более конкретно... Ты — единственный человек в «Касталии» без машины.

— Ну и что? Сапожники без сапог...

— Машина — это не сапоги, Алекс. Это нечто гораздо большее, чем тебе кажется. И когда тебе всё время надо объяснять о машинах то, что о них знает любой ребёнок...

— А я вообще не люблю машины, — сказал я, — и никогда не мог понять, зачем они нужны. Может, ты мне теперь объяснишь?

— Я попробую, — сказал Кристоф, и мы вернулись с ним за общий стол, из-за которого к тому времени все ушли. Я помню, что мы просидели с Кристофом ещё около часа, выпили всё вино, которое было на столе. Мы всё время спорили о том, нужны ли машины, но я не помню, кто кого убедил. По-моему, никто никого.

Кристоф вспомнил самый чёрный день своей жизни, когда у него сломались обе машины и он вынужден был проехаться в S-Bahn'e, где вокруг него сидели какие-то мрачные фрики, старые хиппи, которые очень плохо пахли, чихали на него, в общем, это был настоящий кошмар... А мне вспомнился чей-то рассказ о том, как к человеку, у которого нет машины, приходят люди в чёрном и забирают его куда надо. Потому что это страшное преступление — не покупать машину. Что будет с экономикой страны, если этому примеру последуют другие? Поэтому инакоходцев решено попросту удалять, тихо, под покровом

ночи... А в общем, всё это — наш разговор с Кристофом — был просто пьяный трёп, и в нём уже точно не было никакого смысла, и я не буду его здесь полностью вспоминать... А чтобы поставить точку в этой грустной главе, скажем, что сразу после возвращения с Сардинии я пришёл в Арбайтсамт*, чтобы известить эту организацию о том, что в Германии стало на одного безработного больше.

У чиновника было оплывшее, синее лицо, и моей первой мыслью было то, что это не чиновник, а пробравшийся в кабинет с улицы «синяк». Через открытое окно он мог влезть, пока хозяин кабинета вышел... Но лицо сказала, не двигая губами:

— Это пчёлы.

— Что-что? — не понял я.

— Ну я же вижу, вы смотрите на мои опухшие глаза и щёки... Пчёлы искусали. У меня пасака... Ну ладно... Вас что, уволили?

— Так точно, — сказал я.

— А почему?

Я пожал плечами. «Синяк» посмотрел на мой пропуск, потом заглянул в компьютер.

— А вы не хотите попробовать побороться за своё место? — спросил он.

— Это бесполезно, — сказал я, — меня увольняют во время испытательного срока. В самом конце испытательного срока. То есть они имеют право...

— Ну да, ну да, — пробурчал «синяк», а потом посмотрел на меня внимательно и сказал:

— А вы уверены... Что вас увольняют не из-за антисемитизма?

Я удивлённо уставился на него. Я хотел его спросить, а если бы и так, то что с того? Что это меняет? Но это было не так, и вообще у меня не было ни малейшего желания вступать с этим чиновником в долгий разговор.

* Ведомство по делам безработных и трудоустройству (нем.).

Но у него — у него было такое желание. И он даже объяснил причину своей словоохотливости и, скажем, такой необычной для чиновника раскованности.

Я просидел в его кабинете два часа, выслушав много чего о ведении домашнего хозяйства, о замене запрещённых бойцовских пород кавказскими овчарками, которые на самом деле не менее бойцовские, но при этом не запрещённые, и вот у него уже две такие есть, на даче...

— Сегодня мой последний день на рабочем месте, — сказал он, — представляете? Я тридцать лет тут просидел, завтра выхожу на пенсию, но вот что странно — этот день кажется мне длиною во все предыдущие вместе взятые... Ну так что, вы уверены, что вас увольняют не из-за антисемитизма?

— Да, я в этом уверен, — сказал я.

— Ну а в чём тогда причина? Это ведь у вас уже второй раз, я смотрю...

— Причины организационные. Меня брали для определённой работы, объём которой неправильно оценили...

— Да ладно, какая мне разница, — улыбнулся вдруг «синяк», — представляете, завтра меня уже здесь не будет! У меня свой дом на Аммазее, яхта, сад, пасека, псы...

В этот момент зазвонил телефон, «синяк» поднял трубку и радостно закричал: «Вилли!»

Прикрыв трубку ладошкой, он прошептал мне: «Мой школьный приятель. Сто лет не виделись, и вот вдруг...» — после этого он снова открыл трубку и закричал туда:

— Вилли! Сегодня мой последний день! Да нет, на рабочем месте! Да! Да! Да!

Я смотрел в окно на тяжёлые ветви бука, шёл дождь, из окна веяло прохладой, в сквозняке, гулявшем по комнате, чудились лёгкие брызги... Я не слушал, о чём говорил по телефону «синяк», но он, повесив трубку, почему-то начал говорить со мной так, как будто я прослушал весь разговор от начала до конца, находясь при этом на обоих концах провода.

— Этот Вилли, — объяснил мне «синяк», — мгм... Ну вы слышали, какую хреновину мне пришлось ему говорить... Квазифилософствовать... Знаете, он задаёт мне этот вопрос уже тридцать лет, вы не поверите. Ну, не каждый день и даже не каждый год... Но всё равно он этим меня уже задолбал, между нами говоря... Мы когда-то с ним были довольно шустрые ребятки, как раз шестьдесят восьмой год был тогда ещё не за горами... Ну, курили, закидывались, как все, но однажды попробовали что-то такое... называлось «махатма» — это от баварского, знаете, «энтведер ман хат ма, одер ман хат ма не»*... Что нас месяц пёрло, представляете? Жили в Английском саду, в кустах, вне истории... Ну, с кем не бывает. Но вы можете себе представить, Вилли до сих пор меня спрашивает, умерли мы с ним тогда на самом деле или нет.

Выйдя из здания Арбайтсамта, я вдруг захотел вернуться и спросить у «синяка», что же он ответил своему приятелю.

Это была секундная мысль и, что ли, недостаточно всё-таки безумная... чтобы быть истинной, наверно... Так я подумал уже в следующий момент то есть, но всё же я помню, как я остановился и чуть было не вернулся в его кабинет, чтобы спросить... «Вы выходите? А впереди вас выходят? А вы их спрашивали? И что они вам ответили?» Впрочем, в этом контексте анекдот выглядел не очень смешно, поэтому не удивительно, что он потянул за собой из памяти другой несмешной анекдот, про старого пасечника, который, умирая, говорит: «На самом деле всё фигня... Вот только пчёлы...» А через некоторое время, уже совсем умирая: «Не, пчёлы тоже фигня...» Я подумал, что лицо без пяти минут пенсионера было таким синим и опухшим, что его пчёлы — это, конечно, фигня... Мужчины иногда придумывают причины синяков, типа, упал,

* Или у тебя это есть, или у тебя этого нет (*нем.*).

натолкнулся ночью на дверь... а однажды я даже слышал: «Ребёнок боднул ножкой». Ребёнку тому ещё не было и года, а отец его явно участвовал в разборках... Я вспомнил, что помимо пчёл «синяк» разводит кавказских овчарок, вот они вполне могли бы... Но ему почему-то легче признать, что он не смог выдрессировать пчёл, чем овчарок... Хотя на самом деле и пчёлы вполне могли, особенно если у него аллергия на пчелиный яд, как у моей бывшей жены, она сразу распухала, хотя не синела так, как он, слава тебе, господи... В общем, я так и не решился переспросить, что «синяк» ответил своему приятелю.

Умер-шумер, шумер... Кстати говоря, «Вилли» — это кличка члена... Впрочем, немцы называют его «Иоханнесом», и, значит, это маловероятно, что «синяку» позвонил его собственный Schwanz с тем чтобы спросить, не умер ли он в 68 году на самом деле. Этакая немецкая интерпретация «Носа», ну да... Вообще-то лучше оставаться в пределах Сардинии, потому что это остров, и есть надежда хоть как-то справиться с этим текстом, у которого ведь нет никаких рамок.

Пора вообще завязывать. Я не уверен, что Сардиния находится на той же широте, что Крым, Мюнхен и Манхэттен. А судя по тому, как мало я пробыл на Сардинии и как долго я об этом пишу, это путешествие по долготе... Не по меридиану, а вот именно по долготе не уступает первой части...

Не говоря уже о широте...

Но как же об это не растекаешься? Если по чьей-то широте душевной... Я попал на Сардинию... И не по чьей-то, а вполне конкретно — правителей «Касталии». Мы об этом не забываем, нет-нет и нет... Мы даже смеем надеяться, что наш текст соответствует своей долготой ихней широте...

И что при этом всё это достаточно душевно...

Директор одного из НИИ, в которых я работал в Харькове, однажды вызвал меня к себе и приказал на следу-

ющий день лететь в Бухару. Чтобы встретиться там с одним человеком, кое-что с ним обсудить-подписать.

Мне очень понравился такой приказ, я никогда не был в Средней Азии, и вообще это для меня было лучше, чем просиживать штаны на работе... Я уже хотел идти, но директор сказал: «Подождите». И я понял, что у моей поездки есть ещё какая-то цель.

«Бронзовые такие подсвечники под названием “Муза”, вот так они стоят...» — директор сложил руки и поднял их, показывая, как стоят музы, — чтобы я ничего не перепутал. Он незадолго до этого сам был в Бухаре, видел их на тамошнем базаре или в каком-то магазинчике, я уже сейчас это не помню... Но, увидев их там, он с минуту думал: купить — не купить... Не купил, а потом пожалел — задним числом и попросил меня всё-таки их купить и перевезти из Бухары в Харьков. На всякий случай. Здесь нет ничего такого уж смешного, человек меня в Бухаре встретил непридуманный, всё было по делу, подписали какие-то документы, институт был всесоюзный, а Союз такой большой, что простирался аж...

Но просьба привезти муз, хотя бы и в кавычках, была всё-таки не совсем обыкновенной.

Не только потому, что эти музы оказались тяжеленными, — с этим я как-то справился и даже смог добавить к своему багажу две огромные дыни, одну мы зарезали на работе, другую дома... Но был ещё один момент, благодаря которому, с моей точки зрения, в командировке была какая-то безуминка.

Дело в том, что директор нашего института был поэт.

Я знаю, что вы подумали, «блажен, кто был поэт и не писал», и всё такое... Но слово «поэт» в отношении нашего директора употреблялось не в иносказательном смысле... Отнюдь.

Наш директор был не таким блаженным, как вы думаете... Он писал стихи, он их издавал, и у нас в институте,

во всех отделах, периодически продавался новый сборник стихотворений нашего гендиректора.

Вне института его стихи не продавались, и хотя наш институт и был всесоюзный, всё-таки директор — как поэт — хотел достичь чего-то большего... Поэтому он и послал меня в Бухару за музами. Почему в Бухару? Да потому что именно там он их увидел... К тому же была такая версия (человек, встретивший меня в Бухаре, рассказал мне её, когда мы сидели с ним в чайхане возле Ляби-Хауза и я ему поведал, что у меня есть ещё одно поручение), что узбекские газели (не парнокопытные, — уточнил Рашид на всякий случай) стали началом всей европейской поэзии.

Через Арабский Восток они попали к андалузцам, их подхватили трубадуры, а дальше Данте, Петрарка и так далее... то есть вплоть до «проклятых поэтов»... «В Париже недавно вышел сборник, который так и называется “Узбекские газели”. Он так составлен, что доказывает эту версию... И, ты знаешь, по-моему, вполне убедительно».

Можно себе представить, какую ответственность я после этого чувствовал, перевоза муз.

И потом — вручая их лично в руки генеральному... К сожалению, я не запомнил ни одной его строчки...

Единственное, что я сейчас вспоминаю, это то, что в каком-то стихотворении гендиректор описывал Париж, где он нередко бывал ещё в те глубоко советские времена.

Судя по стихам, Париж нашему директору совсем тогда не глянулся: духота, суета, по родине тоска...

И вот, читая его стихи и не имея возможности поехать в Париж, мы испытывали некоторое облегчение от того, что мы ничего не теряем.

Хотя и догадывались, что судить бы надо не по стихам... Во всяком случае, нашего директора.

Который на самом деле был очень хорошим человеком — благодаря ему я побывал в Бухаре...

Куда мне теперь в тысячу раз сложнее добраться, чем до Парижа...

Но что же это, полистав назад свою прозу, я понял, что недалеко ушёл от него... Моё описание Сардинии показалось мне таким же ворчанием, как его тогдашнее описание Парижа, хотя, с одной стороны, и времена уже не те, а с другой, я ещё не достиг даже тогдашнего его возраста...

Прав был, наверно, Бодрынин, объявляя меня антизападником.

Бодрынин так и написал на резолюции по поводу моего письма: «Не нравится ему Запад, так пускай едет в Ашгабад!»

При этом Бодрынин в настоящее время действительно является... Если не генеральным директором, то литературным генералом, так точно.

Так что есть даже некоторая преемственность: Бухара, Ашгабад... А может быть, это было более глубокое высказывание — с аллюзией на «Кин-дза-дза»?

Из Нью-Йорка на Марс... Из Москвы в...

После этого, я думаю, понятно, насколько знакомой мне показалась метафора, которую я услышал когда-то из уст Б. Х.: «Литература — это некое таинственное учреждение, — сказал он, — ты пишешь и думаешь, что это просто так, кому какое дело, и ты можешь писать как тебе заблагорассудится... Но если ты не прекращаешь писать, наступает момент, когда ты неизбежно обнаруживаешь, что на самом деле... работаешь в некоей организации! Невидимой, но более чем реальной, со своими законами, от-делами, подразделениями...»

Да-да, этот шикарный бюрократический образ сразу показался мне завораживающим — ему было с чем соотнести в моей памяти... И просто чтобы завершить гештальт, ещё такой эпизод: всё в том же огромном здании, научно-исследовательском, ну да... Как-то мы курили с приятелем на последнем пролёте лестницы, точнее, на боковой площадке возле лестницы, уже под крышей, да, и увидели, как наверх поднимается замдиректора инсти-

тута, и в руках у него при этом большая кипа папок с отчётами. Он недовольно на нас покосился и прошмыгнул наверх — в маленькую каморку, из которой был люк уже просто непосредственно на крышу. Назад он шёл с пустыми руками, отряхиваясь, а я чуть позже слезил туда, то есть не только в чердачную каморку, но и по крыше погулял, да я всё там обшарил — наверху, и ничего там не нашёл, ни одной бумажки.

«Эту железную дорогу проложил Муссолини, —

сказал Луиджи, когда мы вышли из автобуса, — поэтому к нему здесь относятся с уважением».

Я посмотрел туда, куда он указал рукой, и поначалу не увидел никаких рельс, но по мере продвижения — по колено в жёлтой траве... я заметил, что что-то стало по-блэскивать тут и там, может быть, и рельсы, да.

Одинокое здание «как бы вокзала» я в первый момент тоже, можно сказать, не заметил. Ну, или принял за что-то другое... Одно посреди всей этой природы, оно производило странно-нечёткое впечатление... Этаким заброшенный «домик с привидениями» — окна которого только и выделялись... выгляда при этом огромными игральными картами, которые зависли в воздухе, потому что фасад, слепленный и покрашенный ещё при Муссолини какой-то светлой темперой, полностью сливался с красками окружающего ландшафта.

Когда мы подошли ближе, Луиджи громко хлопнул в ладоши, и из-за фасада вышли бесшумно, как духи, взявшиеся за руки сарды и сардинки.

Их было человек тридцать, не меньше. Все они были в народных одеяниях, поразительно напоминавших украинские, особенно — орнаменты у девочек, да и шаровары у юношей, ну может быть, чуть поуже.

На груди у девушек мне мерещились красные коралловые бусы — которые опять-таки часть украинского костюма, хотя, казалось бы, с чего бы.

Глядя на то, как пары выстраиваются прямо перед нами в ряд — как будто чтобы играть в «ручеек», я думал о таинственных подводных течениях и связях Сардинии с Украиной.

Накануне, в городе Алджеро, в окне каждой лавки я видел красный коралловый браслет или бусы... и я чуть было не купил один, чтобы подарить немецкой писательнице, которая однажды в кабинете врача порвала нить и потеряла все красные бусинки, а я... как-то тоже — однажды и нечаянно — перевёл это происшествие на русский.

Луиджи хлопнул в ладоши ещё раз, и сарды принялись выплясывать под сурдинку.

И не для красного словца — мне вот сейчас кажется, что никаких роялей в кустах не было и что они вот именно бесшумно отплясывали на квадратной площадке перед картонным домиком.

Да точно так и было — сарды в чёрных сапожках посреди украинской степи совершенно бесшумно плясали на фоне декорации народные танцы.

А у Луиджи тем временем из белоснежного манжета выросла тёмная бутылка, и он разливал из неё шампанское в наши бокалы.

Луиджи был маленьким итальянцем (он гордо сказал нам, что он не островитянин) в добротном тёмно-сером шерстяном костюме и в галстуке. Мне было жарко на него смотреть.

По-моему, тогда же я заметил, что сапожки танцоров то и дело заступают за черту, за которой жизнь превращается в параллельную акцию.

Говорил ли я, что начал писать «Параллельную акцию» после поездки на Сардинию? Нет, я не путаю Сардинию и Бухару. Ты говоришь, что это противоречит всему предыдущему? Но я ничего не могу со всем этим поделать,

прости, но хронотопы у меня танцуют... как стояк, так и корвяк в Конотопе — на том месте, где застряла карета с Екатериной... А неудавшийся фам вместо того, чтобы к ним вернуться... То ли вспоминает, то ли видит прямо перед глазами в воздухе сцены из жизни фамовского общества... То есть всё это я пишу не от ума... и уже точно — не от большого ума, конечно, ты же понимаешь, весь этот сурдоперевод...

Я помню, что поезд задерживался. Отдуться за это приходилось юношам и девушкам в «украинских» костюмах.

Луиджи хлопал в ладоши, и они снова должны были танцевать — «як на мене», тот же самый танец, который я в подробностях всё равно не запомнил, чтобы художественно описать и соблюсти тем самым... ну что ли, хоть какой-то минимум литературности.

Но наконец появился поезд. Он был совершенно игрушечный, издали казалось, что он не должен, не имеет права увеличиваться в размерах, но он всё-таки это проделал — вырос из травы ровно настолько, чтобы я и мои коллеги, сильно пригинаясь, смогли в него войти.

С нами поехал и ансамбль, который к тому моменту успел стать ансамблем песни и пляски, потому что откуда-то... но зачем эти «откуда-то», «ниоткуда», ты ведь уже сказал, что не было роялей в кустах, всё было тщательно запланировано...

Скажи ещё, что они появились из рукава Луиджи...

А проще всего сказать, что они приехали на поезде, и это не они к нам, а мы к ним подсели, только и всего... Ну или наоборот: на какой-то станции к нам присоединились два сардинских барда. И сразу запели: «Кантаре, ого-ого!»

Я никогда до этого не ездил на поезде с цыганами или там на тройке с бубенцами...

И никогда не жалел об этом, надо сказать... слава богу, «цыгане» не танцевали на всех остановках, только на двух

или трёх... а вот брадатые сарды бренчали на гитарах и пели идиотские песни непрерывно, усиливая ощущение не просто бреда, но... какой-то уже Латинской Америки, где, наверно, вот так же... и — где-то там потом и вправду и тешила текла рекой, и вокруг была как бы Мексика, ну, только не мескалиновая, а можжевелевая — настойка...

Напомню, что всё это происходило на следующий день после того, как я узнал от Кристофа, что «Касталия» больше не нуждается в моих услугах.

Может быть, это внезапное знание, наряду с жарой, усиливало ощущение того, что реальность у меня на глазах заполняет уже какой-то даже и не вялотекущий... а стопроцентный бред, ну да: кактусы, пампа, галлюциногенная жара... Мне хотелось в воду — только в море виделось мне спасение, как будто всё вокруг уже горело ясным пламенем...

— Кристоф, фердамт! — сказал я. — Ты вчера мне пообещал, что мы сегодня попадём на море!

— Об-язательно, — сказал Кристоф, — вот доедем из пункта А в пункт В, там нас ждёт еда...

— Какая еда?! А что мы делаем, как не жрём всё время?

— Это же только антипасты, там нас ждёт настоящая еда, Алекс. После чего мы поедим на пляж, я тебе обещаю, — сказал Кристоф, отправляя в рот очередную маслянистую загогулину.

Глядя, как антипасты исчезают... ну да, в пастях моих коллег, я ругал себя за то, что не принял предложение И. остаться в гостинице. Я уже, кажется, говорил, почему я его не принял, но была ведь у меня и другая здравая мысль: отделиться по дороге от сотрудников, или — теперь уже бывших сотрудников... Тем более забить на всю эту «увеселительную» программу... послать туды её в качель — именно... и поехать на море на общественном транспорте. Ну не совсем же здесь бездорожье всё-таки, портье мне сказал, что редко, но ходят к берегу какие-то рейсовые автобусы...

Но в силу инертности своего заскоружлого мышления я продолжал катиться по узкоколейке в компании пьяных в доску немцев и сардинских бардов... И с целой толпой танцоров, кстати, они всё ещё были с нами, я не помню, где они исчезли — так же растворившись в воздухе, как и появились — выйдя из-за этого Geisterhaus-вокзала в ди Маринелло...

В тот момент они ещё были с нами, на них по-прежнему были эти украинские одежды, ну или похожие на украинские, а у меня — всё время с собой был уже точно подлинно-украинский паспорт...

А незадолго до этой поездки, открыв наугад записные книжки Чехова, я прочёл там: «Мне противны: игривый еврей, радикальный хохол и пьяный немец».

«О господи, — подумал я тогда, — какой удар со стороны любимого классика... ведь я все три одновременно...»

Море, изредка мелькавшее за скалами, было точно такого же цвета, как переплёты полного собрания А. П...

Да, это была попытка, похожая на то, как человеку не дают пить, но ставят перед ним воду. Море манило, было всё время где-то рядом, поддразнивало меня... но даже остановки выбирались так хитро, что оно было далеко под нами внизу, метров сто лететь с обрыва я всё-таки не решался, хотя чувствовал, что меня доведут... до белого каления... И ко всему ещё эти гитаристы... Их репертуар оказался бесконечным — в отличие от танцоров, они не повторялись, что, возможно, было и не так плохо... И только в пункте назначения, где мы перешли, — уже без танцоров, в ресторан, сарды стали повторяться, и вот это уже был хардкор... Песни теперь заводили не они, а мои бывшие сотрудники... а сарды сразу же их подхватывали... И так это всё у нас продолжалось, «Кантаре, ого-ого!»...

Что мне оставалось делать, как не налегать на закуски? Ну и запивать, разумеется.

В каждой ресторации нам в определённый момент выдавали высокие кривоватые бутылки с местной мож-

жевеловой, как я уже сказал, настойкой... Не помню, как она называлась, но бутылки были вполне психоделического вида, из цветного стекла... Из фигурного к тому же, узловатые и жилистые такие... сосуды... Как бы стволы можжевельника... и этой самой жидкостью мы полировали выпитое пиво, водку, виски, вино... Кто что, а многие — так и всё сразу... И я был в числе многих... Но всё равно, ничто не могло заглушить мою Seensucht (кажется, такого слова в немецком языке нет, но нет его и не только в немецком... Оно бы означало, если бы существовало, тоску по морю).

— Кристоф, ты говорил, что в четыре часа мы будем на берегу. Сейчас уже шесть.

Кристоф только и мог, что виновато развести руками.

— Да ты посмотри какое настроение у людей, — закричал Доменик, — как все поют! Ну какое сейчас может быть море к чёрту, а? Prosit! Prost! Prost! Prost! Prost!..

Не стой на пути у высоких чувств... Я чокался и тоже говорил «прост», а что мне оставалось... Мои бывшие теперь уже сотрудники были похожи на преферансистов, приехавших в Сочи... На третьи сутки кто-то вспомнил: «Говорят, здесь где-то море есть?»

Нет, эти бы и на десятые сутки не вспомнили... Они уже вошли в транс, и Дирк транслировал разгуляй в Мюнхен своей жене с помощью мобильного, может быть, для отчётности... Он долго держал телефон повёрнутым в сторону гитаристов, а потом уже стал в него что-то вещать, потом смеяться, потом снова направил на сардов, потом на Франца, которого до сих пор не было слышно, но теперь он запел...

— Ein Mannlein steht im Wälde... — Франц не то чтобы пропел это, скорее прокричал тихим голосом, ну да... Он выпустил всё это из себя, по одному слову, с придыханием: «Ein» «Männlein» «Steht»... Он не смог долго продолжать в том же духе. Песню никто не подхватил — сарды её не знали, конечно, и пьяный до посинения Франц из-

расходо­вал свои последние силы, после чего стал тыкать­ся головой в плечо Йорга, тот сначала было отодвинулся, но потом, уразумев, что Франц сейчас просто свалится со стула на пол, всё же подставил ему плечо.

Я тоже был пьян, но петь мне не хотелось, нет... В голове вертелись, конечно, какие-то песни, типа «если я в жизни упаду» и всё такое... Но если я их и пел, то про себя, во всех смыслах... Я подумал, что если бы я попытался рассказать Кристофу про сетку из букв (я едва не начал это делать — алкоголь и весть об увольнении развязывали мне язык), он бы решил, что я спятил... Что я вообразил себя человеком-пауком, свивающим сетку под падающими субъектом и объектом... Под-падающими... Под статью об увольнении.

Последний, что называется, кабак перед заставой оказался на самом деле расположен прямо на берегу — тут Кристоф не обманул меня, причём берег наконец-то был такой, что море было досягаемым — мы смогли окунуться.

Никто не захотел купаться, кроме меня и Инги, все пошли сразу в ресторан, и нас тоже попытались отговорить, «да ну, столы накрыты», «отсюда мы едем прямо в аэропорт, самолёт не будет ждать!» и всё такое, но нет уж, нас ничто не могло убедить, мы согласны были пожертвовать едой, а я так вообще готов был скорее уже остаться на Сардинии, чем вот сейчас же не прыгнуть в море и послать, если надо, самолёт к чёртовой матери.

Инга, правда, сказала мне, что она к этому не готова... Ну так, а я зато уже был готов послать и её туда же...

Упродить, ну да... Чтобы не она тебя — от тебя, а ты — её, от неё... Это естественное желание, особенно если на тебя обрушивается всё сразу, и увольнение, и расставание сразу после встречи... «Есть три варианта, — писал то ли Деррида, то ли Даррелл, — как можно использовать женщину: 1) её можно любить, 2) из-за неё можно страдать, 3) её можно превратить в литературное произведение».

Или он писал «произведение искусства»? Боюсь, что в случае с Ингой — это было ни то, ни другое, ни третье...

Ну и ладно, третий вариант использования женщины напоминает, кстати, об «очередной слепленной из букв п-де», в которой, по словам Пелевина, «барахтается не без удовольствия» месть Michel Houellebecq.

А ргоро сверхлитераторы... Вы же не против того, чтобы покинуть на время остров, пляжные описания не лучший «штофф» (stuff) для серьёзного литературного произведения, правда?

Так вот, литературные вечера Уэльбека и Пелевина в Мюнхене однажды пришлось на один календарный день... Что заставило нас с К. какое-то время колебаться... То есть два вечера происходили в совершенно разных залах и в разных концах города: Уэльбек выступал в Литературном доме, а Пелевин, насколько помню, в книжном магазине на Леонрод-штрассе.

В конце концов мы с К. решили пойти на Уэльбека. Просто мы подумали, что как newsmaker Уэльбек должен быть интереснее.

Зал был полон, Уэльбек, окинув его глазами, весело вздрогнул и сказал: «Я рад, что в Германии так любят французских писателей! Мне трудно представить, чтобы был такой зал на вечере немецкого писателя, приехавшего во Францию...»

По залу ходил микрофон, передвался из рук в руки, Уэльбек отвечал без обиняков на все интересовавшие немецкую публику вопросы, от последних достижений в генетике до эмансипации мужчин и женщин... Да, всё это было уже очень давно и задолго до его «Платформы», так что вопросов о его отношении к исламу вообще не было, и вечер больше напоминал не зал суда, а пресс-конференцию учёного, сделавшего какое-то важное открытие... Например, его собственного персонажа из «Элементарных частиц»... А на вечере Пелевина мы не были, просто потому что нельзя быть в один вечер в двух местах

одновременно... И знаем только, что Уэльбек был в тот вечер похож на своего персонажа: учёного-генетика и городского невротика... А был ли Пелевин в тот вечер похож на одного из своих братков, я не знаю. Думаю, что он всё же сделан из другого теста, чем персонажи... Мой знакомый театральный режиссёр Н., который пошёл тогда на Пелевина, сказал, что тот... «Это человек из глины», — сказал Н., делая руками свои типично режиссёрские жесты, ну вы знаете эту их внутрицеховую пластику... при этом он тогда ещё не читал ни одной страницы Пелевина, и вечер ему вряд ли что-то прибавил в этом смысле, потому что вслух там читал только переводчик — на немецком, отрывки из «Маленького пальца Будды»...

Так называется немецкий вариант «Чапаева и Пустоты», и, кстати говоря, этот самый «палец Будды», по-моему, действительно из глины... Это глиняный пулемёт, нет? Я точно не помню — что, но что-то там было из глины точно... и вот Н. со своим режиссёрским взглядом догадался об этом, даже не читая Пелевина, такой вот он физио-гностик, потому что и по-немецки он знает всего несколько слов и перевод понять он не мог...

Из теста или из глины, я не знаю, и не суть важно, мне просто непонятно стало, когда я прочёл высказывание Пелевина, или его персонажа, о «вылепленной из букв п-де», в которой «барахтается Мишель Уэльбек...», — а чем лучше п-да из цифр?

Или х-й из «Чисел»?

Ну, может быть, п-да из цифр — это цифровая п-да, то есть дигитальная... Допустим. Но странно ведь выглядит другое — подозрение незнакомого Пелевину (лично) француза в «нехватке практического опыта»...

Будто бы услышав эти упрёки (как будто в тот вечер сверхлитераторы выступали в одном и том же зале и пикировались, кстати, слово это я взял, конечно, у Музиля — «сверхлитератор», и у него оно звучит так: «Grossliterat», а это уже больше похоже на «гроссмейстер», правда? Так

почему бы и не вообразить турнир...), Уэльбек, стало быть, в какой-то момент стал сниматься в порнофильмах.

Или я вру... он стал продюсировать эти фильмы... Но вот его приятель Бегбедер ведёт литературную программу по одному из центральных каналов французского ТВ, пятому, что ли... Где все участники голые... Ну, и ведущий, разумеется... Такое «Окно в Париж», только в фильме Мамина, по-моему, музыканты голые наполовину, то есть во фраках и без трусов... А в программе Бегбедера все совсем голые, хоть и не музыканты, а писатели.

Сартр вспоминает в своих «Словах», как дедушка заклинал его, чтобы он никогда не становился профессиональным писателем. При этом дед его хотел, чтобы Жан-Поль писал, но ни в коем случае не переходил в разряд профи. Потому что «профессиональный писатель, — по словам дедушки Сартра, — начинает с того, что обещает достать Луну за сантиметр, а вскоре он готов за один луидор показать голую задницу».

Я цитирую, как всегда, по памяти, и могу немного ошибаться, ну не «сантим», может быть, а «грош», не так важно... Или это я уже вспомнил название совсем другого романа, где речь идёт о живописи... Глядя на Бегбедера, а потом, скажем, на О. Кулика, можно подумать, что в данный момент разница между визуальным искусством и литературой только в последовательности одних операций.

То есть в литературе всё в точности так, как говорил дедушка Сартру, — сначала за сантиметр... или там было без сантиментов, то есть за 99 франков... Бегбедер обещал отмыть мозги от потоков рекламы, направить мысли к острову небожителей... Чем не Луна за сантиметр, да?

А потом уже стала появляться на телеэкране его голая задница и пр.

А Кулик наоборот: сначала бегал с голой задницей и рычал, а потом уже получил право рисовать за луидоры Луну, ваять Курникову из бронзы и всё такое прочее...

Во всяком случае... я вот что хочу тебе сказать: не стоит бояться за Мишеля Уэльбека.

В смысле, не больше чем за других людей, и я не думаю, что угроза Уэльбеку исходит именно со стороны Виктора Пелевина. Скорее всего, они даже не знакомы. Скорее даже можно было бы опасаться, что это Бегбедер может оказать тлетворное влияние на «живой французский ум» (Пелевин там же об Уэльбеке), но, по словам Бегбедера, Уэльбек самым возмутительным образом... отказывается употреблять наркотики.

При этом Уэльбек заявляет, что они его совершенно не интересуют, что он их никогда даже не пробовал и пробовать не желает.

Ну и молодец, что тут можно сказать... Таким образом, что Пелевин, что Бегбедер для Уэльбека не опасны.

Понятно, впрочем, что писатель может пугать писателя в каком-то другом, ещё более страшном и таинственном смысле... Ну как Чехов говорил, что боится Толстого, написавшего про глаза Анны, блеск которых она сама же и видит в темноте... Но мы уже и сами не знаем, в каком смысле мы боимся за Уэльбека... От исков мусульман его защитило правосудие Республики, и остаются, стало быть, только происки исламистов, от которых вообще никто сейчас не защищён... И с чего ты вдруг начал волноваться именно за Уэльбека, я никак не могу взять в толк.

Ну, может быть, потому что я был на его вечере... Когда разговор зашёл (как это произошло, я не могу вспомнить, наверно, я перед этим что-то там прослушал) о мужчинах, которые любят подраться, Уэльбек что-то вспомнил и вжал голову в плечи. «Почему только мужчины? В Англии, например, женщины тоже бывают очень опасны», — сказал Уэльбек, причём так искренне, в сердцах, что К. рассмеялась и хотела спросить, не потому ли он переехал жить в Англию. Спросила сначала у меня тихонько, а я вспомнил, что он переехал (тогда ещё, во всяком случае) не в Англию, а в Ирландию, чем спас Уэльбека от

вопросов К., которая в рабочем модусе... уже к тому времени была довольно-таки зубастой «журналюгой».

Ну и всё, и больше не надо защищать Мишеля Уэльбека, ладно? Ни от английских женщин, ни от Виктора Пелевина. Ты его и так уже защитил от немецкой... а читатель и так будет думать, что ты плохо относишься к ним обоим, хотя на самом деле... это не так.

Ты знаешь, перечитав всю сардинскую часть текста, я решил оставить всё как есть.

Отделить в этом тексте зёрна от плевел, по-моему, очень сложно. А может, и нет вообще никаких зёрен, ведь не будешь же ты всерьёз утверждать, что попытка противопоставить пелевинщине — хуэльбековщину... Ну что это, товарищи?

Дмитрий Бавильский недавно писал в своём блоге, что не может себе представить профессионального, настоящего то есть, литератора, употребляющего в произведении слово «член».

Правда, я вспомнил, что он всё-таки это говорил о поэзии, а не о прозе...

Нет, ну ладно... ты не только прозаик, но ты уже и сам сто раз расписался в своём аматёрстве и профнепригодности, так что тебе-то и «член» писать позволительно, и горький хрен... и бламанже... но всё же согласишься, что этот твой «член политбюро» в эротической сцене — это уже пошлятина, певец застоя...

Да ладно, это же такой текст — экспериментальный... Это — попытка полной свободы, при этом у свободы бывают и свои издержки...

А может, это как раз следствие коллективной несвободы родового бессознательного?

Может быть, это следствие твоего наплевизма, оставшегося у тебя от периода полураспада?

«Литература — это таинственное строгое учреждение...»

При том что я уже говорил, как мне, работавшему в НИИ, сразу же понятны стали эти слова Б. Х., в полной мере их смысл мне открылся только после посещения вчера Алана Черчесова (приглашению которого на виллу как раз содействовал Б. Х.).

Если уж мы тут заговорили о литературных вечерах...

Ну, по-моему, ясно уже, что эта моя беспартийная компаративистика не имеет ничего общего ни со школой злословия, ни с упражнениями в славословии... Я просто «продолжаю играть в эти игры», составляю puzzle, да? Зачем, я сам не знаю, чтобы тебя развлечь, наверно, мой метачитатель, мой некремлёвский мечтатель или кто ты там... но уж во всяком случае, не для того, чтобы puzzle'ить кого-то конкретно.

Вечер происходил на вилле Вальберта, К. ехала туда по делу, ей надо было написать о вечере для утренней газеты, ну а я — за компанию.

Черчесов был первый писатель, которого я увидел в этих краях, а может, и вообще в своей жизни, не помню... в костюме, в белой рубашке и в галстуке.

Он сидел за столом роскошного приёмного зала виллы Вальберта и напоминал при этом скорее не писателя, а председателя правительства... Или просто даже президента страны, название которой я не мог вспомнить... И вдруг я понял: «Да это же директор той самой таинственной организации, о которой говорил Б. Х.!»

Впрочем, это я понял позже, когда после чтения вслух перевода «Реквиема по живущему» Черчесов выступил с речью.

«Литература — это не игра, — сказал Черчесов, — хватит играть в бирюльки!» При этом он стукнул по столу кулаком. Не очень громко, но я клянусь: он *стукнул*.

«Должен быть герой, должна быть фабула, всё это совершенно обязательные вещи. Я повторяю: пора кончать эти игры! Наигрались уж...»

К. стал разбирать смех, и она спрятала голову за мою спину.

Она была не одна, тихие немецкие смешки раздавались и тут и там, но Черчесову это, что ли, придавало новые силы...

Я вспомнил, что за день до этого на вилле должен был выступить Сорокин.

К., собственно, собиралась брать у него интервью и меня взять для моральной (ну и языковой, на всякий случай, хотя она и предполагала, что с английским у маэстро всё в порядке) — поддержки.

Если бы Сорокин приехал (в последний момент в редакции К. сказали, что бричка с Сорокиным проехала в каком-то другом направлении), он бы с Черчесовым непременно здесь встретился, и тогда слова Черчесова имели бы хоть какого-то конкретного адресата, да? А так было просто на самом деле непонятно: кому он это всё говорит?

И вот поневоле, слушая его, я стал представлять, как они бы здесь схлестнулись.

Да-да, глядя на Черчесова, я почти воочию увидел.

Кто бы победил? — мысленно прикинул я. — Зависит от того, какой был бы бой... Борцовская схватка, бой без правил... У Сорокина в любом случае было бы огромное преимущество, рост у него метр девяносто или больше... Но Черчесов, возможно, владеет какой-то национальной борьбой...

Глядя на Черчесова — снова стукнувшего кулаком по столу... Да-да, там всё было более чем серьёзно... я, впрочем, подумал, что бой у них с Сорокиным наверняка был бы кулачным.

Но самое интересное, что где-то так... в каком-то там *эфире*... оно всё так и было, потому что года через два-три Сорокин выступил в мюнхенском Литературном доме с неожиданным заявлением.

«Я понял, я признаю... Всё, что я до этого писал, было игрой, было *экспериментами*... Это была не настоящая проза... Я понял, что так больше писать нельзя... “Лёд” — это уже другое... Это первый мой настоящий роман... Но

с тех пор, как я его написал, я уже два года как вообще ничего не могу писать. Я надеюсь, что, может быть, после сегодняшней встречи с вами я снова смогу...»

То есть победителем оказался Черчесов, ты понял?

Я-то понял, а вот где твой герой? Где фабула? Роман где?!

Вот эти маразматические игры в солдатиков, сверхлитераторов, ну что это, а?..

И какой там это к чёрту наплеизм... «Похуизм», сказал бы сверхлитератор Д. Б., был бы и то лучше.

Оно и звучит лучше, и его, в отличие от «наплеизма», не заклеямили специальным постановлением ЦК. Может быть, просто потому, что я поздно узнал лексику? Как оказалось, позже всех мальчиков в своём классе... А это был уже третий класс средней школы. То есть ты хочешь сказать, что я дожил до восьми или даже девяти лет, не зная этих слов... Факт сам по себе фантастический... Но — факт. Поэтому, наверно, русский мат и не вошёл так глубоко в мою подкорку, чтобы должным образом украсить эти мои добровольные признания.

«Что такое “хуй”?» — спросил я дедушку, придя домой со школы. При этом я был уже в третьем классе, учительница послала меня за мелом в подвал, и там я увидел и запомнил навсегда: на серой стене красной краской, большими буквами, как на транспаранте на первомайской демонстрации... было написано: «Директор — хуй».

Мой дедушка прошёл сквозь войну, дошёл до Берлина и был тяжело ранен, сорок дней лежал в госпитале, где его собирали по частям... В общем, деда прошёл огонь, воду и медные трубы, и я не собираюсь вот так всуе об этом здесь писать... Скажем, что я ещё к этому не готов, пока что я вспомнил деда вот почему: на войне он был сильно контужен и поэтому во сне, если не каждую ночь, то через раз, — продолжал идти в атаку.

Употребляя в своей бессознательной речи в том числе и мат. Но я в третьем классе вряд ли это слышал, потому что мою кровать переставили в комнату к деду позже.

Да если бы я и проснулся среди ночи от того, что дед кричал во сне, я бы не услышал эти слова... Просто потому что я их не знал. Мы слышим только то, что знаем... Я не мог не слышать их в повседневной школьной яви — это когда я их узнал, на следующий же день я стал всё время слышать их в школе... Мы не только видим, но и слышим только то, что знаем... Так что, может быть, я всё-таки уже спал тогда в одной комнате с дедушкой и слышал, как он во сне ходит в атаку, но матерных слов в его приказах я не различал...

А может, я тогда не просыпался, может, сон у меня в младших классах был крепче...

Однажды, когда мы отдыхали с родственниками в палатках в сосновом лесу, прямо на берегу Рижского взморья, дед не только кричал во сне, но на самом деле вскопчил на ноги и, не просыпаясь, побежал в атаку.

Я сам этого не видел, дед смущённо рассказал нам утром, как ночью очнулся с криком на бегу и увидел вокруг себя сосны... Видимо, всё это не сильно отличалось от того, что было во сне, и он не сразу остановился...

Это истошное «в ат-а-а-а-аку» я слышал потом по ночам, и ещё мат, но мат реже, а физическое тело моего дедушки после войны вскакивало и бежало в атаку только один раз — в лесу, в Юрмале...

Дома такого ни разу не было, он не вставал, он лежал в кровати и громко говорил во сне. Иногда я будил его, когда его тело сновидения шло в атаку — на немцев, а иногда мне жаль было прерывать его сон, я лежал и всё это слушал.

Пока однажды в его голову не попала пуля, летевшая сорок лет.

Врачи, конечно, сказали, что это была не пуля, а тромб, и родители им поверили, потому что кроме меня никто ведь не знал, что дед по ночам шёл в атаку...

В общем, скорее всего, я даже во сне таких слов от дедушки тогда не слышал, мою кровать переставили к нему в комнату, наверно, всё-таки позже...

А услышав слово из трёх букв наяву из уст внука, дедушка аж подпрыгнул. Он в тот момент жарил рыбу и стоял у плиты, а я сидел за кухонным столом.

Как сейчас помню: я громко, важно (я тогда носил очки, и меня дразнили «профессором») спросил, а дедушка так вздрогнул всем телом... «Где ты услышал это слово?!» Я рассказал, что в подвале школы написано, что наш директор... Дедушка мог, конечно, подумать, что я притворяюсь, с одной стороны я был очень домашним мальчиком, с другой — всё-таки не такой уже маленький, чтобы не знать таких слов... «Прекрати сейчас же! Это очень плохое слово, — накричал на меня дедушка, — чтобы я больше не слышал!»

Очевидно, что наш директор никогда не спускался в подвал, а остальным это было безразлично... Или это вообще был какой-то стговор...

Не знаю, что это было, но, когда я в десятом классе спустился в подвал, надпись была на том же месте. Только на этот раз я её прочёл справа налево и получилось... вот именно.

«Литература — это таинственное серьёзное учреждение...»

Беньямин как-то высказал о литературе утверждение, похожее на хазановское, но с противоположным знаком...

Он сказал примерно следующее: «Проза — это казарма, и только анекдот дарует свободу».

При этом слово «анекдот» в немецком языке имеет несколько другой, более широкий смысл, но не в этом дело, читатель.

Дело в том, что у меня уже разыгралась тоска по казарме... Что уж говорить о тебе, да?

...мы купались голые, потому что на пляже не было ни души. Был сентябрь, не то чтобы не сезон, но народу на острове вообще было как-то мало, едва-едва...

На суше я не только не предпринимал никаких попыток, но и вёл себя так, как будто «это не повод для знакомства»... Когда же мы поплыли рядом, я вдруг спросил...

В воде почему-то легко так об этом спросилось — само собой...

Я даже рассказал ей о своих подозрениях: беременность, клин клином, смеясь, рассказал ей весь этот бред...

Инга сказала, что это самое дикое подозрение, которое она когда-либо слышала в свой адрес...

— А я вообще дикий, — сказал я, поддерживая снизу её спину.

— Я тоже, — сказал Инга, — знаешь, я иногда просто из любопытства... Проходила мимо твоего номера, и вдруг интересно стало, а что он сейчас там делает?

— А ты вообще знала, что это *мой* номер? — сказал я.

Инга не сразу ответила, и мне показалось, что я поймал её врасплох. Вот оно, значит, что это было, — подумал я. — «Следующий — ваш номер!»

— А на следующий вечер ты, значит, выбрала другой номер...

— Прекрати это. Я не твоя собственность, и вообще... Чего тебя это так задело, а?

— Ну я не знаю... Когда так вдруг тебя бросают... Разные мысли приходят... Скажем, тебе не понравился мой хвост...

— Он мне понравился... Знаешь, я делю их на «мясные» и «кровяные».

— Что-что? — я подумал, что ослышался.

— «Кровяные» — это те, которые сначала маленькие, а потом очень сильно увеличиваются. Мне нравится смотреть, как они растут. А «мясные» сразу большие, они мало меняются, это мне не так интересно...

— Это напоминает мне анекдот... Старый, ещё с советских времён.

— Расскажи.

— Анекдот суровый. В магазин приходит человек и просит продавца взвесить ему любительской колбасы. Ну, был такой сорт, продавец говорит, что её нет. Тогда человек просит другой сорт колбасы, её тоже нет, и так он перечисляет три или четыре сорта колбасы, пять, шесть,

ни одного из них нет. «А что есть?» — спрашивает он. «Есть кровяная», — говорит продавец. «Ну так взвесьте мне полкило». — «А вы кровь сдавали?»

Инга не рассмеялась, но оказалось, что анекдот она тем не менее поняла.

— Это вампирский анекдот, — сказала она, — тебе так не кажется?

— Не кажется, — сказал я, — а ты откуда знаешь? Ты вампир?

— Я — нет... Просто если соединить твой анекдот с моей, как ты говоришь, классификацией шванцев, то получится... Например, я ему говорю: «Давай?» А он мне отвечает: «Давай. Но сначала ты кровь сдай!» То есть вампир — это всегда мужчина, — она рассмеялась.

Оказалось, что море здесь было мелкое, и мы, проплыв немного, теперь снова стояли на ногах, а Инга периодически плескала мне воду в лицо, как ребёнок.

— Неправда, — сказал я, уворачиваясь от брызг, — наоборот, это вы... У меня вот была знакомая, которую я всерьёз подозревал в вампиризме...

— Я шучу, а ты всех в чём-то подозреваешь, меня в беременности, свою знакомую в вампиризме... Да ты просто параноик... Тебя надо просто утопить...

— Это было давно.

— И что это меняет?

— У меня тогда ещё была не паранойя, а пародонтоз... А потом я его перерос, что ли, или он перерос меня... Вырос в сон... длиною с паранойю... А тогда ещё просто кровь шла из дёсен, так и хлестала иногда... Я учился в школе, и мы с одноклассницей ограничивались поцелуями, ничего другого она мне не позволяла. Но поцелуи были какие-то безграничные. Мы так целовались... В подъезде, но при стечении обстоятельств и в её комнате, за закрытой дверью, или ещё где, подолгу, и мне это нравилось... Но мелькала иногда, знаешь, такая странная мысль тогда... Что ей нравится пить кровь, которая из дёсен у меня так и бежит, и я...

— В общем, не думай ничего такого, — резко прервала Инга поток моих пубертатных воспоминаний, — просто хотела один раз это сделать на Сардинии... Только и всего... Я вообще немного с приветом в этом смысле... Ну, например, мне нужно обязательно это сделать в Сильвестр... И даже если у меня в этот момент нет никого, я выбираю какого-то парня, и мы посреди парти уходим куда-нибудь... в другую комнату... или запираемся в туалете.

Я подумал, что недаром мне вспомнились давеча в тот самый момент... кабинки для переодевания... я сказал:

— Так вот что это было... Это был Сильвестр, вот откуда фейерверк, а мы думали, что это свадьба...

— Давай будем считать, что это была наша свадьба, — сказала Инга, растягивая гласные, — что мы поженились, а под утро — разошлись. Так недавно сделала Бритни Спирз. А чем я хуже?

Она попыталась запеть, я попытался залепить её рот ладонью — как бы утопить, в шутку...

Мы немного ещё побарахтались так на отмели, порезвились, а потом взяли и расплылись в разные стороны... Инга пошла, а потом поплыла к берегу, а я — от.

По старой привычке, заплыв за буйки, я оглянулся по сторонам.

Когда-то на Кавказе, будучи ещё ребёнком (да, ты заметил, что в тексте становится всё больше детских воспоминаний), я плыл, как всегда, довольно далеко от берега... Пока не услышал голос: кто-то кричал, что я заплыл за буйки и за это буду оштрафован.

— Немедленно полезай в лодку! — сказал мужичок в серой одежде и кепке, качаясь в лодке в двух метрах от меня.

— А в лодку зачем? Я прекрасно себя чувствую, меня не нужно спасать. На берегу я приду на вашу станцию и заплачу штраф.

— Я знаю, как ты придёшь, — сказал мужичок, — ищи тебя свищи на берегу. Нет, ты давай в лодку полезай. А не

полезешь — так я тебя сейчас вот этим веслом оглушу. А потом спасу, и мне за это премию дадут, понятно? Причём учти, что за каждого утопленника мне платят столько же, сколько за спасённого на водах...

С тех пор, пересекая линию буйков, я сначала оглядываюсь по сторонам.

Кроме того, я иногда вспоминал о том спасателе и на суше, и как бы по другому поводу...

Какому? Это легче понять, чем объяснить.

Где-то здесь, по-видимому, закончился *мой* текст... Я не знаю, кому я это говорю, доплыл ли сюда хоть один читатель, мой метачитатель... На всякий случай скажу: бояться нечего, я уже оглянулся по сторонам и увидел, что за буйками здесь никого нет.

А кто мог быть? А кто-кто... дед Пихто... спятивший Мазай, лодку которого половодьем вынесло в море...

Так вот, здесь его нет, читатель, поэтому бояться тебе нечего, я плыву ещё какое-то время рядом с тобой и бормочу эти слова, просто чтобы убедиться, что ты хорошо держишься на воде.

Всё, это был конец моего произведения.

На следующий день, заглянув в «Параллельную акцию», я хотел стереть эпизод про спасателя, а заодно и душеспасительное обращение к читателю...

«Что-то это напоминает, — подумал я, — где-то был этот наезд-откат... закат-рассвет... Но где?» Я не стал это стирать, чтобы потом перечитать и вспомнить.

И я на самом деле вспомнил сейчас, на что это похоже... «Ты сейчас умрёшь, читатель. Вот в эту самую секунду. Ладно, пошутил. Наоборот — со мной не пропадёшь. Я не дам тебе пойти ко дну!»

Я не хочу заканчивать свой текст на этой чужой ноте. Даже то, что воспоминание о спасателе с веслом моё собственное, тоже, как мне кажется, ничего не меняет... Раз-

ве правда что-то оправдывает в литературном произведении? Нет, конечно... хотя ты ведь так и не понял, что это за произведение...

Зато понял, чьё это было высказывание.

В кавычках только что была цитата из первого романа Мишеля Уэльбека.

Вот он плывёт на лодочке в своей зелёной «аляске», в руках у него весло... Может, и стоило бы загадать читателю загадку, сказав только, что это был один из двух так и не подравшихся сверхлитераторов. Чтобы внести в зал хоть какое-то оживление?

Нет, массовик-затейник, мне кажется, что твой текст на самом деле заканчивается перед буйками, и загадки уже не нужны.

И анекдоты не нужны, ни советской эпохи, ни эпохи династии Минь, ничего больше не нужно.

Как я почувствовал, что текст закончился? «Я свою меру знаю...» Но ты обещал и не травить анекдоты... Это же было, как бы это сказать... Уже даже не пазл, а этакое вертикальное... домино, и я заметил вчера, что башенка из костяшек сильно накренилась, если поставить ещё две-три доминошинки, то всё завалится нах, не помогут никакие фахверки.

Слишком патетический образ, на самом деле проза анекдотическая и вполне заваливающая, это-то ты уже понял, я надеюсь... Но уж какая есть, а всё равно: вернёмся на берег, читатель, иначе ведь на самом деле получится, что я бросил тебя в открытом море. Даже если ты умеешь плавать, раз уж вместе поплыли, давай вместе и вернёмся, «чтобы потом разговоров не было».

Меня однажды упрекали в этом, по поводу другой повести... Причём упрекал оперный бас, а его концертмейстер сказал прямо противоположное. С точки зрения концертмейстера вещь была без сомнения законченная. Он даже сказал, как аналогичная форма называется в музыке: «соната в трёх частях».

Он (концертмейстер) был при этом ещё и композитор, и музыкальный теоретик... и хотелось бы верить, что он-то как раз и был прав... И в то же время я подумал, что если певец читал мою повесть (не эту, совсем другую) как партитуру и где-то там, в конце, голос его завис в воздухе на практике... то может быть, ему надо верить?

Как бы то ни было, мы не зависнем в море, читатель, и в воздухе, и не будем больше ничего расширять, ни пространство нашего со-знания, ни зону нашей борьбы... Мы не будем больше передвигать буйки, фигурки... и если ещё будем работать с этим произведением, то, наоборот, будем его сужать-сокращать... Просто пока мы плывём обратно к берегу, я ещё немного побормочу, окей? Я понимаю, что это смешно, вот это вот «я всё сказал, хау», и после этого опять-таки объяснение, how я всё сказал...

Как будто это у меня тут какое-то особое ноу-хау...

Просто, даже смешно, да... Как в том анекдоте, про еврея и англичанина, который я тоже обещал не пересказывать — но я же просто его тут разыгрываю как по нотам.

Ещё совсем немного — до берега уже меньше ста метров.

Зачем я под конец опять приплёл сюда Уэльбека? Тебе не кажется, что это какой-то сальеризм?

«Невинной шуткою тебя хотел я огорошить!»

Но это как раз кричал Моцарт.

На мехматовском капустнике после того, как обрушился на голову Сальери весло...

В общем, ты убедился, что в море Сардинии за буйками никого нет.

Ни Ленина, ни Гитлера, ни этих стихов... Открытое море, закрытая книга, такое дело... Ты уже знаешь, что это в высшей степени необязательное приложение — это «забормот», да... Ты только не подумай, что я тебя интригую... Писательница Н., которую я ранее уже упоминал, сказала как-то, что у меня получаются натюрморты, а у неё — интриги... Но сейчас мне уже лень писать и натюр-

морты, да я, честно говоря, и не помню, что было на столе... Когда мы с Ингой вошли в зал, где были накрыты столы (а мы с ней были в одежде, надетой на мокрое тело, босиком — да, Инга дождалась меня на берегу, из какой-то ихтиандровой, что ли, солидарности, к тому же вряд ли она была голодна, это был уже не первый обед в тот день), все уже заканчивали вторые блюда... Мы сели за стол, выпили по бокалу белого вина, которое всё ещё было довольно-таки прохладным... На столе оставались закуски: устрицы и всё такое... Дары моря... Морепродукты... На самом деле это был комплимент — из уст писательницы Н., я вот что-то не припомню у себя удачных натюрмортов... Мне легче вспомнить то, что было не на столе, а за окном — там вдали виднелась серая летающая тарелка... Так мне показалось в первый момент. То есть я не подумал, что это присевшее НЛО... Но — что архитектор хотел воплотить такую идею в бетоне...

Но оказалось, что это было воплощением несколько другой идеи.

Это был немецкий бункер, оставшийся со Второй мировой. Войско союзников, взяв эту крепость и вообще захватив этот остров, попыталось бетонную «тарелку» взорвать, но она оказалась слишком крепкой.

Она была таким чудовищно плотным сплетением железа и бетона, что взрывное устройство не причинило ей вообще никакого вреда. Всё это подробно рассказывал Матиас, я не могу сказать, что меня это как-то зацепило, — я слушал всё это вполуха, может быть, ещё и потому, что я уже раньше слышал вот точно такие же рассказы о бетоне...

Ну да, скажем, о харьковском Госпроме, который теперь уже, или тогда уже, немцы попытались взорвать и — не смогли.

Не знаю, может быть, это и не сказки, может быть, ни у тех, ни у других в тот момент не было достаточного количества взрывчатки...

Но видно было, что Матиас испытывает вполне законную гордость за крепость немецкой крепости, при этом в конце своего рассказа он решил провести черту между гордостью законной и незаконной.

— Всё это, конечно, только одна сторона медали, — сказал Матиас.

— А какая другая? — обратился к нему свой взгляд Карстен.

— Ну как... Это же был нацистский дзот.

— Ну и что? Это ещё как посмотреть, где какая сторона медали, — сказал Карстен, — мне вот бабушка рассказывала, как они после войны случайно при каком-то строительстве раскопали могилы. Считалось, что там захоронены жертвы нацизма. А там все до одной были немецкие косточки.

— О, опять... — зевнул Кристоф, — скажи лучше другое, Карстен. Я вот чего давно не могу понять... Ты ведь член Jagdverein?

— Да, а что?

— И ты на самом деле ходишь на охоту?

— Хожу, и что?

— А для чего ты ходишь на охоту, если ты вегетарианец? Карстен пожал плечами, и наступила пауза.

Я подумал, что задачка, в сущности, детская, все знают, кто мог бы стать для Карстена примером вегетарианца-охотника...

Хотя, может быть, это лежащее на поверхности решение было и неверным... И кстати, Карстен перед этим как раз что-то говорил о «парне, который сидел в Ландсберге в тюрьме и писал там “Свою борьбу”». Что он говорил, я не помнил, я слушал его рассеянно — налегая на закуски, потому что после плавания у меня таки проснулся волчий аппетит, но я помню, что он сказал вот именно «Его борьба», и я машинально отметил, что он дистанцировал себя от того парня...

Время то ли тянулось, то ли остановилось, бывают такие мёртвые точки и петли во времени, ну да... Я смотрел

в окно на зеленоватое море, но периодически взгляд возвращался к бетонному строению. «Бункер, — машинально думал я, — по-немецки и по-русски не одно и то же... По-русски это что-то подземное — если я не стал забывать русский... А по-немецки это находится над землёй, и не только здесь, на Сардинии, но и в Мюнхене... Только там они ещё выше — высотой с салтовскую девятиэтажку, но «точечные», как шестнадцати-... Кажется, башни, которые немцы называют «бункерами», воздвигли в Мюнхене ближе к сорок пятому, они предназначены для противоздушной обороны... Их тоже не смогли снести, так и стоят до сих пор, сплошь каменные, этакие «пирамиды», оставленные рейхом... Есть на их стенах очертания бойниц, но бойницы тоже заложены камнями... А наверху ставилась зенитка, возвышение которой вроде как уменьшало вероятность попадания в неё осколков... Стены метровые, винтовая лестница, мрачные кельи... Один такой бункер облюбовала группа художников, я как-то побывал у них... Они тогда задействовали в перформансе все четыре этажа башни, действия, которые они совершали, происходили во многих местах одновременно: на одном этаже кто-то заходил в келью, читал вслух рассказ «Сельский врач»: «Нет-нет, мальчик болен, очень болен, очень...», а за его спиной на стенку проецировались рыбы, кораллы, другой художник с ноутбуком подкручивал булькающее «музыкальное сопровождение»... Тут входил ещё один участник перформанса, брал в руки огромный гаечный ключ и ударял им по батарее отопления — это был знак, по которому на всех этажах что-то менялось, как-то все быстрее начинали двигаться... Или не все, а только художники... Я пытался вспомнить, что ещё они там читали в тот вечер, но не мог, и вместо этого я вспомнил слова, которые накануне прочёл перед сном, копаясь в кипе номеров Die Zeit.

Её тоже поставляли в гостиницу, не говоря о свежих номерах «SZ» и «FAZ»...

Интересно, кстати, было бы подсчитать, на сколько процентов твой текст состоит из газетных вырезок. Я вот видел такую скульптуру из газет — в «Музее фантазии» Буххайма в Бернриде... Да, это там стояла фигура человека в полный рост, сделанная из спрессованных газетных статей, — воздев к небу руки...

«Нормальные люди читают газеты, чтобы узнать новости, а у тебя в руках газета сразу превращается в мрамор» (Сейс Нотебоом).

Это была последняя цитата, читатель...

Или нет, ещё одна... Из интервью в «Die Zeit», я запомнил эти слова Йорама Канюка, может быть, потому, что они предстали передо мной таким визуальным пастишем — я смотрел на немецкий бетонный бункер, вспоминал мюнхенский с его перформансами, и сквозь всё это вместе проступала чёрно-белая эшеровская картинка...

И мои немецкие экс-коллеги тоже, видимо, что-то вспоминали, перед самым отъездом, сидя в ресторане на пустом морском берегу, все молча о чём-то думали... Так что, когда я, сидя с ними, представил это себе со стороны... это так и выглядело: *«...Каждый немец представляет собой ответ на все незаданные вопросы, которые есть в голове у еврея. И наоборот: каждый еврей — ответ на незаданные вопросы, которые есть в голове у немца. Вместе мы образуем некую загадку, которая спрятана в другую загадку, а та вложена в третью... И в конце эта ненависть пополам с любовью исцелит старые раны, которые есть с обеих сторон»* (Йорам Канюк).

«Что-то в этих словах есть от рисунков Эшера», — подумал я тогда... Поэтому их и вспомнил, а так... Я уже говорил, я не очень верю в эти «Musterjude», «Musterdeutsche» («Muster» здесь — «образцовый», «типичный»), так что не буду повторяться... Я, по-моему, увидел это высказывание ещё тогда... Вот именно как такой узор («узор» — это тоже Muster), где навстречу друг другу... по винтовым лестницам... Но это уже сделал Эшер... В сущности, я это и пытался перерисовать сейчас, но как-то не вышло, сорри.

Ну да, «подсев» на свой монтаж фотороботов, ты совсем уже разучился рисовать — и даже перерисовывать...

С другой стороны, может быть, со стороны моря — шла некая фигура умолчания, она как будто зависла перед нами, и нет, это было не торнадо, как мне показалось... но пауза продолжала тянуться, казалось, уже бесконечно.

— В России существует поверье, что если за столом вдруг воцаряется тишина, то в этот момент рождается новый миллионер, — сказал я.

Но никто из моих бывших коллег не рассмеялся.

— Ну, то есть полицейский, — сказал я.

Даже не улыбнулся.

Трапеза была закончена, все уже сложили на тарелках ножи и вилки и молча смотрели — кто в окно, кто друг на друга.

— Ну всё, пора ехать, — сказал Кристоф, — так что вот... зачем наш веганец стреляет зайцев, мы, наверное, так никогда и не узнаем.

— А я знаю! — Бригитта подняла вдруг руку и, как нетерпеливая отличница, судорожно махала ею в воздухе.

— Зачем? — повернулся к ней Кристоф.

— Карстен стреляет зайцев потому, что они грызут его морковку!

МИГРАЦИЯ КАМНЕЙ

Я подошёл к забору, за которым начинается Кара-Дагский заповедник, нашёл в нём дыру, осторожно пролез сквозь неё и пошёл по тропинке вдоль моря.

Похоже, что здесь они и жили, мои воспоминания о лете 1978-го.

Это был последний год, когда Кара-Даг был открыт, в следующем году его обнесли забором с колючей проволокой и объявили заповедником.

Жили — не жили... Во всяком случае, здесь они *ожили*.

Ведь вне заповедника я ни разу не вспоминал о студентках, о майоре... Или если и вспоминал, то это было каким-то совсем смутным промельком, просто потому что одни воспоминания цепляются за другие, эти тоже могли иногда за что-то цепляться, но я их *не видел*, они были как ракушки, прицепившиеся ко дну корабля.

Не в том смысле, что мешали плыть, а в том, что были невидимыми.

А теперь, найдя лазейку в постсоветском пространстве и проникнув вот в этот пост-скрипtum — и одновременно в государственный заповедник, я увидел, что в центре хорошо забытого старого — башенка, в которой живут три студентки...

Я познакомился с ними после концерта на набережной.

Мне было четырнадцать лет, и я шёл по набережной, да... когда меня окликнули из кустов какие-то странные существа. Они сидели прямо на траве, так глубоко в кустах, что я даже не сразу понял, кто это ко мне обратился.

Эти друиды, или, может быть, сами древесные духи, были длинноволосы, бледны и покрыты выгоревшей джинсовой тканью, которая была усеяна заплатами и дырками... С заплат они стряхивали муравьёв, а в дырах подробно искали клещей, то есть не в длинных волосах своих, а в дырах — на спинах друг у друга... Я это запомнил, потому что как раз один из них поднял руку и громко обрадовался невидимой мне находке.

А другой в этот момент спросил, нельзя ли у меня остановиться.

Всего на одну ночьку?

Ну или на две, а?

Я ещё подумал: не издеваются ли они? Спрашивая человека о ночлеге после того, как показывают ему клеща... А может быть, для них это настолько естественно, к тому же клещи, по идее, не переползают с одного тела на другое... Я сказал: «Нет, я же сам снимаю комнату... Ну, то есть с родителями...»

При этом они начали машинально поигрывать на гитарах — так, как будто расчёсывали чесотку, перешедшую уже и на грифы...

А я такого перебора раньше и не слышал, он был какой-то новый и завораживающий, поэтому я остался стоять рядом с ними, и мы о чём-то говорили...

О чём со мной тогда можно было говорить?

Я не знаю...

С ними была и джинсовая девушка, тоже вся покрытая заплатами, или чем-то средним между заплатой и дырой... Каким-то джинсовым лишаем, ну да... Когда стемнело, она взяла кепку — вероятно, единственную их вещь без дыр, и стала, танцуя, обходить кольцо слушателей.

Друиды к тому времени уже переползли из кустов на асфальт набережной, я последовал за ними.

Они спели, наверно, сотню песен, конечно, я все не помню... Точнее, я не помню вообще ничего, и хватит уже повторять это «не помню», вынеси это за скобки, певец склероза, — за ограду заповедника, или книги, если это книга... да куда хочешь.

Может быть, они пели «У мальчика украли копеечку»? Да-да, они это пели, я помню... Такой реванш юродивых...

У кого-то из них гитара была с качающимся грифом, и получался замечательный реверс, такой естественный ревербератор, да... Немного разогревшись, они пустили в ход напёрстки, по струнам заскользил нож, вызывая из сумерек долгие стрёмные стоны блюзовой «стил-гитары»... Не говоря об этих металлических зажимах, как же они называются, вот чёрт...

«Каподастры», да, которые сдвигают точку сборки — аккордов, а вместе с ними и проводов, кстати, на которые я смотрел из окна поезда, лёжа на верхней полке, и провода то провисали до земли, то поднимались к розоватому небу... Я это вспомнил тогда же, на набережной, потому что музыканты играли на своих расшатанных дровах так, что у них получался электрический звук...

А с другой стороны, глядя на провода и деревянные столбы из окна поезда накануне, я не мог поверить, что по ним идёт *ток*, но он ведь, наверно, всё-таки шёл...

Деньги, металлические и бумажные, летели в их шапку, переполняли её, образовывали вокруг неё кольцо из бумажек и монет... Всё ходило ходуном... Всё шло в ход... Приходило в движение... И кольцо людей вокруг них к полуночи достигло больших размеров, наполнив собой весь променад около Литфонда, и многие плясали, и всё это так продолжалось, пока из-под земли не вылезли карликовые милиционеры.

Может быть, они были и не такие карликовые, как теперь кажется...

Потому что они бежали к музыкантам, пригнувшись... Как будто осуществляя захват огнестрельных преступников.

Я помню, что одну гитару они сломали об колено, другой долбанули об асфальт, и этот звук стал заключительным аккордом.

Концерт был окончен, да, шапку (с деньгами) милиционеры забрали, музыкантов увели с собой, всем остальным приказали расходиться по домам.

Я думал было вернуться и подобрать гитары, или то, что от них осталось. Хотя где потом было искать их владельцев? И может, музыкантов быстро отпустят, они вернуться, подберут грифы и деки, сколотят всё заново... Может быть, поэтому грифы у них так и раскачиваются, что не первый раз... Так или иначе, я не вернулся, потому что по дороге домой я познакомился с тремя студентками, мы шли с ними всё время в одну сторону, вокруг были тёмные домики и мгла, и где-то там, посреди этой ночи... мы странным образом познакомились: три студентки, причём не первых курсов, и я — четырнадцатилетний мальчик.

Может быть, это было влияние музыки, мне кажется, все, кто присутствовал на том концерте, были потом как пьяные.

Почему «как», студентки могли к тому же и принять... «Эй, мальчик, ты не знаешь, как пройти, а то мы что-то заблудились!..»

Они жили рядом с нашим домом, но за оградой, то есть во флигеле другого дома, в высокой мансарде, которую я называл «башенкой», а они — «голубятней». Конечно, ничего между нами не было, мне было четырнадцать лет, я был ещё невинен... Но я каждый день ходил к ним в гости, я немного умел играть на гитаре, а она у них была с собой, хотя играть они на ней не умели — просто взяли с собой на всякий случай...

Они составляли батарею из пустых бутылок, или, точнее, не совсем пустых, а выпитых, а потом по-разному заполненных водой, да... Может, частично из недопитых, с остатками белого вина... Или красного... Пока я сам его не пил, оно всё казалось мне зелёным... И в итоге получалось что-то вроде ксилофона... Мы сидели в их башенке-голубятне и дегустировали звуки... Да, мы были товарищами на вкус и на цвет, которых, как известно... Нет?

А ты как думал? А иначе как могло получиться, что я проводил с ними всё светлое время суток? Куда же тогда смотрели родители?

Да я всё время и был с родителями на пляже... И одновременно сидел в теореме-теремке с тремя девицами? И ходил на Кара-Даг с какими-то третьими людьми? Да откуда там столько людей?

Я сам не могу понять... Ну да, кажется, была там ещё одна студенческая компания, и в неё «мои» три студентки не входили. Компания взрослых парней и молодых дам, о которых я совсем уже ничего не вспомню, приняла в свои ряды двух малолеток: меня и бледную девочку в синем платице.

И вот она, по-моему, действительно ни разу не была на пляже, и я не думаю, чтобы мы обменялись с ней хотя бы парой слов... Она подчёркнуто меня не замечала, она была влюблена в «майора», как его все называли... Хотя

он был в гражданском... Естественно, он ведь был на отдыхе... Я не помню, каких войск это был майор... Не было ли это «майор» чем-то вроде погонялова... Он был белобрысый, загорелый... И всё время какой-то пыльный... Наверно, потому что он всё время ходил, он был и с нами и в каком-то своём непрерывном марш-броске...

Я вижу, как мы сидим с ним за одним столом во дворе, родители пригласили его пообедать, салат со сметаной в железной миске, бледно-розовые исцарапанные помидоры — «бычье сердце», такой сорт... Зелень, синий крымский лук... Не хватает только огурцов... Но огурцы тем летом были в Крыму совсем плохие... Какие-то жёлтые, горькие, мама перестала их покупать... Откуда-то доносится «Wish you were here» — наверно, из сарайчика студентов, с которыми я, похоже, всё-таки ходил по горам по долам... «Shine on you crazy diamond...» Ну да, иногда майор сначала шёл с нами, но на Кара-Даге он всегда отделялся от нас, и дальше он уже всегда шёл один.

Чаще он ходил в бухты, там был его основной промысел, но, скажем, яшму он собирал на очень крутых склонах, поэтому иногда шёл поверху...

Воспоминание о майоре заставило меня остановиться. Не то чтоб я испугался повторения майорской участи... Я ведь шёл понизу, вдоль моря, и не собирался никуда лезть.

Просто я начал вдруг ощущать на себе что-то... Что за неимением лучших слов назовём действием магнитной аномалии... Здесь ведь и в самом деле начинает чудить стрелка компаса и не факт, что можно ориентироваться по звёздам, они тоже начинают блуждать, как огоньки древних шхун, — сюда пираты заманивали корабли, используя огни ложных маяков...

Парусники разбивались об отвесные четырёхсотметровые стены мыса Хоба-Тепе... Как будто о вертикальное, внезапно окаменевшее небо... твердь, ну да... Куда я иду? — думал я, невольно вспоминая тогдашнюю топо-

нимику, — в Сад Неверных или в Город Мёртвых? Какие ещё были варианты?

Я вспомнил, как девочка стояла на краю холма... В бледном платье, может быть, сиреневом...

Платье вздымалось от ветра, трепетало, как флаг... Казалось, её сейчас и саму подхватит и понесёт в море...

Она стояла на самом краю, дальше холм становился крутым и твёрдым... Застывшие потоки лавы... Или магмы... Она стояла, упрямо сжав губы... Маленькая хозяйка Чёрной Горы...

А майор, не замечая её, ходил по этой горе со своим молоточком... Слал посылки с камнями — в город Ленинград... Она так и не решилась признаться. Или решилась, уже уехав к себе домой, в письме, которое никто никогда не прочёл, не прочтёт... А майор признавался родителям по секрету, что отослал по почте больше восьмидесяти килограммов камней, вот так... «В посылках — топазы размером с человеческий глаз, яшма, бирюза, сердолики, агаты...» — он говорил об этом, как пьяный.

Кажется, это называли «каменной болезнью»... Хотя нет, это не совсем точно, так называли скорее тех, кто целыми днями перебирал гальку в поисках сердоликов, сидя на берегу... У майора же это было что-то другого порядка... Восемьдесят килограммов — это не шутки ведь, может быть, он сам столько весил...

Он упал в пропасть, в замаскированную кустами расщелину... Так что восемьдесят килограммов, отправленных на свой адрес авиапочтой... И почти столько же — рухнувшие вниз — могли быть простым совпадением... Эта бессмысленная мысль заставила меня остановиться и немного посидеть, прежде чем я пошёл дальше. То, что я вдруг так чётко смог всё это вспомнить, было само по себе странно... А воспоминание не только проявлялось, но как бы ширилось, росло... Это вселяло даже тревогу, хотя видны были и пределы роста этих окон... Полупрозрачные стены, за которыми всё разом пропадало... Я,

например, понял, что ни за что не смогу воссоздать в памяти комнату, в которой я ночевал с родителями... Такое было впечатление, что мы несколько раз переезжали из одной комнаты в другую, но этого ведь не было? Да нет.

Вообще всё это оказалось несоразмерным объёму, который обычно отводится в памяти под один летний месяц... Не помещается, не стыкуется, — думал я...

С одной стороны, кажется, что я каждый день ходил с родителями на пляж... Читал там то, что задали на лето по внеклассному чтению... «Война и мир» тогда входила во внеклассное, в отличие от «Анны Карениной», и я её там же всю и прочёл — «Войну и мир», а так как читаю я медленно, то вот же оно — ещё одно подтверждение, что всё это лето провёл на пляже.

Поэтому непонятно, откуда в моей памяти столько срезов Кара-Дага — как будто я ходил по нему с майором... Такое количество дагерротипов... Какой-то розовый свет... Вспышки во всплесках... Это уже в дальних бухтах, на чём-то мы переплываем из Лягушачьей в Сердоликовую... Как бы даже на лодке — на ялике... Майор разбивает молотком чёрный булыжник, на внутренних разломах я вижу тонкую плёнку, сверкающую на солнце... Это горный хрусталь, — говорит он... «Наверно, весь Кара-Даг внутри такой же?» — думаю я... Мне четырнадцать лет, ну да, и небо в алмазах...

Я плохо помню его похороны. По-моему, я на них и не ходил, только слышал траурную музыку, где-то совсем близко с домом. Девочка к тому моменту уже уехала и прислала из дому письмо. Я помню запечатанный конверт, он лежит во дворе на столе или на какой-то бочке, придавленный камушком, никто к нему не прикасается... Или я всё-таки его прочёл? Нет, не думаю, да всё и так было ясно... Но я ещё тогда подумал: она могла бы написать ему письмо и подсунуть под дверь, ещё находясь там, почему она для начала уехала и только оттуда уже призналась...

Его посылка с камнями и её письмо... Могли даже какое-то время лежать рядом — в местном почтовом отделении.

Или нет, там, наверно, посылки лежали с посылками, а письма с письмами...

Разве что в департаменте тяжести министерства совпадений... Могут исходить из других посылок... А мы с тобой — нет... Мы — ни-ни.

Как мне сегодня сказал этот парень? «Коктебель стал слишком мажорным, Майорка отдыхает...» И вот в этот момент я вспомнил о майоре.

Может быть, вообще тот парень и был... Лицо майора я ведь не помню.

Он рассказывал, что он там же и ночует — прямо возле Чёртова Пальца... Он ещё что-то говорил, довольно странное, он был обкуренный... атман-атаман-раста... ман, да... Но как ты мог подумать, что это был майор... Совсем, что ли, с ума сошёл.

Да нет, я имел в виду что-то другое... Stoned major, or something... Или — что паренёк, мол, был тот ещё мажор, но неважно...

А вот девочка, кажется, и в самом деле так и стоит на холме в серый день, и моросит вечный дождь... Странная такая симметрия получается у этих двух снимков: я и студентки в мансарде с бесчисленными форточками // девочка и майор на фоне потухшего вулкана...

Конечно, я не был влюблён в студенток... Или, может быть, я просто этого ещё не понимал, а девочка всё уже понимала, просто потому, что девочки всё понимают раньше, чем мальчики.

А мужчины вообще ничего не понимают, вот так и майор так ничего и не понял.

И всё же, и я и она, мы *заглядывались*, скажем так, и это будет средним арифметическим ширины, что ли, наших с ней разных ворот восприятия... на взрослых людей... совершенно не замечая при этом друг друга.

Нет, почему, я всё-таки помню, как она стояла на холме... В синем или сиреневом платье...

Она для меня была такой же частью пейзажа, как сопки, переходящие в склон вулкана, или как волны, набегающие на его затвердевшие мысы... Глядя на неё, я чувствовал какую-то тоску, но она не была связана с этой девочкой.

Или была, но тогда вот в каком смысле: очень даже может быть, что я чувствовал в тот момент не свою тоску, а... её. Среднее арифметическое — сначала сложить, потом разделить на два, да... Хотя лучше взять среднее геометрическое, если ты не забыл ещё таблицу умножения... Или же взять тот агат, что сросся с сердоликом... Я подобрал его в бухте, перебирая гальку, а потом он долго катался по фанерному дну ящика моего письменного стола в Харькове. Если смотреть сквозь него на свет, виден был какой-то безумный рыжеватый закат и длинный ряд перистых облаков над грядой скал... Пока он не укатился куда-то насовсем, кому-то я его подарил, я уже не помню... С другой стороны, кажется, что я всё время сидел со студентками и не ходил ни на какой такой... Кара-Даг... да... Может быть, потому, что было слишком много окон в их ротонде, и эти окна выходили на все стороны света, и у света было тогда слишком много сторон, и вот это, может быть, и создаёт теперь своеобразный эффект, оккупируя весь этот участок памяти... Всё остальное снова становится смутным... каким-то размытым, да, а звон бутылок, в которые была залита вода, запросто можно услышать — ну прямо как заутреню...

Я снова шёл по тропинке, «переполненный нахлынувшими воспоминаниями» и одновременно чувствуя как бы воздействие этой магнитной аномалии... Я в тот момент подходил к Лягушачьей, и влияние гигантских истуканов, давших название бухте, теперь, когда я там был один, а не с толпой студентов, как в четырнадцать лет, воспринималось совсем по-другому.

А потом я увидел, что я не совсем здесь один, — я увидел двух лошадей... и лошади тоже заметили меня, они паслись на склоне ненамного выше моей тропинки от уровня моря... И одна из них сразу же перебежала оттуда прямо ко мне.

Она подошла ко мне вплотную... Мотнула головой, фыркнув... И засунула морду в кулёк — вытянула оттуда мою одежду (я с какого-то момента шёл в одних плавках и кроссовках) и бросила её на траву, и снова засунула морду в кулёк.

В кульке ещё были кошелёк, полотенце и книга Мераба Мамардашвили «Классический и новый идеалы рационализма».

«Иными словами, речь идёт о реализации возможности (предполагаемой всякой цельной и самодостаточной натуральной философией) некоторого совместного рассмотрения, с одной стороны, объективных физических процессов, с другой стороны, внешнего им ряда сознательных действий и состояний, то есть такого рассмотрения, чтобы изображение первых допускало бы (по их собственным законам, в изображении формулируемым) рождение и существование таких состояний жизни и сознания (нами понимаемых), в которых их же удаётся описать и которые в то же время являются элементом истории определённого рода существ, называемых “людьми” или “человечеством”.

Именно в этот деликатный пункт вторгся ряд наук, специфичных для XX века...»

Испытывая нарастающий страх из-за странных действий лошади, я подумал, что я тоже заступил за какую-то черту, куда-то там вторгся ненароком... и что теперь будет — никому неизвестно.

Я подумал: хорошо бы, если бы лошадь съела книгу и оставила меня в покое. Ничего смешного: лошади едят бумагу, в детстве я сам кормил в зоопарке газетой если не совсем лошадь, то всё же какое-то парнокопытное...

Поэтому книгу я вытащил из кулёка сам, раскрыл её так, чтобы страницы аппетитно торчали веером, и подсунил прямо ей под нос.

У меня не было вообще никакого опыта общения с лошадьми, к тому же я в тот момент вспомнил, что, когда я был совсем маленьким, в зоопарке был эпизод с лошадю, который едва не закончился плачевно.

Я стоял возле клетки с лошадю Пржевальского, а пьяный посетитель дразнил её свёрнутой газетой. Я стоял совсем близко к клетке, он чуть подальше и делал это, гад, у меня из-за спины... Хотя какая там спина, я был совсем маленький... Ну, или как-то совсем рядом со мной он стоял... И не пытался её кормить газетой, а просто тупо с ухмылкой тыкал в неё, хлопал по морде — свёрнутой в трубку газетой, да... пока лошади Пржевальского это совсем не перестало нравиться.

Она начала медленно разворачиваться... Забулдыга успел исчезнуть-раствориться в воздухе, а вот маленький идиот стоял и замороженно смотрел, как лошадь разворачивается... И вдруг краем глаза увидел... Или, скорее, почувствовал... Как рядом со мной просвистело огромное копыто.

Пару сантиметров левее — и от меня бы вообще ничего не осталось.

Потом, немного повзрослев, но довольно мало поумнев... я как-то кормил газетой чёрных коз — они сами начали вырывать бумагу у меня из рук и с удовольствием её пожирать — и вот это воспоминание как бы скомпенсировало теперь первое... страшное, пржевальское... Вот только оказалось, что я и потом мало поумнел — если я всерьёз надеялся, что лошадь... вот прямо сейчас всё бросит, оставит меня в покое, вообще забудет обо мне, я себе уйду потихоньку обратно по тропиночке... а она будет ещё долго-долго пережёвывать книгу Мамардашвили.

К тому же на самом деле это была не книга, а переплетённая ксерокопия — я вот вспомнил, которую мне дал один знакомый аспирант кафедры философии, ещё

неизвестно, стали бы есть такую бумагу даже те козы из моей памяти...

Но это была совсем уже глупая затея — пытаться накормить лошадь бумагой, хотя бы потому что тут вам не там — не зоопарк, вокруг полно свежей травы, лошади паслись перед этим и явно были сыты.

Чёрт её знает, зачем она тогда лезла в кулёк и вообще ко мне... Протянутую книгу она, сначала только слегка удивившись, презрительно выхватила у меня из рук и швырнула на траву — туда же примерно, куда перед этим мои шорты, майку, кошелёк и полотенце... она как бы складывала всё моё... в одном месте.

Всё же я пока что не паниковал, опять же помня зоопарк 67-го, я думал: главное, чтобы она не развернулась — не лягнула... Я не мог себе представить, что от лошадей может исходить опасность... и с этой стороны.

Но мало ли что я не могу себе представить...

Лошадь начала меня кусать... ну как бы есть — как будто теперь я и был травой...

Это было не больно, нет, она просто щипала тупыми зубами мой живот... Но губы её перебирались всё ниже... Я с ужасом подумал, что вряд ли она собирается сделать мне приятное...

Хотя я в тот момент мог бы уже поверить во всё, что угодно...

Но верилось скорее в плохое, чем в хорошее... ну да — что лошадь откусит его зубами, оторвёт и бросит в траву — точно так, как перед этим содержимое кулёка, а теперь ещё и часы — которые она расстегнула, причём поразительно ловко — как-то так метко прикусила зубами металлический браслет...

Что он раскрылся, и часы безвольно соскользнули с руки вниз — и это уже было так, как будто я начал распадаться на части... Я повернулся и побежал.

Но и лошадь побежала — тропинка была достаточно широкая, чтобы она смогла меня обежать, и вот она уже

снова была передо мной — теперь ещё и усмехаясь, или, как минимум, показывая мне зубы...

А что как максимум? Ну, там уже были свои, скажем так, экстремумы в моём восприятии — мне что-то при-виделось в её усмешке, да — я думаю, она всё-таки улы-балась, как будто тот забулдыга из зоопарка... слился с ло-шадью Пржевальского и... но нет, это уже меня куда-то тянет не туда — это сейчас, на бумаге, а тогда до кентав-ров и других метафор мысли мои не доходили и близко — мысли пульсировали в том же ритме, что и кровь, и ста-новились всё более короткими...

Она схватила меня зубами — снова за живот, теперь уже сильнее — больно ущипнула, да, она явно нагле-ла и, казалось, может теперь вообще меня всего сожрать в прямом смысле — и не поперхнуться, ну да, этот обо-ротень-тигр в лошадиной шкуре... Где-то там, чуть даль-ше — биостанция, где учили дельфинов взрывать корабли и всё такое... кто знает, может, дельфинов было мало, и они перешли со своими опытами на лошадей...

Мысль о дельфинах напомнила мне вдруг... «Море» — вспыхнуло наконец у меня в голове, или, точнее, на пе-риферии зрения — надо добраться до воды, лошадь не по-плывёт, во всяком случае, там уже я её обгоню... если, ко-нечно, это лошадь.

Эта тварь всё активнее кусала меня за живот, она явно входила во вкус... Я прыгнул с тропинки вниз, покатился по склону сквозь кусты. Ветви были покрыты колючками, я чувствовал, как они раздирают кожу, но мне было на-плевать, главное было унести от неё ноги и всё остальное.

Когда я был уже далеко от берега, я оглянулся и уви-дел, что лошадь стоит у самой воды и машет мне хвостом.

Какое-то время она как бы даже металась у воды вле-во и вправо...

А я плыл вдоль берега, пока обе лошади — вторая те-перь тоже присоединилась к первой... моё счастье, что не раньше, — вдвоём они бы меня точно там загрызли...

Но вот они исчезли за поворотом, за мысом, а потом и этот мысок исчез ещё за одним, и ещё... Я плыл долго, полчаса или час, а потом я вышел на сушу.

Рядом с забором я увидел пожилого человека в зелёной, но гражданской одежде, он представился мне лесником.

Я всё рассказал ему — как меня только что чуть не съели какие-то очень подозрительные лошади...

Но лесник меня, казалось, не слушал... Только смотрел в лёгком изумлении на моё тело...

Я тоже посмотрел на себя и тоже удивился: всё моё тело было расчерчено колючками на небольшие и удивительно правильные ромбы — потом я все дни в посёлке буду ловить на себе удивлённые взгляды...

А пока что мы побрели с лесником за ограду — туда, где на меня было совершено покушение.

Лошадей там уже не было — и след простыл, а все вещи мои лежали на траве, включая и копию книги Мераба Константиновича...

В общем, всё, что они у меня конфисковали, я получил таким образом обратно — в целости и сохранности, и это сразу улучшило моё настроение.

— Как вам удалось их так выдрессировать? — бодро спросил я лесника. — Они у вас могут работать в цирке и даже на таможне!

— Да то жеребёнок, — сказал лесник, махнув рукой, — подросток... Ей же поиграться хочется... Да по морде ей надо было дать, она бы сразу и отстала.

— Ничего себе жеребёнок... Она такого же роста, как её, стало быть, мамаша... Вокруг никого, ни души... Я такое пережил, знаете...

— А нечего в заповедник проникать. Заповедник есть заповедник. Я мог бы тебя ещё и оштрафовать, между прочим... Ну да ладно, ты и так пострадал...

Потом мы гуляли с Т. по набережной, и снова она... Она никогда не могла пройти мимо лотков с камнями. Это было выше её сил. И в этот раз мы снова остановились.

На чёрном бархате были разложены эти так называемые полудрагоценные камни и гарнитуры из камней, склеенных с кожей, были и более традиционные, вставленные в серебро, накануне я купил Т. то, что она хотела, но она после этого не перестала тормозить возле этих лотков.

Ей нравилось смотреть на камни, ей нравилось трогать камни, перебирать их, как чётки, она могла это делать часами, днями, неделями — это была её «каменная болезнь», да.

Вечно я тянул её за руку, уговаривая идти дальше. «Сейчас, сейчас», — говорила мне Т., не оглядываясь и не сдвигаясь с места, она что-то шептала, перебирая сердолики, агаты, яшму и бирюзу... Мне хотелось тогда, по крайней мере, видеть выражение её глаз... Её нос... Я хотел знать, например, не шевелится ли он при этом... Но всё это, даже если я подходил к лотку вплотную и становился рядом с ней, было скрыто от меня упавшими её кучерявыми волосами, такими длинными, что они позволяли ей остаться с камнями наедине.

Иногда лоточники, чтобы дать возможность Т. спокойно поговорить с камнями, начинали говорить со мной.

От одного из них я и узнал о том, что камни тихонько перекачиваются по морскому дну в направлении подводных течений.

— Сердолики иногда можно найти и за мысом Хамелеон, — сказал продавец, — на песке Тихой бухты.

— А за мысом Добраой Надежды?

— Вы мне не верите, — укоризненно покачал головой продавец.

— Вы собираете именно такие — блуждающие?

— Ну что вы, в самом деле. Много бы я тогда собрал. Я хожу на Кара-Даг с молотком, вырабатываю потихоньку одну штольню, у меня разрешение на это имеется... Но иногда камушки на самом деле можно найти очень далеко, это вы уж мне поверьте, я их повадки знаю...

— Может быть, их просто кто-то там обронил?

— Нет, нет, говорю вам, они сами перекатываются... По дну... Потихоньку... Так им и спешить-то особенно некуда... Так же, как и вам, между прочим. Вы же на курорте, молодой человек. Имейте же совесть, дайте девушке спокойно рассмотреть камушки, — сказал лоточник, заметив, что я снова тяну Т. за руку.

Мюнхен, 2004—2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Регистратура	7
Свет шахтёра	18
Нельзя так по-свойски обращаться с человеком без свойств	30
Истоки параллельной акции	34
Летняя школа визуальных искусств	41
Фотосинтез	66
Бойсовский клуб	79
Ангельский концерт	93
Граничные условия для волнового уравнения	105
Sanity Asylum	120

ПУТЕШЕСТВИЯ ЧЕРНОГО КВАДРАТА

<i>Интермедия</i>	153
-----------------------------	-----

ЧАСТЬ 2

Касталия — это сила на твоей стороне!	169
Канатная дорога	182
Взгляд на рыцарей без страха и упрёка	187
Что-то вроде квартиранта	203
Безоблачное небо, безбашенные немцы.	232
Конец испытательного срока	266
«Эту железную дорогу проложил Муссолини...	283
Миграция камней	310



Александр
МИЛЬШТЕЙН

Параллельная акция

Александр Мильштейн родился в 1963 году в Харькове, с 1995 года живёт в Мюнхене. Автор трёх романов и двух сборников рассказов. «Параллельная акция» является метароманом по отношению к вышедшему ранее в ОГИ «Серпантину»: герой её пишет «роман о затмении в Крыму» (название статьи о «Серпантине» в журнале «Афиша»).

Текст был написан в первом приближении в 2004-м году, но работа над ним была завершена только осенью 2013-го. За это время отдельные главы публиковались на русском языке в журналах «Даугава», «Союз писателей», «НАШ» и др., а в переводе на немецкий – в журнале «Der Freund», который издавал в Катманду Кристиан Крахт.